

Октябрь

6 1996

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

1996

ИЮНЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир КАНТОР Крепость. Роман	3
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ Свобода цвета. Стихи	86
Марина УРУСОВА Рождественская сказка	88
Алина ВИТУХНОВСКАЯ Не вовремя и назло. Стихи	96
Семен ФАЙБИСОВИЧ Рассказы.	99

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

«Они служили своим идеям, и служили им с честью...» Из политической переписки М. Алданова. Вступление, подготовка текстов, примечания и публикация А. Чернышева	115
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

В. ШЕРДАКОВ По законам ответственности	141
---	-----

В. КАРДИН
Тень забывает свое место 154

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

«Это светлое имя – Пушкин»

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР. Потаенная полемика. * Кирилл КОБРИН. Дом сумасшедших. * Подарки Пушкину (Г. СВЕТЛОВА. Дар И. А. и А. А. Полонских. * А. Я. НЕВСКИЙ. Дар Н. В. Вырубова). Вступление Н. И. Михайловой. 165

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Поэт – милиционер. 183

Вавилонская библиотека

За гробом шел один Сальери... В красной рубашке и с предлинными ногтями... О возвращении блудного сына. Автор и составитель Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. . . 187

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимается Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах. Адреса фирм-агентов вы можете узнать в А/О «Международная книга»:

117049, Россия, Москва, Большая Якиманка, 39

факс: (095) 238-46-34

телефон: (095) 238-49-67

телекс: 411160

Индекс издания: 73293

Цена годового комплекта (12 номеров), включая стоимость авиадоставки: 115,0\$.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 26.04.96. Подписано к печати 24.05.96. Формат 70x108½.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 22 810 экз. Заказ № 441. Цена 8000 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Владимир КАНТОР

Крепость

СЕМЕЙНЫЙ РОМАН

Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором.<...>

«Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали.

А. С. Пушкин. Капитанская дочка.

Глава I

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ

Лучше в дом не пустить, чем выгнать из дому гостя.

Овидий. Скорбные элегии.

Прозвенел звонок, в вестибюле и на первом этаже дребезжащий, громкий, оглушающий даже, а наверху, в старших классах, еле слышный. Но ученик сорок пять минут не по часам, а телом за десять лет научается отмерять. Поэтому только донеслась первая трель, все кинулись укладывать тетрадки и учебники в портфели, и защелкали колпачки, надеваясь на ручки. А боксер-перворазрядник Юра Желватов, с розовыми губами (на нижней белел маленький шрам), с постоянной наглой улыбкой, смотревший всегда поверх учителей, приподнялся, потянулся и зевнул, не прикрывая рта.

«Должен бы взъерепениться», — подумал Петя о литераторе. Но тот смолчал, лишь иронически скосил глаза на зевавшего. Он вообще многое прощал Желватову, считая его «представителем простого народа». «Как учит нас русская классика, — повторял часто литератор, — даже согрешив, русский народ не примет своего греха за идеал и правду. Зато образованный, так сказать, интеллигент, не сочтет свой проступок проступком и всегда найдет себе оправдание». «Образованным» он считал Петю, поэтому относился к нему не очень-то приязненно.

Петя чувствовал, что он раздражает литератора. И не мог понять, почему. Он старался выполнять все его задания. Но ничто не спасало его от четверок и даже весьма частых троек, хотя все в классе были убеждены, что Петя знает предмет не хуже учителя. Лиза посмеивалась, говоря, что это и злит литератора как «интеллигента в первом поколении», ибо свои знания, которые мальчишкам «из профессорских семей» вроде Пети достаются «из воздуха», он добывал

великим трудом, напряженно преодолевая бесчисленные бытовые трудности. Поэтому не стоит на него обижаться. Петя и не обижался. Только переживал.

Он тоже поддался стадному инстинкту, вытянул из-под парты свой невзрачный портфельчик, обтершийся, старый (стеснялся Петя в школу солидные предметы носить), и принялся укладывать туда пенал, книжки, тетрадки. Однако спохватился и убрал портфель чуть раньше, чем крикнул Григорий Александрович:

— Пре-кра-тить! Не кончился урок!

Затем литератор неторопливо достал из кармана помятых «техас» большой носовой платок, шумно высморкался, снова сложил, спрятал в карман и насмешливо поглядел на класс (амплуа у него было такое: молодой преподаватель, разбивающий штампы, — игра в разночинца-народника, в Базарова, грубоватого, хамоватого, резкого, выше всего ставящего правду; это многим импонировало, даже Лизе).

Разумеется, не сразу прекратился шум в классе: снова доставались спрятанные уже тетради и ручки. Дольше всех бурчали, и довольно громко — Петя даже поражался, до чего громко, — Желватов и Кольчатый, по прозвищу Змей, знавшие, что раз они школьные спортсмены и разрядники, то многое им позволено, чего бы другим с рук не сошло. Кольчатый, например, мог после урока обществоведения о социалистическом образе жизни, почти при учителе, и не то что вслух, а довольно громко рассуждать, юродствуя языком: «Это, бля, все вранье. Что мы, ребенки, что ли? Повесили Володькин патрет и думают, что все прикроют им. Па-ду-ма-ешь, пра-ви-те-ли!.. Усатого на них нет! Распродают Ра-сею мериканцам, себе хоромы мастерят, явряем каперативы строят. Гнать их отсюда. Как у себя расположились. Едут и пускай едут! Их кварталы себе приберем. У русского человека где на каператив деньги? Вот в блочных skleпах и живем». «Повесить их надо, — лениво возражал Желватов. — Не хера русскую землю засорять». Но никто не шил им политику и даже хулиганство. Правда, на уроках литературы вели они себя помирнее. Поэтому и они стихли, Григорию Александровичу прекословить никто не решался. Стало слышно, как за окном бьется под ветром полуотвалившийся кусок жестяной кровли.

Григорий Александрович был сильный человек, с характером. Пете, как и почти всем, было известно, что настоящее его имя — Герц Ушерович, но в беседах на эту тему он никогда не участвовал. Слишком непростым было его отношение к литератору, да и другая причина имела, о которой в классе никто не догадывался. В паспорте он писался: Петр Владленович Востриков, русский. Русским он был по матери — Ирине Петровне Востриковой, урожденной Кудрявцевой. Отца, Владлена Исааковича Вострикова, назвали Владленом в честь Владимира Ленина (на западный немножко манер, без отчества). Впрочем, это было в большевистско-революционных традициях семьи: так и полное имя Лины, Петинной двоюродной сестры, сидевшей сейчас с Петинной больной бабушкой, звучало, как Ленина. Фамилия Востриков шла от бабушки, Розы Моисеевны. А она говорила, что у ее деда было прозвище Вострый, в какой-то момент ставшее фамилией, кажется, при переписи конца прошлого века. Фамилия же Петинного деда, давно умершего, была Рабин. В школе никто не знал о Петинной родословной, и сам он, когда заходили такие разговоры о литераторе, испытывал неуверенность и чувство страха, избегал их, опасаясь, что и его раскроют. И его радовало, когда все сходились на том, что литератор больше похож на латыша, чем на еврея: сероглазый, хоть и кучерявый, но светловолосый, не картавит, грубоватый, решительный и спортивный, не трус и русскую литературу обожает. Но Герц, как и многие евреи, хотел быть более русским, чем любой русский. А потому изо всех сил отстаивал то, что казалось ему «русскими идеалами».

— Григорь Александрыч! Выйти позвольте! А то живот схватывает! — Это пухлощекий рыжий Саша (как и все рыжие в школе, живший шутковством) вдруг усиленно потянул вверх растопыренную пятерню.

— Нет! Сядь и слушай! — внезапно рассердился Григорий Александрович, не приняв шутки.

Смягчая строгость, он постучал костяшками пальцев по столу и принялся расхаживать по классу, заложив пальцы за брючный ремень. И заговорил, буд-то не прерывался урок:

— И, наконец, третья тема завтрашнего сочинения...— Несмотря на гул из коридора, в классе было слышно царапанье мела, которым записывал он на доске название темы.—...это «Человеческое достоинство в «темном царстве». Вот вкратце, что к этой теме нужно вспомнить. Прежде всего вам необходимо продумать образ Катерины. Бесспорно, полон человеческого достоинства русский изобретатель-самоучка Кулигин. Им противостоят паразиты, кровососы или, прибегая к народной мифологии, настоящие упыри, вурдалаки: Кабаниха, Дикой. Даже сами их фамилии говорят, что они представители бесчеловечного мира джунглей, мира чистогана. А предает Катерину слабovolный интеллигент Тихон. Такова его роль в этом мире... и еще... Я думаю, вам подскажет многое одна любопытная мысль Горького... Я бы даже хотел, чтобы вы положили ее в основу ваших будущих сочинений... Итак... «Человек... рождается... в сопровитвлении... среде...». Слово «человек» надо понимать, разумеется, в том высоком смысле, какое придавал ему Горький. Тогда сопротивление приобретает значение революции, ведущей к освобождению человека. Ведь само название пьесы — «Гроза» — можно прочесть как указание на возможную революцию. Говорим же мы: очистительная гроза народного гнева. Вы помните, что в пьесе выведен Кудряш, в образе которого намек на лихого разбойника Стеньку Разина.

Приоткрылась дверь, и голова в кепке просунулась, чем-то или кем-то интересуюсь, но, увидев Григория Александровича, поперхнулась и исчезла: самый страшный и непосильный предмет в школе — литература.

— Я от вас всего только требую,— заканчивал свою речь Григорий Александрович все тем же неторопливым голосом,— чтобы вы не пересказывали учебник. Проверочное сочинение — не шутка. И не надейтесь, что Григорий Алексаныч, мол, требует одно, а для РОНО надо писать по-другому. Проверять сначала буду я и оценки ставить буду, как всегда,— прошу это запомнить! За казенщину оценки буду снижать безжалостно. Это понятно? Тогда, пожалуй, все. Можете идти на перемену.

Но прежде, чем сам он вышел из класса, бросились к нему отличники: комсорг Таня Бомкина, плосколицая, с рыжими глазами и скудными косичками, и пренизьного роста мальчик — староста класса Сева Подоляк. За ними потянулись хорошисты, а сзади толпились трусоватые троечники и двоечники. Сгрудилась толпа задавать неискусные вопросы, надеясь, что учет при проверке Григорий Александрович их «живой интерес» к литературе. Таня Бомкина и Сева Подоляк затеяли страстный спор о жизни. Они являли собой тезис и анти-тезис, и синтез у них якобы не намечалось. Поощрял такие споры Григорий Александрович, потому что литература ведь не сама по себе, это «человековедение», она учит жить. Вот все и учились. Даже Витя Кольчатый приблизился, спросил что-то на всякий случай. Но через полминуты он уже снова сидел рядом с Желватовым, и они говорили вполголоса о чем-то совсем нелитературном.

— Хе-хе! — рассмеялся вдруг кучерявый, с завитками волос, похожими на рожки, Витя Кольчатый и погрозил Желватову пальцем.— Баловник ты... Кудряш!.. Пря упырь какой-то! Из джунглей!

Они теперь оба расхохотались, неторопливо и лениво вылезли из-за парты и расслабленной походочкой первыми двинулись в коридор стоять у подоконника, где на самом деле и происходили действительные обсуждения школьных и мировых событий, где играли в «коробочку» и проводили сравнительную оценку женских достоинств своих соклассниц.

А Петя от лихорадки, трепавшей его с самого утра, то отпускаявшей, то вновь охватывавшей, сидел не двигаясь и не очень реагируя на происходившее вокруг. Первой и, по существу, единственной причиной было письмо от Лизы Несвицкой. Письмо еще перед первым уроком передала Петина одноклассница и Лизина соседка по дому Зоя Туманова, узкогрудая, хилая девочка из того ма-

лоизвестного Пете общественного слоя (детей шоферов, слесарей, бывших барачных жителей), с которым он боялся сблизиться и найти хоть что-то общее. Ей Петя нравился, и стоило ей только подойти к нему, как она начинала неотрывно смотреть в его большие карие глаза с длинными изогнутыми ресницами и переходила на полупшепот: «Какие у тебя волосы мягкие, Петя! Как шелк! Это значит, что у тебя и характер мягкий». Не знала она в своей среде мягкости, так понимал ее слова Петя, и за его незлобивость на многое была готова. Рукой по его волосам проведя (стеснялся Петя возразить), смотрела на него так откровенно-завывно, что отводил Петя глаза в сторону, делая вид, что ничего не замечает. Хотя не заметить было трудновато, тем более что под прошлый Новый год даже стихи он от нее получил:

С Новым годом, Петя, тебя поздравляю,
С предпоследнею школьной зимой!
Я надежды своей не теряю
Танцевать первый танец с тобой!—

подписанные слишком ясными инициалами — «З. Т.». Петя же не испытывал к ней никаких чувств, просто не мог, чужая она была, из другого мира, поэтому тяготился он ее привязанностью. Зато Лиза вроде бы (что удивляло Петю) приятельствовала с Зоей: та тянулась к ней как к удачливой сопернице, а Лиза умела «себя поставить» и, легкая на знакомства, не задумываясь, использовала Зою на посылках.

Слова в Лизиню письме лепились одно к другому, как всегда складно, у Пети в ответных записках так не получалось, свой текст он вымучивал.

«Петенька, здравствуй! Как ты поживаешь? Я соскучилась. Целых три дня тебя не видела, была больная-пребольная. А почему ты не звонил? Тоже болел? Бедненький! Но ты не думай, я уже в порядке, и если ты тоже, то мы сегодня в театр непременно ходим. У меня целых два билета есть. Вот я какая богатая! Только ты приходи. Помнишь, где мы договаривались? Приходи в полседьмого. Обязательнo!»

До свидания.

Уже почти здоровая».

Петя ничего не ответил, когда Зоя спросила, о чем записка, он сидел, в который раз пораженный, удивленный, насколько Несвицкая меняется в письмах, так что даже не по себе ему становилось от этой страстности, нежности, ласковости, самоотдачи. Да и в других случаях Лизина реакция была порой так неожиданна, что тревожно замирало сердце. Раз в присутствии Лизы говорили ребята об экзаменах, о репетиторах, о подготовительных курсах при МГУ, и Сева Подоляк сказал: «Для нас с Петью одна цель — поступить в вуз. Я его понимаю, потому что мы похожи». Вдруг Лиза усмехнулась, перебив: «Высоко берешь». Мол, не тебе с Петей равняться. Сева смешался, но ничего не ответил, вдруг как-то подобострастно глянув на Петю.

Никому, кроме Лизы, не рассказывал Петя ни про Яшу, умершего от дифтерита своего старшего брата, ни про то, что бабушка Роза оказалась бациллоносителем (это выяснили, взяв у всех мазок из зева), что мать считала ее виновницей Яшиной смерти, что его, Петю, родители завели спустя год после своей трагедии, что бабушка на его памяти, не переставая, полоскала горло разными снадобьями и «посев» теперь был нормальный, что отца пригласили работать в журнал «Проблемы мира и социализма» и вот уже полтора года, как родители в Праге, а с бабушкой год назад случился удар, что на ноги ее кремлевские врачи поставили, но она все еще плоха, как пушкинская «старая графиня», тяжела и капризна в быту, что родители пока вернуться не могут, что он оставлен с большой бабушкой, но смотрит за ней, переехав к ним, его двоюродная сестра. О Лизе он знал много меньше, знал только, что ее отец — военный инженер, что они долго жили в провинции (Петя все забывал спросить, где), что в Москву переехали восемь лет назад, что, как и все переехавшие в Москву провинциалы, Лиза обходила, объездила, осмотрела в столице много больше, чем это де-

лают коренные москвичи. О родителях своих Лиза говорила мало, вообще любила накидывать на себя некую таинственность. Вот и сейчас. «Была больна... Чем больна? При этом в театр собирается». По телефону Лиза звонила ему редко. У самого Пети был насморк, и он тоже три дня не ходил в школу.

..Лихорадка не отпускала Петю, и он еще подождал, пока все разошлись, чтобы одному идти к трамваю. Петя не любил, точнее, испытывал тревожную неприязнь к школе, зато с охотой оставался дома. К тому же школа втягивала в себя улицу и уличных, которых Петя робел, а дом отъединял, отгораживал, дома он был сам по себе и самим собой. Дом был его крепостью.

Он и к Лизе тянулся как к убежищу, в котором мог бы укрыться от постоянного чувства незащитности, чувства, что он не такой, как все, и оттого ему, может быть, плохо. Физика, правда, была убежищем более надежным. В отличие от свиданий с Лизой свидания с физикой не требовали от него вечерних прогулок. Наука оправдывала его сидение дома и не мешала ему «быть на подхвате», помогать Лине. Переехав к ним из-за бабушкиной болезни, Лина почти не покидала квартиру, к ней приходил — чаще, чем раньше к отцу, — отцовский приятель, говорун Илья Тимашев. Его было интересно слушать, и было видно, что он любит, когда Петя его слушает. Рассуждая, он поглядывал на него, ловя, какое впечатление производит. Такое внимание к себе Петя опять же связывал со своей физикой. Еще весной увидел Тимашев, что он читает «Небесную механику» Лапласа, удивился и спросил: «Разве это современно?» «Не очень-то, — ответил Петя. — Но знать все равно надо. Некоторые до сих пор называют черные дыры «объектами Лапласа». Он их открыл». Тимашев тогда отрывисто так вздохнул: «Молодец. *Мой* предпочитает тусоваться с хиппами». Сын Ильи Тимашева, как знал Петя, был не то на год его младше, не то ровесник, но он промолчал, не умея в этой ситуации найти подходящие слова.

Лина поначалу шикала на него и отправляла за уроки, когда приходил Тимашев, но потом перестала. С Петей они были вроде бы даже союзники, как «оставленные» ухаживать за «бабкой», так Лина называла бабушку Розу, и терпеть ее недовольство, повелительные окрики и указания. Петя, однако, не мог предположить, как Лина отнесется к его вечернему походу в театр. Все зависело от того, как прошли первые полдня и в каком Лина настроении.

Выйдя из дверей школы, Петя прошел асфальтовой дорожкой мимо физкультурного зала — краснокирпичного здания, построенного недавно и соединенного со школой внутренним переходом. Затем свернул на дорожку из гравия, чтобы через две калитки и задний дворик выйти к трамваю, так получалось скорее. В этот дворик выходили окна и крыльцо коммунальной квартиры для живших при школе учителей. В одной комнате уже много лет жила математичка, в другой — два года назад перебравшийся в Москву из Черновиц Григорий Александрович Когрин, то есть Герц. Петя заходил к нему с Лизой несколько раз и потому считал себя вправе, когда спешил, пройти через этот дворик. Герц приехал с женой по имени Наташа, и год назад у них родился ребенок. У крыльца стояла синяя коляска, подрагивало, а временами вздувалось на ветру детское белье, висевшее на веревках, протянутых меж столбов. Столбы огораживали маленькую детскую площадку: песочница доверху насыпана свежим песком, но в ней пока никто не играл. К ручке коляски привязана веревка, проведенная в открытую форточку (чтобы качать коляску, не выходя на улицу). Герц был рукодел и выдумщик.

— Что плетешься? — Кто-то крепкой ладонью хлопнул Петю по плечу. — Я в физзал заходил, спортивный костюм там оставил, а у меня сегодня тренировка.

От неожиданности вздрогнув, Петя обернулся и увидел волчье лицо Желватова.

— Ишь обставился и устроился! — Сплюнув, Юрка кивнул на окна Герца. — Смышленный народец. День живет, два живет, а на третий — будто век здесь жил... Это мы по простоте все в дерьме да в помойке варагаемся.

— Какой народец? — с неприятным чувством беззащитности и ущербности, что выдает этим вопросом свою сопричастность вышеупомянутому «народцу», еле решился спросить Петя.

— Будто не знаешь? — снова сплюнув в сторону коляски, ответил Желватов, при этом тоном отъедая Петю от Когрина и присоединяя к себе, к своим. — Чего он тебя все время прикладывает? А?.. Ты же литературу секешь не хуже его.

Но Петя такого разговора о Герце не поддержал, ничего не ответил, только плечами пожал, что, мол, поделаешь. И все равно, похоже было, что Юрка принял его молчание как знак солидарности с его словами, но солидарности трусоватой, «из кустов».

— А ты чо, Петрилло, здесь всегда ходишь? — И только сейчас его гнусоватая ухмылка вдруг сказала Пете, что в этом извращении имени есть что-то непристойное, унижительное. К счастью, подумал он, в школе этого никто не заметил, иначе жить бы не было. Петю звали просто Петей. Он снова подумал, что от Желватова, несмотря на дружеское похлопывание по спине и дружлюбные слова, в любой момент можно ожидать любой подлянки, и не зря он его остерегается, не доверяет ему.

На крыльцо вышел невысокий старик в нижней голубой бумазейной рубашке и залатанных брюках, причем из помочей была застегнута только одна, вторая болталась, и поэтому с одного бока брюки немного съезжали. Крючковатый нос спускался к самому подбородку, седые волосы были такие же кучерявые, как у Герца, и так же шли ровной чертой над выпуклым лбом; седые брови были большие и густые, они походили на два островка высокой тесно растущей травы и нависали прямо на глаза, что придавало старику вдохновенный или скорее сумасшедший вид.

— А это что за хайло выползло? — Юрка подтолкнул Петю плечом. — Пошли, проходи давай по-скорому, пока он не разорался. Шугануть бы их отсюда. Да чтоб залетали пархатые!

Старик, кренясь под ветром, подошел к веревке, повесил на нее синие мокрые кальсоны. Потом вернулся и сел на крыльцо, не говоря ребятам ни слова.

Желватов шагнул в калитку, он шел враскачку, не спеша, расслабленной, «спортивной» походкой. Могучие плечи его слегка сутулились от привычки к боксерской стойке. Гуськом по вытопанной, с маленькими лужицами от вчерашнего дождя тропинке они приблизились к трамвайной остановке. «Неужели Желватову в ту же сторону?» — с замиранием сердца подумал Петя.

— Ну ладно, Петрилло, будь! — Ухмыляясь, будто прочитал Петины мысли, Юрка протянул ему руку. — Держи краба. Пойду портвешком освежусь. Ты, небось, откажешься?

Петя замотал головой, и, пожав ему руку, Юрка свернул направо, в сторону Коптевского рынка, к двухэтажным, продолговатым, вытянутым домишкам барачного типа, окружавшим пивной павильон, где в разлив продавалось и вино. Казалось даже, что вначале именно этот павильон был выстроен, а дома уж потом к нему подстраивались, тянулись, как к некоему центру, средоточию человеческой энергии этого мира.

Трамвай был набит, все теснились, толкались, так что приходилось все время прилагать усилия, чтобы удержаться на ногах, но, наконец уцепившись за поручень, Петя занял удобную позицию, позволявшую абстрагироваться от толкотни: рядом с первым сиденьем около окна. Правда, поразмышлять, как ему хотелось бы, он не смог, и единственное чувство, которое все же снизошло на него, было чувство полной протрации, когда глаз фиксирует происходящее, но душа в этом не участвует. Дефилировали навстречу мимо трамвайных окон магазины, жилые дома-девятиэтажки из панельных бетонных блоков, стройки с грудами мокрого песка и непролазной грязью на подходах. Неслись сбоку, поднимаясь и опускаясь, сорванные ветром желтые и желтовато-зеленые листья, сломанные мелкие веточки. Долго катился стекло в стекло какой-то набитый автобус. Вот и булочную миновал трамвай, вот и поворот, вдали виднелись

недавно поставленная бензоколонка и очередь машин на заправку. Петя стал протискиваться к выходу; трамвай был старый, он дергался, взлязгивал, его потряхивало, и, пока Петя сделал несколько шагов к двери, ему дважды пришлось хвататься за поручни. Вот и его остановка.

Он покрутил головой, не идет ли встречный трамвай, перешел линию и свернул на асфальтовую дорожку, с обеих сторон обсаженную кустами боярышника. Дорожка вела к старой добротной постройке тридцатых годов — пятиэтажному дому с высокими потолками и толстыми стенами. Ходили слухи, глухие и не очень внятные, что профессорский дом этот строили заключенные; во всяком случае, до того еще, как его оштукатурили, показывали Пете «большие ребята» кирпич, вделанный в угол дома, рядом с окном профессора Кротова; на кирпиче читались корявые буквы, процарапанные чем-то, видимо, еще до обжига: *«Кирпич делаю заключенный в лагерь»*, — а внизу большими буквами: «ГОЛУБ».

Немного левее от дома стояло с полдюжины гаражей. А прямо перед домом давно еще насадили газон, вокруг него — клены и тополя; газон потом разделили на два аллею, вдоль которой росли липы, в середине разбили клумбы, а по углам высадили кусты сирени. И вместо обычного городского газона получился в результате маленький парк, напоминавший Пете то, что он читал про сады и парки старинных, уже в прошлое ушедших дворянских усадеб. Правда, густота, мрачноватость и полумрак зелени бывали летом, сейчас деревья и кусты стояли скучные, с последними облетающими листьями.

Хлопнула дверь ближайшего к углу подъезда, и навстречу Пете вышла женщина с небритым, как у мужчины, лицом, коренастая, крупнотелая, неопрятная, носившая гетры и грубые башмаки на толстой подошве, а также — даже в жару — свитер и короткий прорезиненный плащ. По внешнему виду ей было от тридцати до сорока лет. От отца, болтавшего как-то с Линой, он краем уха услышал, что каждое утро эта женщина ходит на почту, не доверяя общему почтовому ящику «Для писем», и лично передает в окошечко иногда заказное, иногда простое письмо, послание, душевные излияния на сиреневой (кто-то умудрился увидеть!) бумаге, предназначенные любимому человеку, бывшему однокласснику, бывшему ее первому мужу, который давно снова женат и про нее слышать не хочет. Она нигде не работает и живет на мизерную пенсию по шизофрении в одной квартире с матерью и племянницей-сиротой, совершенно не обращая на них внимания. То пропадает на сутки, то сидит, запершись в своей комнате, ни к телефону, ни к дверному звонку не подходя, будто ее и нет. Вся в своей мечте. Отец добавил, что видит в ней изуродованный природой образ «вечной женственности». Лина тогда помрачнела, а Петя уловил в рассказе только оттенок чего-то непоправимого, что порой в жизни бывает, и подумал, что с ним такого не должно случиться, что он всегда должен быть хозяином своему разуму.

Между средним и крайним, Петиним, подъездами на лавочке, широко расставив ноги в теплых высоких ботах и опершись обеими руками на палку с набалдашником, стоявшую перед ней, расположилась старуха Меркулова, поверх пальто обвязанная еще черной шалью. Рядом со старухой, правда, не на лавочке, а на асфальте, сидела, высунув язык, черная лохматая пуделиха; она тяжело дышала и смотрела на Петю замутненными, слезящимися глазами, не мигая. Профессор Меркулов давно умер, его вдова болела водянкой, была громадной, ноги колодами, ходила с трудом.

— Как бабушка, Петя? — спросила она, даже не поздоровавшись: это был и знак благоволения к собеседнику, и сознание, что ее возраст позволяет пренебрегать условностями.

— Ничего. Спасибо.

— Да, старая у тебя бабушка. Часто к ней врачи ездят. А она что, по комнате сама ходит?

— Сама.

— Ну тогда еще ничего.

Приблизилась маленькая, сморщенная, в длинной кофте и застиранной юбке старушка: сухонькое тельце, плоская грудь, постоянный серый платок поверх головы и неизменная шерстяная кофта крупной вязки, руки, как всегда, прижаты к груди. И походка такая, будто все время бочком идет. Еще семь или восемь лет назад Матрена Антиповна занимала койку в трехкочной комнате в подвале Петиного дома, где было общежитие для нянечек и уборщиц из Института. Она вязала почти на весь профессорский дом вещи необходимые, хотя и простые — носки и варежки, убирала квартиры, жила в них, когда профессорские семьи отправлялись отдыхать и боялись оставить добро без пригляда.

— Здравствуйте. Давно всех не видела.

— Ну, Матрена Антиповна, наконец-то пожаловала! Совсем нас забыла,— громко сказала Меркулова.

Вместо ответа старушка повернулась, изогнувшись, к Пете.

— Как Роза Мойсевна? Жива еще?

— Конечно! — грубовато-неприятно буркнул Петя, шокированный и немного испуганный такой прямолинейностью.

— Сколько ей уже? Знала ведь, но забывать все стала.

— Девяносто два,— убавил почему-то Петя бабушке год.

— А мне семьдесят восемь. Совсем плохая стала. Я к вам сегодня зайду навестить. Все болела, больше месяца, никуда не выходила, даже позвонить. Не могла Розу Мойсевну поблагодарить...

— За что это? — спросила недоверчиво Меркулова.

— Она мне каждый месяц десять рублей высылала. Надо спасибо ей сказать.

— Ну уж вначале ко мне. Чайку попьем...

Не дослушав, Петя вошел в подъезд.

Глава II

ЛИНА, ИЛИ БЕЗУМИЕ

Она исходно была какая-то несчастливица, невезучая, но вовсе не походила на ту небритую шизофреничку в гетрах и башмаках на толстой подошве, тащавшуюся каждый день на почту отправлять письма. Лина была красавица, высокая, стройная, черноволосая, с матовым цветом лица, с красивой грудью, длинными ногами и очень гордилась своим носом «с уздечкой», считая это признаком породистости.

Линин отец был сыном Петиного деда от первого брака. Года через два после войны, рассказывал Пете отец, майора Карла Бицына (это была фамилия первой жены деда) посадили по непонятному тогда делу, которое теперь можно назвать «протокосмополитическим». Его обвинили в симпатиях недавнему союзнику — Америке, мотивируя это тем, что он учил самостоятельно английский язык и, будучи наполовину евреем, «восхищался» мощным «еврейским лобби» в Штатах. Так он и пропал в лагерях, а через полгода после его ареста родилась Лина, и дед-профессор, желая помочь невестке, пригласил их пожить пока в профессорской квартире. Алевтина, так звали мать Лины, недолго дожидалась мужа, завела себе любовника, а тут еще родился Петин брат Яша, и бабушка Роза настояла, чтобы Лина и, главное, ее мать уехали «на свою жилплощадь». Мать Лины собиралась было отсуживать одну комнату у свекра, как учил ее новый любовник, но все же им пришлось уехать, хотя напоследок (это вспоминала Петина мать) Алевтина еще кричала, что не позволит выгнать себя из квартиры, потому что она жена «тоже как-никак сына» Исаака Моисеевича, что не один Владлен у него сын, что если другие сыновья от первого брака неплохо устроились «в жилищном отношении», то надо и о ней подумать. Потом все сгладились, бабушка Роза и дед, которого Петя не знал совсем, помогали Лине, она подолгу гостила у них, так как ее мать все же сумела выйти замуж за одного из очередных своих любовников и перестала обращать на доч-

ку внимание. Лина даже называла тогда бабушку Розу «бабушкой», и никто уже не вспоминал прошлые обиды и неурядицы, словно их и не было.

А потом Лина стала бывать у них в доме много реже, и когда Петя подрос, он видел ее случайной гостьей: красивой, веселой, нарядной женщиной, почему-то называвшей его «маленьким братиком» и смеявшейся каким-то странным горловым, необычно волнующим смехом, каким мама никогда не смеялась. Лина как раз тогда поступила, а затем окончила труднейший, по словам папы, институт — Архитектурный, сокращенно МАРХИ, причем с отличием, с «красным дипломом». И вились вокруг нее молодые гении, предлагая себя в спутники жизни, с некоторыми Лина приходила к ним в гости, но бабушка Роза отрицательно качала головой: мол, слишком молод, положиться нельзя. А Лина тогда цвела, чувствуя себя primой, но ни за кого из «гениальных мальчиков» она так и не пошла, а отбила мужа у какой-то женщины с тремя детьми — именитого архитектора и дизайнера Диаза Замилова.

Они жили в ее комнатке на Красной Пресне (мать Лины к тому времени умерла, а Замилов оставил квартиру бывшей жене и детям), первое время были счастливы. Но была Лина по молодости кокетлива, а Диаз, по-восточному ревнуя, бил ее, что, разумеется, перенести она не могла и ушла: и от него, и одновременно из Гипротеатра, где они вместе работали и где она оставаться не хотела, чтобы не слышать радостных соболезнований подружек и их же сплетен. Ушла в никуда (Пете этот ее поступок казался безумием), ничем и никем не защищенная, нигде не работала и работы не искала. Как она попала в сумасшедший дом, Петя не знал. Отец что-то глухо говорил об их родственнице, вдове дяди Миши Бицына, враче-психиатре, докторе медицинских наук. Приехав навестить несчастную, брошенную мужем племянницу, она на следующий день прислала за ней перевозку. Два месяца психушки дались Лине непросто: в ней что-то сломалось, пружинка, которая делала ее primой. К тому же она считала, что в документах ее стоит теперь непременно какой-нибудь таинственный знак, сообщающий о пребывании в дурдоме, и ни один отдел кадров ее не пропустит, уж пусть она лучше будет голодать. Для подработки она писала шрифты, чертила дипломникам конкурсные проекты, пыталась давать уроки черчения, но все это неудачно, доход имела скудный; помогала деньгами бабушка Роза, а потом у бабушки случился удар, и Петин отец уговорил Лину переехать к ним.

Это, конечно, поддержало ее материально, но и словно загнало в еще больший ступор: она по-прежнему не искала работы, бросила писать шрифты, перестала давать уроки, утвердившись в мысли, что ей ни в чем все равно нет удачи. И с Ильей Тимашевым у нее как-то неладно получалось. Он тоже был женат.

Петя позвонил и через минуту услышал быстрые женские шаги. Лина стояла на пороге, раскрасневшаяся, немного распатланная, в кухонном фартуке поверх темно-фиолетового вязаного платья, и прикладывала палец к губам. Это означало, что бабушка спит. Петя понимающе моргнул. Как осажденные в крепости, они объяснялись знаками, чтобы их случайно не подслушали согладатаи противника. Петя шагнул в коридор-прихожую, и Лина, придерживая язычки замков, тихо прикрыла зверь.

— Совсем замучила меня утром, — пожаловалась Лина чуть слышно. — Трижды «неотложку» требовала, мне уж звонить туда неловко было.

— Ничего, — тоже шепотом ответил Петя. — Четвертое управление на машине ездит, не развалятся.

Лина согласно кивнула и двинулась на кухню, а он просочился в свою сыроватую, даже промозглую, а зимой просто холодную комнату. Зимой здесь выше пятнадцати градусов температура не поднималась. Поэтому в комнате всегда стоял электрический камин — синий прямоугольный ящик из железа на четырех ножках с открытой спиралью за решеткой. От выкрасенных масляной краской в зеленоватый цвет стен несло сыростью. Петя воткнул штепсель электрокамина в розетку, переделался в теплый тренировочный костюм. По-

том, как пушкинский скупой свое золото, осмотрел книги, которые он сейчас читал, перечитывал или собирался читать. Хоть Лина и ворчала по поводу этих книг, что они ничего не стоят, Петя считал их своим богатством. Были тут и учебники, вроде трехтомника Ландсберга по физике, и книги для мысли и души: Норберта Винера «Творец и робот» и «Я — математик», Леопольда Инфельда и Альберта Эйнштейна «Эволюция физики», Макса Борна «Моя жизнь и взгляды», И. С. Шкловского «Что такое вселенная?», и любимые — «Эварист Галуа» Инфельда и «Эйнштейн. Жизнь и взгляды» Б. Г. Кузнецова. Положив книгу об Эйнштейне на нижнюю полку тумбочки, прикрепленной к деревянному изголовью кровати, он вышел на кухню.

Между плитой и раковиной мостился небольшой кухонный столик, на нем Лина чистила овощи, споласкивала их под струей холодной воды и сразу бросала в кастрюлю с кипятком, уже стоявшую на огне. С самого отъезда родителей в доме не варили больше мясных супов, потому что бабушке нужна была легкая для усвоения еда, а Лина не возражала, ибо и себя хотела ограничить в потреблении пищи, «чтобы не потерять форму». На второе обычно был либо вареный язык, либо вареная вырезка, либо котлеты из вырезки. Все это приносилось (да еще, скажем, докторская колбаса, от которой и в самом деле пахло мясным духом) из распределителя, то есть столовой лечебного питания, к которой бабушка была прикреплена как старый член партии. Но таких, как она, было там немного. Пока она была здорова, Петя ездил с ней на улицу Грановского, где отоваривались сами владельцы карточек, как правило, мужчины с толстыми затылками и крутыми, могучими плечами, так что маленькая, подтянутая, хотя и властная, бабушка Роза была каким-то непонятным исключением. Получив сразу на несколько дней порции хорошо упакованных продуктов, мужчины шествовали к своим служебным машинам, такие одинаковые, что странно, как их узнавали шоферы, тоже, кстати, похожие один на другого холуйскими рожами. Теперь они с Линой по очереди ездили в распределитель «для членов семьи» около кинотеатра «Ударник».

— Ну, так что у вас с Лизой слышно? Уж мне-то, старушке по сравнению с вами, к тому же твоей близкой родственнице, можешь в своих изменах и флиртах сознаться!.. Скажи, завел новую девочку? Шучу, шучу. Ты спокойный и верный. Это хорошо. И гением себя не мнишь. Нынешние гении либо сумасшедшие, либо пьяницы. Никогда не обманывай любящую женщину, которая все тебе отдала.

Петя похолодел от этих слов, потому что он и в самом деле подозревал, что Лиза ему хочет «все отдать».

— У твоей Лизы, надеюсь, современные представления о жизни,— говорила Лина, закончив наконец возню с овощами и повернувшись к нему.— Ах, я завидую вам! Вы такие молодые, беспечные, никаких проблем! Вы можете бездумно веселиться. Что ж ты не сводишь свою даму в театр? Не все же по кино околачиваться. Женщин нужно уметь культурно развлекать. Я уж и одна здесь посижу. Много ли мне надо! — хотела она покочетничать. Но прозвучали эти слова искренне и грустно.

А Петя обрадовался, так неожиданно получив индальгенцию на нынешний вечер, и, похоже, не сумел скрыть радости.

— Сегодня веду. На «Дон Кихота» булгаковского.

Вдруг из бабушкиной комнаты из-за плотно затворенной двери донеслось громкое проникающее во все углы квартиры:

— А-а! Лина-а!

Петя вскочил. Лина от неожиданности чуть не уронила миску с фаршем. Но не уронила, поставила на кухонный столик и тыльной стороной руки отодвинула в сторону волосы с глаз.

— Фу, вот так всегда. Крикнет, аж сердце в пятки уйдет.

— Кто там? — доносилось из-за двери.— Я проснулась, а со мной никого. Все, все меня забыли. Я как в тюрьме. Одна, все время одна-а! Лина-а! С кем ты говоришь? Кто пришел?

— Это Петя! — раздраженно крикнула в ответ Лина и уже тише добавила: — Звонили ей из парткома и из газеты. Берут сегодня у нее интервью как у старой большевички. Я ей говорила, но старуха наверняка все забыла.

Петя, глянув на расстроенное и несчастное лицо Лины, подумал, что, помимо всех ее забот, Илья Тимашев не заходил и не звонил уже третий или четвертый день.

— Ли-на! Пе-тя! Где вы? Петя! Внук мой! Ты где?

— Пойди посмотри, что ей там нужно. А я быстро котлеты доделаю.

Петя шел по коридору мимо книжных полок во всю стену под причитания, доносившиеся из бабушкиной комнаты:

— Что же ты ко мне не заходишь? Я тебе надоела? Я всем надоела. А что я могу сделать? Не умираю. Никак не умираю.

Бабушка лежала на диване в мятом байковом халате, ноги ее были укрыты красно-черным шотландским пледом, глаза устремлены в потолок, и все свои речи она уже привычно произносила, не имея перед глазами слушателя, почти нараспев. Рядом на круглом столике лежали стопкой газеты, стояли пузырьки с лекарствами, около них очки без оправы, развернутая «Правда» валялась в ногах. Остальные газеты бабушка еще не смотрела. Над головой у нее — в рамке под стеклом — висела увеличенная фотография деда, человека с большим лбом, добрыми глазами и маленьким подбородком. Пахло мочой: под столиком с газетами стоял синий ночной горшок. Видимо, Лина его забыла вынести, а у бабушки то ли сил не хватило, то ли она демонстративно его оставила, чтобы чувствовать себя совсем заброшенной и чтобы все это поняли. Еще пахло немытым старушечьим телом, лекарствами и духами, воздух был спертый, нечистый. Пол был неметен, валялись какие-то бумажки, обрывки лекарственных упаковок, рецепт с красной полосой из Четвертого управления и засморканный носовой платок.

В больнице бабушку коротко постригли, и теперь было видно, особенно с затылка, что волосы у нее не только седые, но и редкие настолько, что, несмотря на взлохмаченность, просвечивала сквозь них покрасневшая кожа. Петя кашлянул, и бабушка, повернув голову к двери, с полубессмысленным ужасом уставилась на него безресничными глазами.

— Ты разве здесь? Мне мальчик сказал, что у тебя пошла кровь горлом. И тебя забрали в больницу. Как моего первого мужа. Он был похож на Горького, и все принимали его за Горького.

— Какой мальчик? — перебил ее Петя.

Бабушка задумалась, успокаиваясь потихоньку.

— Не знаю. Просто приходил мальчик. Может, это был твой старший брат Яша? Нет, не он. О, я не виновата в его смерти! Это моя самая большая боль. Но это был не он. А-а! Это был Карл, Линин отец. Хм... Но он тоже умер. Он родился уже после того, как мы познакомились с Исааком. Ты же знаешь, у Исаака, у твоего дедушки, было трое сыновей от другой женщины. Исаак был тогда анархист. И первого сына назвал Петр в честь Кропоткина, второго — Михаил в честь Бакунина и только Карла — в честь Маркса. Я уже к этому времени имела на него влияние. Я еще с Карлом играла. Вот он и приходил. Или не он, а очень похожий?.. — Она задумалась, припоминая, был ли мальчик. — А у тебя с горлом все в порядке?

— В порядке, бабушка.

Она посмотрела на Петю вдруг ясными, не затуманенными бредом глазами. Сморщилась страдальчески.

— Ох, устала я!

Попыталась приподняться на правой руке.

Петя бросился и подхватил ее, подложил под спину подушки, чтобы было повыше, решив, что она хочет сесть. Но бабушка стала упрямо спускать ноги с дивана, пытаясь встать.

— Горшок. Надо вынести горшок. Я понимаю, вам противно...

Выхода не было. Петя наклонился, поправил на горшке сбившуюся крышку и быстро пошел к туалету. На пороге кухни стояла Лина. Увидев Петю, протянула руку к вонючему сосуду.

— Пусти, я сама все сделаю. Я собиралась, просто не успела. Она ведь нарочно перед тобой демонстрацию устроила.

Петя протянул было ей горшок, но тут зазвонил телефон, стоявший в кухне, и Лина, резко развернувшись, рванулась к трубке. Петя прислушался; не из Праги ли родители, не Лиза ли?.. Но Лина словно ушла в телефон, и Петя понял, что звонит Тимашев.

— Чему обязана? — говорила Лина ледяным тоном. — Да нет, я вовсе не обижена. Что мне на вас обижаться? Вы мне такой же посторонний человек, как всякий другой, а на посторонних не обижаются. Не вижу, почему это я должна быть с вами на «ты». Мало ли что было! Живу как живу. Кому какое дело? Завтра? Нет, не могу. Приедет один мой знакомый — живой человек. Устроит мне фестиваль. Я не жалуясь. Это я так в своих безрадостных буднях называю светлые дни. Может, в театр меня некому в театр сводить?! Да? К матери своего друга? Пожалуйста. Приходите, мне какое дело! Навещайте, когда хотите. Почему я должна возражать?.. Не знаю. Но кто-то сегодня будет непременно дома, так что дверь вам откроют. До свидания.

Лина положила трубку, и, хотя тон ее был резок, Петя увидел, что выражение лица помягчело. Она нырнула в ванную, прихватив пудреницу и тушь.

Фортка на кухне была открыта, было слышно, как к подъезду подкатила машина, и Петя почему-то решил, что это к ним. С какой-то внутренней заторможенностью он продолжал стоять, прислушиваясь. И — как бывает — неожиданно угадал. Перед дверью послышалось шебуршание, потом раздался звонок.

Глава III

ИНТЕРВЬЮ

— Ну что ты стоишь? Иди открывай!

Петя молча и виновато показал горшок, который он так и не вылил, а Лина, причесанная, умытая, слегка поддурманенная и напудренная, пожав плечом, прошла мимо него к двери, сказав негромко, так, чтобы только Петя слышал:

— Взялся, так уж делай!

Подойдя к двери, хмыкнула, рассмеявшись слегка:

— Интересно, кого это к нам черт принес?

Смех был как бы отчужденный от Пети, рассчитанный на посторонних. Открыв дверь, она встала вполборота, так что Петя видел выражение ее лица. Словно и не было у нее только что хандры и печали, она улыбалась навстречу гостю, застрявшему в дверях криворотому мужчине в шляпе. Петя быстро, поражая своей недавней простратии, шмыгнул в туалет и аккуратно вылил в унитаз содержимое горшка. В прихожей слышался мужской голос, слегка гундосый и шелелявый, как показалось Пете. Он заколебался, удобно ли с горшком в руках перескочить на чужих глазах из туалета в ванную, не лучше ли отсидеться, но гость, похоже, никуда не двигался, и Петя решился. Не поворачивая головы в сторону входной двери, прошел в ванную, налил в горшок воды, быстро вернулся в туалет, вылил ее, поставил горшок около унитаза, снова проскользнул в ванную и вымыл руки. И только тогда вышел в коридор.

Лина и вошедший все еще толклись в прихожей. Высокий мужчина в плаще, как робеющий школьник, держал перед собой двумя руками шляпу и портфель, а Лина говорила ему:

— Вы к Розе Моисеевне? Так проходите, пожалуйста.

Мужчине удалось ухватить левой рукой одновременно шляпу и портфель, а правую он протянул Лине, невнятно произнеся кривым ртом:

— Саласа.

— Что? — не поняла Лина, подавая ему руку.

— Саласа,— повторил мужчина.— Фамилия моя — Саласа. Рязанский я. Василий Кузьмич. После войны в Москву перебрался. А вы здесь живете? — некстати брякнул он.

— Проживаю некоторым образом,— неприятно на сей раз улыбнулась Лина, растянув губы и прищурился глаза.— А это Петя, внук Розы Моисеевны...

Но мужчина не заметил иронии.

— А-а, здравствуйте, молодой человек! Это Петя, точно, Петя. А я вас помню совсем еще мальчиком. Наверно, школу уже кончаете? А куда, позвольте узнать, собираетесь поступать? В Московский университет, надо думать?..

— Да, на физфак,— подтвердил Петя с самодовольством, поскольку собирался поступать на такой «трудный факультет» и поскольку к нему едва ли не впервые обратились на «вы». Но с места не сдвинулся, потому что не понял, с кем говорит и как себя вести дальше.

— По научной линии, значит? — переспросил вошедший.

Петя молча кивнул. Из-за двери подала голос бабушка:

— Кто там?! Пе-етя! Ли-ина! Кто там?!

Похожий на перестарка-ученика, привыкшего лебезить перед учителями, извиваясь тощим телом и хлопая полами старомодного белого «пыльника», мужчина шагнул от входной двери мимо Лины к Пете:

— Вы, наверное, меня не помните... Я Саласа, Василий Кузьмич, из парткома, в этом году секретарем выбрали. Я на кафедре истории партии работаю, где и Роза Моисеевна работала. Мы с ней почти двадцать пять лет проработали вместе, можно сказать. Я горжусь, что я ее ученик. Мы наследники, так сказать, ее славных дел. Вот пришли узнать подробности. Для воспитания молодежи.

— Ли-ина! Пе-етя! — снова крикнула бабушка. Она продолжала говорить из-за двери, но уже не спрашивала, кто пришел, а размеренным речитативом вела нескончаемый диалог сама с собой или еще с кем-то: — Пора кончать. Черт! Пора кончать! Я жила честно. Честно! Все мои братья поумирали. А я была старшая. Старшая! Хватит! Все поумирали. А я все живу. Ли-ина! Это ко мне пришли?

Саласа улыбнулся Пете и развязно двинулся в бабушкину комнату. Шляпу в прихожей он не оставил, а по-прежнему прижимал пальцами к портфелю. «Пыльник» он тоже не снял. При ходьбе гость заваливался на правую сторону.

После первых приветствий он уселся, поставил меж ног портфель, укрепил на нем шляпу и, чтобы занять руки, взял со стола металлическую фигуру Дон Кихота и принялся ее вертеть и разглядывать. Бабушка почему-то лежала молча.

— Этот Дон Кихот стоит у вас как символ чего-то? — спросил Саласа, прикрывая правой рукой свой дергавшийся по всему лицу рот.

— Это мой любимый герой,— отвечала наставительно бабушка.— Мы все были Дон Кихотами в революцию. И тоже наше стремление к социальной справедливости началось с чтения книжек.

— Тоже как у кого? — туповато переспросил гость.

Петя тихо прошел в свою комнату, но дверь оставил открытой: мало ли что, вдруг бабушка разволнуется, и он ей понадобится?

— Как у Дон Кихота,— горделиво сказала бабушка.

— А он разве читал книжки? Я не помню. Некогда, Роза Моисеевна, классику читать. Все, знаете ли, наши институтские дела отвлекают. Родную мать из-за них забудешь. Но, насколько я знаю, он же с ветряными мельницами боролся и все ему чудилось не то, что есть в действительности.

Бабушка, видимо, сделала протестующий жест, потому что он быстро добавил, поставив статуэтку Дон Кихота на стол:

— Я хочу сказать... что вы и подобные вам боролись не с мельницами, а за наше будущее с самодержавием.

— Нет, нет, у него было много приключений в жизни, но правильных, позитивных,— возразила бабушка.— Он пытался заступаться за униженных и

оскорбленных. Да, и за тех, и за других, но мы еще и за бедных. Мы эту линию вели всю жизнь последовательно и принципиально. Жизни не щадили.

Криворотый махнул рукой, вскочил, задел ногой шляпу, та упала, он снова уместил ее на портфеле и подошел к дивану.

— Вы молодцом! Мы так и думали. Поэтому я пришел не один... А с нужным товарищем. Внизу...

Но бабушка упрямо прервала его:

— А я одна, все время одна. И смерть не приходит. Меня все забыли. Только Ольга Ивановна заглянула — я очень обрадовалась. Она цветы принесла, конфеты. Мне не нужны конфеты. Мне нужно человеческое отношение. А она долго сидела. Я ей так была благодарна, по-человечески, что она пришла. Мы ведь с ней не были близки. А теперь она не приходит. И никто не приходит.

— А теперь вместо нее я. Вы не думайте, Ольга Ивановна не от себя. От парткома. Она от всего коллектива приходила. Мы ее послали и так и говорили ей, чтоб не меньше часу навещала. И деньги на коробку конфет и на цветы ей выделили.

— Я не знала. Она мне этого не сказала. Я думала, от себя.

— Нет, она не от себя. Мы ее послали.

Повисла пауза. Затем Саласа попытался объяснить, что ему надо спуститься за корреспонденткой институтской многотиражки, но бабушка не понимала его или не желала понимать, на все его уговоры отвечая:

— Жаль, что вы уже уходите. Ольга Ивановна дольше сидела.

Одна из стен Петинной комнаты выходила на лестницу. В то время как из бабушкиной комнаты доносились пререкания, за стеной слышались тяжелые, но не мужские шаги, потом звонок в дверь.

— Ты откроешь? — крикнула с кухни Лина.

На пороге стояла невысокого росточка коротко стриженная широкоплечая девица в светло-сером клетчатом пиджаке и темно-коричневой вельветовой юбке. Лицо у нее было бугристое, нос в красноватых точках выдавленных угрей, щеки в рытвинах и свекольного цвета. Сквозь очки виднелись подслеповатые глаза с редкими рыжими ресницами. Через плечо висел фотоаппарат, а в правой руке деваха держала портативный магнитофон. Петя понял, что это заждавшаяся сигнала Саласы корреспондентка, и отступил, показывая рукой, куда пройти.

Поздоровавшись, журналистка заговорила доброжелательным и заинтересованным тоном:

— Видите ли, Роза Моисеевна, мы при нашем Институте собираемся открыть Музей ветеранов революции, ну, тех, кто участвовал, а при этом еще, чтоб были нашими сотрудниками. Мне поручено составить их биографии, чтобы студенческая молодежь знала, кто своей работой, своим героическим прошлым подготавливал почву для будущего, для нашего светлого сегодняшнего. Нам бы хотелось знать о вашей работе подпольщицы, об участии в революции пятого года. Вы же член партии с одна тыща девятьсот пятого года, мне в кадрах сказали, там еще ваше личное дело помнят. Ну и, конечно, прежде всего о вашей роли в Октябрьской революции, а также о дальнейших вехах вашей славной биографии, включая и работу в Институте.

Она остановилась, выжидая. Бабушка молчала, задумавшись и припоминая. Но тут в разговор влез Саласа:

— В момент совершения Великой Октябрьской революции Роза Моисеевна, как я слышал, находилась в эмиграции по партийному заданию. Правильно я говорю, Роза Моисеевна?

— Да, в эмиграции мы тоже чувствовали себя работниками партии, — смутно и неопределенно ответила бабушка. — Я там провела около двадцати лет, с девятьсот шестого года.

Петя подумал, что неучастие бабушки в революции должно разочаровать мужиковатую корреспондентку, но гостя не сдавалась, хотя тон ее и вправду стал не такой приподнятый.

— А как вы попали в эмиграцию? Вы, наверное, были в Швейцарии, с Лениным. Расскажите, как вы туда попали.

— Нет, я была в Аргентине. Но попала я туда не случайно. Мой отец всегда был свободолобивый! — начала бабушка совсем не то, что, по Петиним понятиям, от нее ожидала корреспондентка, Петя даже поразился бабушкиной простодушной искренности и одновременно политической нечуткости. — Когда начались погромы, он сразу уехал в Аргентину. Я думаю, мое свободолобие от него. Да, когда начались погромы, он уехал. Он не хотел жить в стране, где погромы. А в Аргентине был богатый меценат. Такой барон Гирш. Он там основал земледельческую колонию. И всем евреям давал землю бесплатно и еще деньги и оборудование. Но евреи ленились, потому что им все досталось даром, получали у барона деньги и ничего не делали. Отвыкли трудиться. А мой отец — о! — он был трудолюбив, он не брал денег у барона Гирша, все сам засеял и выращивал как надо. Соседи ходили и удивлялись, какие у него ухоженные поля и хороший урожай. Ведь, как и остальные евреи, он жил раньше в черте оседлости и не имел права крестьянствовать. Но он был трудолюбив, мой отец, и всему научился. А потом один гаучо убил ножом папиного работника, который не пожелал ему отдать лошадь. И тогда мы вернулись. Разве можно жить там, где тебя могут каждую минуту пырнуть ножом! Но в эмиграцию я поехала снова в Аргентину. Там остались знакомые. И потом я уже была старше и понимала, что гаучо — темные, обездоленные люди, просто нужно их дикие инстинкты наполнить классовым смыслом и направить их ненависть против эксплуататоров. А первый раз я в Аргентине была в семь лет.

У бабушки была книжка «Аргентина в фотографиях», присланная теткой еще лет десять назад. Петя любил ее рассматривать, пытаясь представить ту страну, где родился его отец, — в каком-то смысле историческую прародину. Он знал, что Аргентина — страна эмигрантов в не меньшей степени, чем США, что там есть столица Буэнос-Айрес и река Ла Плата, что в устье этой реки первые поселенцы нашли много серебра и потому назвали эту землю «Аргентиной», то есть «серебряной». Argentum и по таблице Менделеева значил «серебро».

Рассматривая фотографии пампы и «ее обитателей», Петя теперь вполне знал, как выглядит настоящий гаучо: широкополая шляпа на ремешке, черные густые усы, слегка вывернутые пухлые губы, шейный платок, завязанный как галстук, широкий черный кожаный пояс на широких штанах, а в руках непременно витая веревка — лассо.

— А сразу вернулись первый раз? — спрашивала корреспондентка, проявляя журналистскую смышленость. — Ну, после убийства работника...

— Нет, отец некоторое время был представителем фирмы Дрейфуса в Буэнос-Айресе, продававшей зерно. Он был способный, но ему надоело подчиняться директору фирмы. Отец был независимый, к тому же и фирма прогорела, вот мы и уехали.

Голос корреспондентки, записывавшей на магнитофон бабушкину историю, поскукнел еще больше:

— Расскажите лучше, как вы попали в тюрьму.

— Я росла в Юзовке. Там и гимназию кончила. Там меня приняли в партию. Когда наша организация провалилась, то почти всех арестовали, а меня нет, и еще одна, Таня ее звали, дочь попа, тоже уцелела. Она сбежала из Юзовки и поехала в Одессу, где были тогда мои родители, они снова собирались в Аргентину. И рассказала все моей матери. Мать приехала и хотела меня увезти с собой. Но мне было неловко. И я осталась. Пришли жандармы и очень стеснялись, что им надо арестовывать барышню. А я была рада. Я даже была счастлива, что меня арестовали, и нисколько не боялась. Тогда у всех было такое настроение, что настоящий революционер должен пройти через тюрьму. Это как бы своего рода революционный университет. А в тюрьме, ее еще называли крепостью, тогда было довольно свободно. Мы ходили из камеры в камеру. Проводили собрания, диспуты.

Пете казалось, что он просто чувствует отчаяние корреспондентки, которая ни слова не слышит о жестокостях царизма, а слышит про тюрьму, больше похожую на дом отдыха общего типа. Но вот бабушка перешла к своему излюбленному рассказу о тринадцатидневной голодовке, и Петя почувствовал даже облегчение, что сейчас наконец все станет правильно, и бабушка выдаст хотя бы отчасти тот текст, какой от нее ждут.

— А потом мы устроили побег одному уголовнику. Мы его распропагандировали, ведь мы боролись не с ветряными мельницами, а с реальным злом царизма. И помогали людям найти себя в борьбе. После побега начались строгости. Камеры заперли, и нас перестали пускать друг к другу. Нас это возмутило, и мы устроили голодовку. Вот я голодала тринадцать дней. И до сих пор жива. Пережила своих братьев и сестер. У меня была необыкновенная жизнь. А потом меня выпустили на поруки. И мать сразу увезла меня за границу. Там я и родила свою дочь. У нас тогда были так называемые гражданские браки.

Бабушка все равно говорила не то. И Петя терзался, что эти люди наверняка ее не поймут и втайне будут потешаться, если не хуже. Ведь их совсем не интересует ее человеческая биография, даже реальная политическая не интересует (как бабушку исключили из партии, как потом восстановили — «с сохранением стажа»). То, что им надо, они знают заранее, а в ее рассказе этого нужного нет. Еще потому его смущал ее рассказ, что уже несколько лет, как евреям разрешили уезжать, и он слышал разговоры в трамваях, что евреи заварили «всю эту кашу», устроили революцию, под шумок накопили деньжат («не успел их Сталин передавить всех!») и теперь бегут, а надо бы их всех вместо Америки в Сибирь. Бабушка же словно поддерживала эту точку зрения своим непродуманным рассказом, подчеркивая свое еврейство, а не партийность.

— А Ленина вы не видели?

Петя даже привстал от неловкости долженствующего последовать бабушкиного ответа. Но бабушка ответила довольно спокойно:

— Меня все спрашивают, видела ли я Ленина. Нет, не видела. Не привелось. Не пересекались пути. Вот мой второй муж сидел в одной камере со Свердловым. Но он тогда был анархистом и все носился с князем Кропоткиным. Тот ведь тоже был естественник, геолог и географ, как мой муж. Свердлов уговаривал Исаака читать Маркса, а он не хотел. И потом на лодочке сбежал в Турцию со своей первой женой и старшим сыном. Уж потом в Аргентину. А в марксисты его я распропагандировала там, в Буэнос-Айресе. Это была великая любовь!.. Все удивлялись нашей любви!

Саласа закашлялся. А корреспондентка, щелкнув выключателем магнитофона, принялась укладывать в футляр микрофон и свернутый шнур.

Гости уже собирались уходить. Прощаясь с бабушкой, Саласа углядел вдруг фотографию деда, висевшую у нее в изголовье.

— Что-то знакомое лицо, — сказал он, кривя рот и глотая гласные. — Похож на портрет зав. кафедрой геологии, который был у нас в Институте до сорок девятого года. У нас, знаете, теперь портреты всех бывших заведующих вывесили и ваш тоже. А кто же это?

— Это мой муж, — отвечала бабушка, не понимая происходящей накладки и нелепицы. — Он работал зав. кафедрой геологии в нашем Институте до сорок девятого года.

— Какое похожее лицо! — подтвердил Саласа.

— Мы познакомились в Аргентине, — объяснила снова бабушка.

— А что он там делал? Был в командировке?

— Нет, в эмиграции. Бежал из тюрьмы.

— А зачем?

От этих слов Петя аж подскочил со стула. Но Саласа, не дожидаясь бабушкиного ответа, уже вышел из комнаты, волоча одну ногу и прихрамывая на другую. Портфель со шляпой он по-прежнему нес перед собой, держа обеими руками.

— Где у вас можно воды? — обратился он к Пете, вопрошающе улыбаясь кривым ртом. — Мне надо рот пополоскать.

И тут в дверь опять позвонили. Поскольку в квартире толпились люди, Петя открыл не спрашивая: спрашивать было неловко. А за дверью в темной спортивной расстегнутой куртке, с синей сумкой через плечо стоял, слава Богу, знакомый человек: борода, свалывшиеся, видно, давно немые волосы, лицо виноватое и напряженное, тоскливо улыбочивые глаза, — Илья Тимашев. От него пахло водкой, но на ногах он держался вполне твердо.

Глава IV

СУЩЕСТВО С АЛЬДЕБАРАНА

Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной?..

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

В стеклянном кафе, расположенном напротив бассейна «Москва», за квадратным столиком, на «современных», то есть пластмассовых, стульях с уже расколотыми спинками и сиденьями сидела компания мужчин в возрасте от тридцати до пятидесяти. Перед каждым, помимо стаканов, стояли широкие блюдца с остатками капустного салата и недоеденными кусками хлеба, а в середине стола — для всех — три порционных тарелки с реччатым луком и селедкой. Двое, желавшие не только выпить, но и поесть, приканчивали сомнительно пахнувшие котлеты с холодной гречневой кашей, уверяя остальных, что водка — лучшее противоядие против любого отравления, что она дезинфицирует.

Острили, злословили. Тимашев отмалчивался, он чувствовал себя подавленным со вчерашнего вечера, а приятели приставали к нему, не сбреет ли он бороду, чтоб не сердить начальство. Несмотря на сосущее чувство пустоты, угнездившейся где-то в желудке, которую не заполнить было ни питьем, ни едой, Илья, усмехаясь, все же сказал, что никогда не побреется, поскольку сначала человек лишается бороды, потом лысеет — так происходит эволюция головы в задницу.

— Однако твой любимец Чаадаев был не только безбород, но и лыс, — сказал Саша Паладин, повернув к Илье свое безбородое, словно помятое, со слегка приподнятыми вверх щеками лицо. Саша был наблюдателен, памятьлив, остер, ходок по бабам... А отец его — весьма крупный партийный чиновник союзного масштаба, и это льстило вольнолюбцам из «стекляшки», что их приятель — из Сыновей.

«Лучше бы ему помолчать», — думал Илья. Но привычка к ироничному, ни к чему не обязывающему застольному трепу была сильнее его пасмурного настроения.

— Чаадаев в другое время и в другом пространстве жил, — ответил он, не глядя на Сашу.

— Уж больно ты серьезен, друг мой Илья. Это какое же у нас, по-твоему, время и пространство? — не отставал тот.

— У нас, душа моя, хронотоп развитого социализма, — пьяно ухмыльнулся через весь стол Боб Лундин.

Илья на минуту полуприкрыл глаза, отключившись от разговора: алкогольная раскованность отчасти давала ему на это право.

Вчера жена не пришла ночевать, сын сказал, что она звонила от подруги и останется там. Что ж, дело житейское. Перезванивать и проверять он не стал. Не чувствовал себя вправе: слишком сам был грешен. Да и доверял ей до последнего времени, а на этот раз даже твердо был уверен, что сегодня ничего и

не может быть. Потому что Паладин остался дома, с семьей. Паладин, его почти лучший друг, знавший все его похождения и грехи... Вот это и было вчерашним ударом, когда в гостях у Паладина, листая книги его небольшой библиотеки, пока Саша ходил за вином, он внезапно обнаружил Элкину записку со стихами, равнодушно положенную меж страниц. Саше даже в голову не пришло, что ее могут обнаружить. Илья сунул записку в карман. В автобусе по дороге домой перечитал. Стихи показались ему любовными. Ноги отнимались, еле до квартиры добрался. Только там взял себя в руки, твердя сквозь зубы: «Сам виноват». И тут случился жуткий скандал с сыном, который выскочил за дверь и явился только к часу ночи, а до часу, психуя, как бы с парнем чего не случилось, Илья курил сигарету за сигаретой и, проклиная себя, несколько раз брался за телефонную трубку, набирая известные ему номера друзей Антона.

Он болезненно представлял себе, как Элка со свойственным ей говорливым темпераментом уже в который раз обсуждает с подругой Танькой свою ситуацию. Эту Таньку он знал, однажды даже переспал с ней и понимал, что верность этой подруги весьма сомнительна. Но понимал также, что существует на свете и женская солидарность и что-нибудь Танька ей присоветует, и прежде всего молчать и терпеть. А что ему делать?

Между тем за столом шло обсуждение фундаментальных вопросов советского быта. Говорили о перебоях с продуктами, которые начались уже давно, и ситуация все ухудшалась, и всем это было ясно, но также было ясно, что ничего поделаться нельзя. В магазинах стояли бесконечные очереди, в которых практически жили терпеливые жители столицы; толпы людей на электричках и экскурсионных автобусах приезжали в Москву из среднерусских городов, наполняя мешки, рюкзаки и огромные сетки-авоськи колбасой, консервами, апельсинами. Сидевшие за столом обо всем этом говорили, видя в своих речах доказательство собственной независимости и напряженной духовной жизни. Уговаривали друг друга, что на Западе изобилие, передавали слух, что Сашка Зиновьев, очутившись в ФРГ и увидев тамошние витрины магазинов, воскликнул: «Бедный мой народ! Если б он только знал, что такое возможно!» Даже простодушный Вася Скоков выкрикнул:

— У них борьба за жизнь, а у нас за существование!

— Вот именно. Я хочу...— поднялся местный Сократ и доктор философских наук Ведрин, но его прервали.

— Пусть Скоков обождет со своим существованием, а ты обожди со своим хотением,— встал навстречу ему Боб Лундин, сотрудник и приятель Ильи по журналу. Тощий, с худым, вытянутым лицом, огромным горбатым носом и голубыми глазами, он улыбался и тянулся стаканом к доктору наук, перегибаясь через стол своим длинным телом.

— Ты скажи, откуда деньги на водку, если ни у кого денег нет? Социологическая загадка.

— Постой, Боб, не галди,— протянул руку над столом Мишка Ведрин в сбившейся под пиджаком серой водолазке с искрой, обнажившей круглое, толстое брюхо.— Я тебе отвечу. Понимаешь, ну, все вы, наверное, помните Гешку, Левки Помадова приятеля... Да. Так вот, он переплетчик, в переплетной мастерской работает, в музее, и они там решили провести эксперимент, так сказать, эксплицировать наружу внутреннее состояние объекта. Вот, стали они собирать крышечки, ну, эти, белые головки от поллитровок, выпитых, разумеется. Теперь заметь, что каждый из них получает ежемесячно по девяносто рублей. А в конце месяца они прикинули, что выпили вчетвером на пятьсот рублей. Если же бутылку считать в среднем по четыре рубля, то на каждого, стало быть, приходится по сто двадцать пять. Вот и смотри: вопрос даже не в том, откуда они достают еще по тридцать пять рублей на рыло, а в том, на что они вообще живут. Можно ли при таком пьянстве особенно халтурить, делать левую работу? Прямо сказать, сомнительно. Ну, конечно, входящие гости и заказчики тоже не с пустыми руками являются. Скинем, скажем, сотню с общего счета. Все равно ситуация остается необъяснимой. Ведь им, заметь, еще надо есть, пить, в смысле не выпивать, одеваться, обуваться, ездить в транспорте, у

всех семьи, которые они кормят. Вот это я называю феноменом социализма. И все одеты, обуты и не голодны. Такого, по-моему, никакая история еще не знала. Что скажешь?

— Здорово! Прямо кино! — не давая Бобу ответить, возликовал Скоков. — За бугром такого нет.

Паладин, махнув рукой, потребовал общего внимания.

— Наш друг напомнил мне историю с покойным Левкой Помадовым, в память которого предлагаю выпить, а потом расскажу.

Молча, со значительными, глубокомысленными лицами выпили.

— Является как-то Левка в редакцию в свежем костюме и при галстукке, — посверкивал Саша своими маленькими глазками, — случай, как помните, несчастный. В Цека собрался. Но там визит перенесли на следующий день. Мы слегка клюкнули. Взяли еще, а Левка все боялся за партбилет, как бы его не потерять. Он его с собой взял, чтоб в Цека идти. Ну, я его к себе повез, на дому все же безопаснее. Сели, выпили. Манечка картошки нажарила. Тут ему что-то в башку взбрело, навязчивые идеи у Левки спьяну часто бывали, как все мы знаем. Пошел в комнату, где ему уже Манечка постелила, и на всякий случай партбилет там припрятал. Вернулся спокойный, расслабился, ну, тут уж и дал себе волю — нарезался в свое удовольствие. К часу разбрелись по комнатам. А часа в четыре меня Манечка будит, перепуганная, вся дрожит. Слышу — в Левкиной комнате жуткий грохот. Вскрикиваю, бегу, включаю свет. Левка, распатланый, волосы в разные стороны торчат, очки едва на носу держатся, в длинных семейных трусах, стоит у книжной полки, подвывает и вываливает книгу за книгой на пол. Оказывается, он спьяну спрятал партбилет в одну из книг, а ночью вдруг проснулся в страшном кошмаре, что забыл, в какую именно, и теперь никогда не найдет. Ну, конечно, нашли.

За исключением Тимашева и Боба Лундина остальные были партийными. Смех был нервный и кислый, искреннее всех смеялся сам Саша Паладин.

— Да. Сурово, — сказал доктор наук. — Крепко мы все повязаны. Homo soveticus! Это про всех нас.

— Давай разливай, — сказал Паладин.

Они чокнулись и, проглотив по полстакана дешевой «андроповки», заели остатками капустного салата с корочкой хлеба.

— Мужики, вы в редакцию? — вдруг спросил Илья. Он и сам туда собирался, но внезапно передумал.

— А ты? — осведомился Вася Скоков.

— Я нет. Если начальство хватится, то я, естественно, где-то в редакции. Ну, или только что вышел, с автором поговорить...

— А если позвонит твоя жена Элка? Что ей сказать? — ласково-понимающим голосом спросил Саша Паладин.

— Это уж смотря по тому, к кому ты лучше относишься, — произнес Илья, глядя в сторону.

— Не понял, — побледнев, удивился Паладин.

— Странно, — по-прежнему не глядя на него, ответил Илья напряженно.

— Кончай ссориться, ребята! — бросился их разнимать Вася Скоков. Илья принужденно улыбнулся и повернулся к Бобу Лундину, теребившему его за плечо.

— С тебя, моя радость, бутылка за сокрытие места твоего непребывания. — Боб, длинный, в длинном замшевом пиджаке, стоял во весь рост, пошатываясь и подняв кверху указательный палец. — Опять к киске поехал?

Вместо ответа Илья подтверждающе ухмыльнулся, чтобы не разочаровать его. На улице дул ветер. Тимашев свернул в метро, а приятели пошли наискосок через шоссе. Издали казалось, что их уносит ветром.

Из метро, преодолев голосом грохот проносящихся поездов, Илья позвонил Лине и запросился приехать. Он избегал ее уже несколько дней, не звонил и догадывался (а по тону ее уверился в справедливости догадки), что она обижена и решила в очередной раз расстаться с ним.

Еще два дня назад он был уверен, что никогда не уйдет от жены и сына, несмотря на взаимную усталость и раздражение, несмотря на то, что чувствовал

себя с Линой естественным и свободным, но все равно не хотел, не хотел уходить из дома, бросать родных, с которыми сросся, болью которых болел, неурядицы которых были его неурядицами, заботясь о которых даже на свидания, не стесняясь, ходил с хозяйственной сумкой, набитой продуктами для дома... А вот теперь он бежал в Лине за спасением, не сказав ей, разумеется, об этом ни полслова.

Он познакомился с Линой уже больше двух лет назад на сорокапятилетии Владлена. Сначала была пьянка в редакции, сильно завелись, Владлен щедрой рукой кидал деньги и водки выставил изрядно. Потом двое или трое наиболее трезвых и транспортабельных вместе с Владленом схватили такси и поехали к нему домой, где должен был состояться основной — домашний — праздник. Стол был уже накрыт, горели лампы, но от выпитой водки Илье казалось, что в комнате полумрак, а фигуры и лица людей виделись, как в немом кино: они двигались, шевелили руками и ртами, но звуков он вначале не слышал. Потом на него обрушился водопад голосов. Молчала только она, с любопытством на него посматривая.

Лина приехала помочь Ирине, разумеется, осталась на вечер и сидела за своим полупустым прибором, раздувая ноздри уздечкой и иронически поглядывая на быстро пьяневших гостей. Роза Моисеевна была в те дни в больнице — на профилактическом осмотре и лечении, которые предоставляла «Кремлевка» своим подопечным.

Как-то незаметно он очутился рядом с Линой, гусарствуя, наливал себе, да и ей не забывал подливать. Она пила мало, но все же пила. В пьяном тумане Ильа уже не мог различить, как она на него смотрит, хотя и желал изо всех сил ей понравиться. Заметил только, и это обрадовало его, что она не очень-то отодвигалась, когда спяну его заносило и он кренился в ее сторону. И с чувством получившего признание кавалера он отводил, отталкивал от нее руки других пьяниц, невольно полюбившая ее за плечи, ощущая в груди трезвящий любовный холодок и одновременно упоительную уверенность любовной удачи.

В одиннадцать ушел спать Петя. Около двенадцати поднялись первые гости. А Ильа сразу после часу, как закрылось метро, позвонил домой, сказал, что в метро он уже не попал и слишком пьян, чтобы сейчас куда бы то ни было ехать, потому останется здесь. Владлен, взяв трубку, подтвердил его алиби.

Празднование дня рождения завершилось. Друг Владлена еще со школьных лет — усатый и грязный толстяк-здоровяк, живший репетиторством, — начал похрапывать за столом, тыкаясь усами и носом в блюдо с остатками салата. Наконец ушли спать Владлен с Ириной, оставив за столом Лину, Илью, кемарящего усатого, который сразу после ухода хозяев расслабился, сполз под стол, вытянул привольно ноги и засвистел носом, и Боба Лундина, ходившего, пошатываясь, вокруг стола — он выпивал рюмку за рюмкой и бормотал:

— Стоит средь хижины моей
Чудовищный скелет...

Вдруг грозил кому-то пальцем и добавлял:

— Я говорил ему: «Не пей!»
Так не послушал, нет!

Потом присаживался на диван рядом с Линой, но с другой стороны, нежели Ильа, и падал головой ей на колени, с которых она терпеливо его поднимала. И Ильа на какой-то момент решил, что Боб окажется ему в этот вечер если и не соперником, то, во всяком случае, помехой, но тот вдруг встал, покачиваясь на длинных своих ногах и улыбаясь доброй и бессмысленной улыбкой человека, забывшего о своих сексуальных поползновениях.

— Ай эм гоуин ту май гёл Белла, — сказал он, продвигаясь к двери.

Беллой звали его вторую жену. Через минуту хлопнула входная дверь. Под столом храпел и постанывал во сне усатый.

— С ним ничего не случится, что он такой пьяный? — спросила Лина, уставившись на кончик своей туфли.

— Да нет, не в первый раз, на такси доберется,— ответил Илья и рассказал комическую, на его взгляд, историю, как однажды, сказав шоферу направление, Боб уснул в такси, полностью вырубился, а когда шофер, доехав до указанного ориентира, принялся его расталкивать и требовать точного адреса, Боб, которого к тому времени совсем развезло, мило улыбался и пел в ответ: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз».

— Зачем вы так пьете? Какой смысл? — после паузы спросила Лина.

— Либералии,— односложно ответил Илья, тут же досадуя на себя, что придется, видимо, слово объяснять, терять время, и одновременно соображая, что от такого объяснения легче будет перейти к делу.

— Что это значит? — спросила Лина, как он и ожидал.

— Либер — в переводе значит «свободный», это иное имя Бахуса. Кто такой Бахус, надеюсь, ты знаешь? — Она кивнула головой.— А в Древнем Риме был праздник — либералии, в честь Бахуса. Тысячелетия тянущаяся попытка приобщиться таким образом к свободе. Бахус-Либер своим напитком освобождал от всяческих забот.

— Ты освободился?

— Ага.

Он снова сел рядом, притянул ее к себе и поцеловал, но в щеку, потому что Лина отвернулась, хотя из рук не вырывалась. Потом, вздохнув, распрямилась, выскальзывая из объятий.

— Давай спать.— Она провела ладонью по лицу.— Раскладушку разбирать уже сил нет. Мы на этом диване уместимся. Но ко мне не приставать. Я не хочу.

Она молча легла. Свет они погасили, и в комнате наступил предрассветный полумрак. Было около четырех утра. Минут через пять он начал тихо ее гладить, целовать, она не сопротивлялась, потом «приставать», а потом она ему уступила, со страстью сжимая его руками. Усатый все храпел под столом.

Они встречались уже два года. Ни с кем из женщин Илье не было так хорошо в постели, он влюбился. Ссорились они часто. Илья старался перебороть себя, а Лина рыдала и упрекала его:

— Ты поступаешь непорядочно. Ты вмешался и продолжаешь вмешиваться в мою жизнь, хотя никогда на мне не женишься.

Он бледнел, краснел и полуискренне говорил:

— Ну, давай сделаем вид, что ничего не было, и я исчезну из твоей жизни.

Она пугалась:

— Что ты! Все было!..

Между тем у Ильи начались семейные неурядицы. Элка все чаще разговаривала с ним, не разжимая губ, а сила ее характера настолько давила Илью, что он, чувствуя свою вину, никак не отваживался на выяснение отношений с ней, а про развод даже и не думал. Точнее, думал, но изменить накатанный образ жизни был не в состоянии, придавая разводу вполне космический смысл крушения основ мироздания. Он снова и снова пытался преодолеть свою страсть, ничего не получалось. Так что Элкина измена («Если она была!» — остановил он себя) — ответ на его фокусы.

Он хотел бы быть существом с Альдебарана. Ведрин как-то в «стекляшке», размахивая стаканом с водкой, выдвинул «концепцию Альдебарана». «Понимаешь,— говорил он,— когда ты среди пьяного сброда, да, ха-ха, прошу извинить, среди друзей-собутыльников, которые мало чем от пьяного сброда отличаются, да, так вот, когда все у тебя ладно и хорошо, все в порядке, на работе неприятностей нет, жена не знает про любовницу, любовница не беременна и не требует, чтоб ты на ней женился, работы твои выходят, тебя хвалят, а ты в своих сочинениях не фальшивишь при этом или почти не фальшивишь, что по нашим временам одно и то же, и вдруг тебя прохватывает смертельная тоска, именно прохватывает, как понос, тоска ни от чего, мировая скорбь, как ее раньше называли, тоска от твоей неподлинности, вот тут и задумаешься. Все эти трагические концепции мироздания, весь этот экзистенциализм — откуда они

взялись? Спрашиваю, но не отвечаю. Идеи о своей, скажем, «заброшенности» в мир, в историю, как в некий чуждый поток, об исконной одинокости людей духа, об их «оставленности», ну и так далее, тут можно много наговорить. И даже у нас, среди этого полного распада и говна, вдруг кое в ком начинают шевелиться эти чувства. Еле-еле, придавленно, но шевелятся. Как они могли возникнуть? Ни дворянским, ни буржуазным происхождением, ни средой, ни даже порой талантом во многих случаях это не объяснить. Но допустим, гипотетически, конечно, что в созвездии Альдебарана — помните, у Лема книжонка такая есть, «Нашествие с Альдебарана»? — да, так вот, на этом Альдебаране есть высшая цивилизация, и она интересуется Землей. Может, колонизировать они нас хотят, а может, возвысить, а для этого надо подготовить землян, этих, на их взгляд, полуживотных, к принятию высших альдебаранских идеалов. Дикари привыкли убивать и пожирать даже своих соплеменников, а их надо научить ценить жизнь себе подобного, и вот альдебаранцы засылают на Землю уже несколько тысячелетий своих разведчиков и диверсантов — Будду, Конфуция, Христа...» «Так, по-твоему, Христос — инопланетянин?» — перебил его Вася Скоков. «В каком-то смысле — да, он из числа диверсантов, которые пытаются переделать людей, а есть простые разведчики, которые должны только наблюдать. Я не знаю, как это технически у них разработано, но можно представить, что они посылают на Землю некий генный сигнал, и таким образом альдебаранец рождается у обыкновенной земной женщины. Вот тебе и «заброшенность» в иной мир. Духовно альдебаранец живет по другим законам, чем землянин, даже если альдебаранец — простой разведчик, ибо взыскует неведомого. Поэтому иногда охватывает его невероятная тоска по чему-то иному, нездешнему. Это и есть свидетельство его неземного происхождения. Вот что, да, мне кажется...»

Говорил Мишка, как всегда спяну, немного косноязычно, но все же донес на сей раз до собеседников свою мысль. Принялись обсуждать идею и знакомых, с Альдебарана они или, например, с Кассиопеи, всем хотелось быть с Альдебарана, как-то почетнее казалось. Один Боб Лундин отрицательно мотал головой и бормотал, что новомодные варианты псевдорелигий его не интересуют. Тогда Тимашев подумал, что, вполне вероятно, для Вёдрины это не просто шутка, что он, пожалуй, верит в свою концепцию. Уж очень в словах толстопузого доктора наук звучала жажда трансцендентального объяснения своего бытия.

Речь Вёдрины была запита изрядным количеством водки и портвейна. Илья тоже пил и пытался вообразить себя космическим пленником чуждого мира, чуждого разума, живущим по обычаям туземного племени и просто слегка запутавшимся в туземных отношениях. Это утешало.

Глава V

ИСТОРИСОФИЯ В РАЗГОВОРАХ

Позвонив в дверь, он уловил в глубине квартиры чьи-то чужие голоса и образил, что черная «Волга», стоявшая у подъезда, очевидно, и привезла сюда гостей. Шофер спал на переднем сиденье, накрывшись газетой. Но кто бы это мог быть?

Дверь открыл Петя и обрадованно улыбнулся Илье. За ним, в конце коридора, он разглядел Лину, стоящую с кухонным ножом в руке, в цветастом фартуке поверх темно-фиолетового вязаного платья с короткими рукавами. В ванной лилась вода, кто-то булькал, полоща рот. Лина, засветившись при виде Ильи, робко, словно стыдясь недавнего раздраженного телефонного разговора, подошла и встала за Петинной спиной.

Ее длинные смуглые руки приняли от него куртку и открыли дверцу шкафа. Илья воспользовался распахнутой дверцей как прикрытием и поцеловал ее. Она счастливо улыбнулась, но тут же приложила палец к губам.

Скрипнул паркет на пороге комнаты Розы Моисеевны, и хлопнула дверь ванной. В коридоре сразу стало толкотно, поскольку для четырех человек места здесь было маловато. Из комнаты вышла девица лет двадцати пяти в мужском пиджаке, с продувной комсомольско-журналистской физиономией. Из-за ее широкой спины вырисовывалась голова Розы Моисеевны с неприбранными редкими волосами. От ванной ковылял криворотый человек с черным портфелем и шляпой в руках. Протиснувшись мимо Лины и девицы, он перехватил портфель в левую руку, а правую протянул, скорее даже сунул, Илье.

— Позвольте представиться. Саласа, доцент.

Лина показала глазами, что эти гости не что, и пошла на кухню, всем своим видом выражая презрение к разговору. Ильа не успел пожать хромоу руку.

— Это Ильа Тимашев,— громогласно заговорила Роза Моисеевна, кутаясь в застиранный и выцветший байковый халат,— друг моего сына. Он тоже крупный ученый, как и мой сын. Он его друг!

— Вы тоже кандидат? — подобострастно обратился к нему Саласа, пряча руку в карман пиджака.— Я так и думал, что вы друг Владлена Исааковича. А я все никак не могу защититься. Печатных работ не хватает. Вам легко, вы ведь в журнале работаете?.. Значит, с вами надо дружить, хе-хе! Глядишь, статейку опубликуете...

Ильа привычно начал бормотать что-то вроде: «Как же, как же, приходите, кто может запретить. Редколлегия только у нас суровая, ничего почти не пропускает. От нас ведь не все зависит. Но, разумеется, попытка не пытка...» При этом он уцепился правой рукой за бороду, чувствуя себя как всегда неловко при подобных разговорах.

— Да, к вам нелегко попасть... Как говорится, три пуда каши съесть надо,— заискивал неостепененный доцент.

— Так вы работаете в журнале? В том самом? Мы на политзанятиях его изучаем,— кинулась, перебивая Саласу, девица.— Мы с вами, значит, коллеги, я тоже представитель прессы. Нет, я с вами не хочу равняться, вы, конечно, страшно умный. Но и наша многогиражка выходит уже на четырех полосах. Только хорошего материала маловато. Вам это должно быть понятно. Это наше общее профессиональное мучение. И вы, надеюсь,— тут она так кокетливо улыбнулась, что Ильа непроизвольно вздрогнул,— не откажетесь мне помочь, вы просто обязаны это сделать.— Она положила ладонь на его руку и дружески сжала ее.— Вы должны рассказать кое-какие детали про Розу Моисеевну, ладно? Мне кажется, вы давно ее знаете...

— Вы меня простите,— сказал он ласково и тоже дружеским жестом снял ее руку со своего локтя,— но лучше Розы Моисеевны вряд ли кто расскажет ее биографию.

Ему явно сочувствовал стоявший в дверях своей комнаты Петя. А отшитая журналистка, несмотря на смущенно-наглуую улыбку, которой одарил ее Ильа, обиженно дала косину обоими глазами и покатила к двери. Следом за ней, придерживая двумя руками портфель, двинулся почтительно хихикавший Саласа, но приостановился, когда распевно, раскачивая головой, принялась жаловаться Роза Моисеевна:

— Ильа, ты пришел, а то не приходит ко мне никто! Вот только эти товарищи пришли, им важно, чтобы я поделилась своими воспоминаниями. Это всем важно. Мне недавно даже из Иркутска письмо пришло, от моего бывшего ученика, он теперь профессор, профессор Каюрский. Я еще не читала, но так он написал на обратном адресе. Запомните это имя. Он меня уважает. Он меня помнит.

— Всем, всем, дорогая Роза Моисеевна, нужен ваш жизненный опыт,— залопотал Саласа, лебезя.— Для нашей партийной организации, где вы проработали больше сорока лет, он особенно неоценим. Ныне особенно важно помнить, как вы нас всегда учили, что каждый коммунист должен быть высокоидейным, активным бойцом нашей партии, особенно в условиях усиления нападков империализма и сионизма, злопыхающих на строительство коммунизма в нашей стране. И мы обещаем вам, дорогая Роза Моисеевна, я от лица всего парткома говорю, приложить все силы, чтобы ваша жизнь не прошла даром. Вот и Ильа... Ильа... извините, как вас по батюшке величать?

— Васильич,— недовольно-нетерпеливо буркнул Илья.

— Вот и Илья Васильевич поддержит мои слова, не так ли?

Илья вяло кивнул. Старуха стояла, вытянувшись, как маршал на параде, торжественно и важно держа свою седую маразматическую голову и сурово глядя на пришельцев. «Никакие альдебаранцы в этой картинке не разобрались бы»,— внезапно решил Илья.

Немая сцена, наступившая после слов кривомордого Саласы, была нарушена им же.

— Рад был с вами познакомиться,— подхалимски улыбнулся он Илье, но руку протянуть не решился.— А вам, дорогая Роза Моисеевна, желаю больше душевной бодрости, ее у вас и так много, но надо еще больше. Вашим примером должна жить молодежь.

— Уж конечно! — фыркнула из конца коридора Лина.

— Я жила верная идеям марксизма-ленинизма,— нараспев сказала старуха.— Живите, как я.

Она три раза театрально махнула рукой вслед ушедшему сослуживцу, другой рукой оперлась на ручку двери своей комнаты. Но только с улицы послышался шум взревшей и поехавшей машины, как она расслабилась.

— Ушли! Все уходит. Одна я остаюсь. Ох! Все болит! Лина! Помоги мне! Ты бесчувственная! Ты не хочешь видеть, как мучается старый человек, нет, пожилая женщина, старый член партии. Ты себя бережешь. Ты бережешь свои нервы. Ты равнодушная. Ох! Помогите же мне кто-нибудь!

Она стала заваливаться на бок. Бросился к ней Петя, но Илья был ближе, потому оказался проворнее и, подхватив ее под руки, довел до постели, отвернул плед и осторожно усадил. Она села, посидела, потом скинула тапки, влезла под плед и укрылась им, не снимая халата. Оживление от прихода неожиданных гостей сменилось усталостью и раздражением. В комнате пахло давно не мытым телом, лекарствами, мочой, тленом.

— Вы несправедливы, Роза Моисеевна,— стараясь не дрогнуть голосом, твердо произнес Илья. Старуха закрыла глаза, ее белые редкие волосы были разбросаны по подушке.— Лина о вас заботится, все вам отдает. Все силы, время, возраст наконец. Ведь ей чуть больше тридцати.

— А ей некому больше свой возраст отдать. У нее никого нет. Ты не в счет, потому что редко бываешь,— с жесткой и эгоистической прямоотой старости отвечала Роза Моисеевна.— А я к тридцати годам была одним из руководителей компартии Аргентины. Да я ее и организовала. Там меня еще помнят. Этот тип, Кобовилья, грубое животное, он ходил за мной и слушал, как я выступаю, и называл себя моим учеником. О, это был тип, ты знаешь, из итальянцев, он сначала хотел примкнуть к какой-нибудь мафии и чуть не попался на уголовщине, его даже хотели гнать из кружка, но я за него вступилась, у меня был русский опыт перевоспитания уголовников, я и за Кобовилью взялась, он с бандитами порвал, а своими связями среди аргентинского пролетариата и бедноты принес партии много пользы. Да, он наладил контакты.— Она вдруг задумалась и вздохнула.— И мы его избрали в Цека, а потом он написал на меня донос в Коминтерн, что я узурпирую власть. Товарищи быстро разобрались, но из Аргентины мне пришлось уехать. Мне исполнилось тридцать шесть лет, когда я вернулась сюда. Это был двадцать шестой год. Но партийную работу я найти не смогла, потому что была еврейкой. Это уже тогда началось. Из руководства партии, из Политбюро выводились все товарищи еврейской национальности. Поднялся и удержался только это ничтожество Каганович. Но я не зря прожила жизнь. Жизнь!.. А что твоя Лина сделала?! Тридцать пять лет — это совсем немало...

— Вы, Роза Моисеевна, и вправду должны написать мемуары, это было бы чертовски интересно! — То бледнея, то краснея, Илья старался увести ее от «темы Лины».

— Зачем писать? Все прошло, все кончилось, ничего не вернешь, никого кругом. Такие настали времена. Один мой внук, мой единственный внук, и эта дура, как ее... ну... Лина. Дура.

— Она достаточно умна,— не нашелся сказать ничего лучшего оскорбленный за Лину Илья.

— Умна для чего? Ничего не делать и волосы перед зеркалом часами причесывать? Для этого ее ум годится.

— Ну хотя бы,— резко сказал он,— ее ум годится для того, чтобы готовить вам обед! Да и вообще пора понять; что человек не определяется общественной пользой.

— А чем же?

— А ничем. Самим собой. Тем, что он человек и существует на Земле, при этом добрый и никого не обидел. Потому что все эти общественные активисты и воинствующие гуманисты уже столько зла в нашем мире наделали! — сказал и спохватился, что она может не так понять.

Роза Моисеевна молчала, как бы прислушиваясь к чему-то. Илья тоже прислушался, но ничего не услышал. Помолчав, она как-то странно на него посмотрела и спросила не менее странно:

— Чей это голос?

— Где? Я не слышу.

— Только что кто говорил? Чей голос звучал?

— Мой.

— Это вражеский голос, голос реакции. Вот это какой голос. И тебе должно быть стыдно повторять за ним. Ведь ты коммунист!

— Я беспартийный,— ляпнул Илья и почувствовал, что напрасно это сказал: глаза старухи на минуту широко открылись, она страдальчески задышала. И тут же зажмурилась.— Роза Моисеевна, дело ведь не в партийной принадлежности.— Илья не хотел огорчать ее.

Но старуха не отвечала, она лежала, закрыв глаза. Стало понятно, что она была уверена в его партийной принадлежности, потому что он в таком журнале работал и потому, что хорошо к нему относилась. Илья подождал, с подушки слышалось ровное сопение. Роза Моисеевна заснула или делала вид, что заснула. Во всяком случае, черты ее лица и даже тела (оно четко вырисовывалось под пледом) приобрели твердость, а губы плотно сжались. Она явно показывала, что не проронит ни слова. И тут, на его счастье, послышался голос Лины:

— Илья, Петя, обедать!

Но, когда Илья тихонько открыл дверь, чтобы ускользнуть, лежавшая навзничь старуха, по-прежнему не размыкая глаз, бросила вдруг в воздух:

— Конец света! Это конец света. Не осталось настоящих людей. С миром что-то случилось. Пора умирать. Умирай, давай умирай! Черт, заведи меня наконец!

Илья закрыл за собой дверь.

Он помедлил на пороге кухни, пытаясь угадать настроение Лины. Есть ему совсем не хотелось, хотелось другого, зачем он сюда ехал, желание вдруг проснулось и побежало по всем клеточкам тела. Губы стали сухими.

Петя и Лина уже сидели за столом. Петя в углу, между холодильником и стеной, как бы в некоем убежище. Лина спиной к плите, высоко подняв голову. Илье оставалось место посередине — лицом к окну, спиной к двери. Они ели молча, вернее, ел Петя, а Лина сидела перед пустой тарелкой: ждала Илью. Она успела переодеться: тоненькие лямки сарафана узкой полоской пересекали белую шелковую блузку, длинные округлые руки лежали безвольно на столе, и вся она, в своем сарафане, подобранном в стиле «помпадур» под грудь, казалась такой обольстительной, такой желанной, как ни одна другая женщина.

— Привыкла думать только о себе. Ей плохо — и уже конец света! — Лина сказала это зло.— Однако конец света еще не наступил, и мы обедаем. Ты чего хочешь?

— Я-то?..— Илья посмотрел на нее в упор. Снова запунцовев, она сказала:

— Суп будешь? Или сразу второе?

— Давай и того, и другого, но лучше по очереди,— улыбнулся Илья, не отрывая от нее глаз.— А конец света — не такая уж простая тема.

Лина поставила перед ним тарелку, полную супа. Налила немного в свою, села. Он съел несколько ложек и продолжал:

— Чего стоило хотя бы великое переселение народов! Дикари, варвары с Востока, словно выплеснувшиеся из неведомого котла, вдруг хлынули по всей Евразии, ну и цель была — богатый цивилизованный Рим и романизированные его окраины. А Рим, как и положено громадной империи, — во внутренних противоречиях, да еще усвоил в тот момент странную религию, придуманную маленьким народцем со склонностью к надличному Богу. И вот Рим варвары победили, а эта религия зато покорила их и за десяток столетий сумела покрыть тонкой пленкой гуманности разлившееся и разбушевавшее море варварства. Но не везде это удалось. Кое-где произошел откат к дохристианскому периоду. Наиболее явно в фашистской Германии и сталинской России. И хотя Роза Моисеевна и твердит о конце света, боится его, она и ее сподвижники по партии немало сил положили, чтоб эту пленку разодрать, во всяком случае, в России. Тем самым снова всех поставив перед концом света.

— Ты говори, говори, — перебила его Лина, — но ешь при этом.

Илья снова послушно проглотил несколько ложек супа.

— Но вот что интересно. — Он поднял вверх ложку. — Помнишь, Иван Карамазов говорил, что своим эвклидовым умом он не в состоянии понять неэвклидову логику и мудрость Священного писания?.. Эвклидова геометрия касается наших земных дел, так сказать, быта, неэвклидова — тянет в горние просторы, речь идет уже о высшем бытии.

— Ну и что? — пытаюсь понять, спросила Лина.

— Я имею в виду, что племя, придумавшее Священное писание, не знаю, избранное Богом или Дьяволом, работает на трансцендентальных идеях, тащит за собой человечество из мирного уюта полуживотной жизни, а то и прямо из людоедской, варварской — в разреженные выси духа, где человек становится человеком, свободным и самостоятельным. И они, представители этого племени, вовлекли, втянули все человечество в свои духовные распри. Никогда споры между кантианцами или гегельянцами не принимали такой остроты, как, скажем, между христианами или марксистами разных толков, партий и направленностей... Будто не об идеях спорили, а о самой сути жизни, да жизнью за эти идеи и платили. Назовите мне хоть одного кантианца, пожертвовавшего жизнью за свои убеждения!

Лицо Лины посветлело, она смотрела на Илью замороженными глазами, очень смешно и, как казалось Илье, трогательно поспешно кивая на каждую его фразу. Заметив, что он остановился, она улыбнулась и, потянувшись к нему всем телом, с тихой, тоскливой любовью посмотрела на него.

— Ты почему не ешь? А, уже все. Прости, я заслушалась.

Разлив чай, Лина села и ласково провела рукой по его волосам.

— Ты продолжай, говори.

Сердце Илья при этом, несмотря на вожделение, не покидавшее его, занеслось к горлу от удовольствия, что его так слушают. И он продолжил:

— В России была, строго говоря, одна революция — это реформы Александра Второго, который думал дать России свободы на европейский манер. А Октябрь — это контрреакция на эти реформы, по сути дела, контрреволюция, направленная против петровской идеи европеизации России-матушки. Хотя — и в этом-то и есть величайший исторический парадокс! — Ленин и другие соратники Розы Моисеевны были уверены, что благодаря их деяниям Россия обгонит Запад, станет Западом в большей степени, чем сам Запад. Однако, как писал Томас Манн, не европейски-прогрессистская идея уничтожила царя Николая. В нем был уничтожен Петр Великий, и его падение расчистило перед русским народом путь не на Запад, а возвратный путь в Азию, обозначив конец гуманистической эпохи во всем мире. Но если Манн прав, то мы и в самом деле живем в начале неизвестной эры, хотя и объявляем себя наследниками предыдущей, пользуемся вроде бы выработанными в прошлом столетии понятиями, но сами-то пытаемся вырваться из исторического процесса, убежать от него, противопоставить себя всему прошлому. — Илья разгорячился, помрачнел и вытер пот со лба.

— Не расстраивайся,— шепнула чуткая к его настроениям Лина. Потом, погрузнев неожиданно, спросила:

— Еще чаю?

Илья помотал головой.

— Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.— Она комически вздернула полоски черных бровей.— Но кто бы из женщин знал, как на самом деле все происходит! Где он, этот путь! — Она засмеялась низким, грудным смехом, даже с некоторым рокотанием и сказала, совершенно не стесняясь Пети: — Просто одним женщинам повезло, а другим нет. Одних и не любят, а с ними живут, а к любимым только иногда переспать заезжают...

Она подняла свои смуглые руки и прижала кончики пальцев к вискам. Илья увидел, что глаза ее блестят, хрящеватые ноздри раздуваются, но взгляд обращен не вовне, а словно бы внутрь. «Замучилась,— с испугом подумал Илья.— И все из-за меня. Так и свихнуться недолго».

Лина вдруг, помертвев лицом, поднялась, вышла из кухни, прошла в свою комнату и закрыла дверь. Илья вскочил и бросился следом.

Лина стояла лицом к окну, вздрагивала, будто плакала. Илья повернул ее к себе, но глаза были сухи.

— Ты что?

— Ничего. Извини. Ты зачем вышел? Я сейчас приду. Я почему? Просто ты меня совсем не любишь. Тебе интереснее о высоком рассуждать, чем слушать мои печали. Ты прав, милый. В самом деле, ты прав. Не обращай внимания. Это бабское. Это пройдет.

Илья прижал ее к себе, напрягся и потянул к дивану.

— Нет, милый, не надо. Петя на кухне. Дверь не заперта.

— Ну, Линочка, солнышко, радость моя...

— Нет, нет! Петя вечером куда-то уходит. Я забыла. Тогда... А пока иди назад. Ну чего ты будешь мучиться? Позвони, кстати, Кузьмину, посиди у него час. Пережди. Ну, иди.

Она развернула его лицом к двери.

— Иди. Я сейчас тоже выйду.

Петя продолжал сидеть за столом. Илья подошел к холодильнику, на котором стоял телефон, снял трубку, крутанул диск.

— Извини, Петя, мне только один звонок.

— Я к себе пойду,— подскочил Петя.

— Что ты! Сиди! Я быстро. Алло! Борис? Привет. Как ваши дела? Это Тимашев. Я тоже рад. Я тут неподалеку. Не возражаете, если я к вам загляну ненадолго? О'кей. Ну, минут через двадцать.

Глава VI

ВАРВАРСТВО И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

По возвращении домой, в родную страну, в Испанию,— если только о еврее вообще можно сказать, что у него есть родная страна,— я сел в это кресло, зажег эту лампу, при свете ее взял в руки перо, которым пишут писцы, и поклялся, что лампа эта не погаснет, кресло не опустеет и своды подземелья не останутся без жильца до тех пор, пока история моей жизни не будет записана в книгу.

Ч. Р. Метьюрин. Мельмот Скиталец.

Внук вышел, так хлопнув дверью, что отдалось в голове. Все, что надо было вспомнить, ее память от дверного стука тут же потеряла. Конечно, она очень

старая, все забывает. Это она знала. Она помнила, что родилась очень давно. Еще в тысяча восемьсот девяностом году. Страшно подумать, как давно. А в пятнадцать лет она вступила в партию. И вот уже живет девяносто три года. Иногда ей казалось, что меньше, что она моложе и снова с легкостью владеет своим телом, как двадцать лет назад. Но проклятая старость не дает забыть себя. Ей девяносто три, и она совсем беспомощна. Она прислушалась. Лина, которая, злясь, называет ее не бабушкой, а Розой Моисеевной — такая дура! — затихла где-то в недрах квартиры. Не то на кухне, не то в комнате, которую она, кажется, уже снова считала своей. Да так бы, наверно, оно и было, если б не Алевтина, ее мать, эта шлюха! Исаак от ее поведения чуть не сошел с ума, ведь она была вдовой его сына. И теперь в этой комнате жили Владлен со своей женой, по праву жили. А Лина не по праву. Нет, у нее есть дело; она за больной бабушкой ухаживает за кров и пищу. Да, за кров и пищу. Это долг перед внучкой Исаака. Обычно Лина шумная, а сейчас затаилась где-то. А она, хоть и старая, но потерпит, не будет ее звать. От тишины тоже болела голова, и было страшно, как в детстве, когда родители ушли к соседям прятать от погрома ее младших сестер и братьев, а ее оставили последить за вещами, обещая скоро вернуться. Они не хотели ее оставлять, она сама вызвалась, чувствуя себя старшей и опекающей даже родителей. Она всегда всех опекала. Она была сильной.

На столе лежала стопка бумаги, ручка, на первой, верхней странице ее рукой, нетвердым с некоторых пор почерком было что-то написано. Она попыталась прочитать, чтобы вспомнить, что она хотела писать дальше. Но написанные слова не помогали. Она прочла еще раз: *«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ. Многим друзьям просили написать мои воспоминания; они действительно небезынтересны»*. Ничего не приходило на ум, никаких важных слов. С авторучкой в правой руке, которую последнее время приходилось поддерживать левой, чтобы не тряслась, старуха склонилась над бумагой и подчеркнула заглавие. Задумалась.

В этот момент особенно сильно стало пучить живот — ее давно уже мучали газы. Она немного приподнялась со стула, раздался громкий звук, и наступило некоторое облегчение. Запаха она не чувствовала, но знала, что он есть. Поэтому раньше всегда держала открытой форточку. Но сейчас у нее не было сил влезать на стул. Можно было позвать Лину, эту дуру, эту несчастную бездельницу, которая не умеет бороться за жизнь, позвать, чтобы укутала ее пледом и открыла форточку. Но, вообразив ее недовольное лицо, она отказалась от этой мысли. К тому же чувство вины перед Линой, возникшее сегодня, не покидало ее. В чем-то тут была ее вина, трагическая вина, хотя она не понимала в чем. Как она одинока, даже кликнуть некого! Дочь в Аргентине, никак не может получить визу и приехать к своей больной матери. Эта шайка дураков из аргентинского ЦК до сих пор мстит ей за то, что она как информатор Коминтерна писала о них правду! Это Кобовилья мстит! Она освободила Кобовилью, а он ее предал. Освободила от темноты невежества, убедила порвать с мафией. А он, как разбойники, освобожденные Дон Кихотом, закидал ее камнями. Ее им свалить не удалось, и они отыгрываются на дочери, которая и без того больна, а они нашептали про нее что-то в советском посольстве, и теперь ей не дают визу. Не дают навестить больную мать! А ее дочь — аргентинская поэтесса, переводчица Маяковского, Симонова. Она заслужила. Да, Бетти Герилья — ее дочь.

Она встала и, шаркая тапками, подошла к платяному шкафу, открыла левую дверцу. Там, среди ее нижнего белья, стояли две банки крабов, две банки сайры, коробка шоколадных конфет и коробка сливочной помадки с цукатами. Выставить все это в общий шкаф на кухне она боялась, потому что все это могло быть уничтожено в течение вечера, и о ней никто не подумает, что она завтра может захотеть конфетку. Ей было не жалко, но у нее невольно выработались привычки запасливого степного зверька.

У нее першило в горле, что заставляло ее откашливаться и отхаркиваться, и мучали газы, больше ничего не болело, только неверность движений и голо-

вокружение, да еще она опять забыла; зачем встала и что собиралась делать. Она почувствовала, что халат ей неудобен в рукавах и теснит спину и грудь. Провела рукой по пуговицам и нащупала, что он неправильно застегнут, наискосок. «Лина наверняка видела, но ничего не сказала. Надоело ей со мной возиться». Она перестегнула, но стало еще хуже, еще неудобнее. Тогда сызнова расстегнула все пуговицы и почти не слушающимися пальцами аккуратно стала застегивать пуговицу за пуговицей, каждый раз проверяя последовательность и порядок. Стало удобно, и она вернулась за стол, так и не вспомнив, зачем подходила к шкафу. «И эти упорство и сила у меня от отца,» — подумала она. Отец был высокий, богатырского сложения, с широкой грудью, огромными руками — и очень свободолюбив. Он был как ветхозаветный Моисей, хотел увести семью из рабства, из рабства царизма. Аргентина казалась ему Землей Обетованной: «Там тоже орды варваров, но там нет антисемитизма. Там мы будем жить просто как люди». Да, ветхозаветный Моисей увел еврейский народ через пустыню из египетского плена, а ее отец свою семью из царской России. Так отразились в одном человеке вся история, вся тенденция и направленность еврейского племени. Не понимал он только, что лишь в борьбе за счастье всех трудящихся будет решен и еврейский вопрос. Она помнила, как отец ходил по маленькой комнате среди рухляди, упакованных ящиков, мешков и баулов и держал в одной руке самоучитель испанского языка, а в другой — первую книгу, которую он одолел по-испански и которая заменила ему Библию, книгу аргентинского президента Сармьенто: «Цивилизация и варварство. Жизнь Хуана Фаундо Кироги. А также физический облик, обычаи и нравы Аргентинской республики». Она хорошо помнила эту книгу, любимую книгу отца. Отец был малообразованный человек, и первая прочитанная на чужом языке, к тому же найденная и открытая им самим книга сопровождала отныне его повсюду, а цитаты из нее так и соскакивали с его языка.

Да-да, призналась она себе, отец-то и был настоящим Дон Кихотом. Начитался Сармьенто, как ламанчский идальго рыцарских романов, и решил все прочитанное осуществить на практике. Правда, он не знал — его беда! — законов исторического развития, как их знали большевики. Они тоже вычитали их в книжке, но подтверждение им увидели в жизни. А отец был фантаст, мечтатель. Цитируя Сармьенто, он вновь и вновь повторял, словно уговаривая себя, что пока, конечно, аргентинец — дикарь, но это пройдет, ведь иным он и не мог получиться, потому что он — порождение встречи пришельцев-испанцев, самого нецивилизованного по тем временам и варварского народа Европы (установившего злейшую инквизицию и выгнавшего евреев и мавров, при которых земля Испании плодоносила), с дикой природой и дикими обитателями аргентинской пампы. От столкновения двух миров — индейского и испанского — и родился аргентинец, метис, гаучо, который унаследовал все свойства своих предшественников и дикой природы. Но он способен к цивилизации, считает Сармьенто. Тут отец останавливался и, заложив пальцы своих больших рук в проймы шелковой жилетки, смотрел на детей, желая убедиться, что они поняли его. А что они могли понять! Ей, старшей, было шесть, сестренке — пять, а брату и всего три года. Но ему надо было с кем-нибудь поделиться, потому что мать, хоть и подчинялась ему во всем, никаких теорий слушать не хотела, она была полная красивая женщина, замечательная кулинарка, и хотела только спокойствия, и чтоб дети были живы и при ней, и чтобы кухня была больших размеров, а она на ней единственной хозяйкой, без своей тоже уже замужней сестры и властной матери. Они все жили в одном доме. Тем более не хотели слушать отца соседи по улице. Они считали, что Моисей Востриков немного свихнулся. Разве надо было читать какую-то аргентинскую книгу, чтобы бежать от погромов? Вот и приходилось ему разговаривать с детьми.

Отец говорил, что борьба варварства и цивилизации извечна и предначертана свыше (и так часто повторял это, что и в ней засело предубеждение к варварству, которое надо было не отрицать, а преодолевать, перевоспитывая людей, как учит марксизм-ленинизм). Отец как не очень образованный человек.

любил громкие и широкие обобщения. Но он был свободолоб, и это главное, о чем надо написать. От него и она получила свое свободолобие.

Но как это написать? Да и важно ли это? Она привыкла, что важно только общезначимое, а не ее личные дела. Хотя в личных делах у нее всегда была удача. Да, она всегда на своих ногах стояла. И теперь, в старости. Даже внука и внучку поддерживает. Лина тоже внучка. Дочь сына Исаака от первого брака. И такая же беспомощная, как Исаак. Или он не был беспомощным?

Она вспомнила. Исаак был тверд. Он ушел из дома и снял квартиру. Когда разлюбил свою первую жену и полюбил ее. Но как он метался! Он что-то такое говорил о мормонах и подумывал поступить к ним в секту. Он говорил, что так и должен жить ветхозаветный патриарх, как живут мормоны в североамериканском штате Юта, чтоб у мужа был свой дом, а у каждой из жен — свой, раз мужчина может содержать не одну семью. Часть времени он бы проводил с первой женой, часть — со второй, а большую часть времени был бы предоставлен сам себе, своим занятиям. Потом только она поняла, как это было наивно при его полной житейской неприспособленности, неумении даже обед себе сварить. А тогда она не возражала, понимая, что ему трудно рвать с прошлым, с женщиной, которую он когда-то любил, пусть тешит себя иллюзиями, а, впрочем, она так любила его — на все готова была согласиться. Она вернула ему молодость, и Исаак был неутомим как любовник. Она зажигала его. А его страсть распаляла и ее. Она понимала, к кому из жен, если все-таки уйдет в мормоны, он будет ходить чаще. Почему-то тогда ее не смущала такая перспектива, хотя она и была коммунисткой. А может потому, что коммунисты тоже были за свободу любви. Ее не смущало и слово любовница. Потому что оно происходило от слова «любовь». Как они с Исааком любили друг друга! Она до сих пор помнила часы, ночи и места, где переживала высший любовный экстаз. И как молодеело его лицо в моменты любви! Лицо серьезного профессора из Лаплатского университета, исследователя, ученого сразу становилось похожим на лицо счастливого мальчишки. Она ему это говорила, что он с ней молодеет, становится похож на мальчика, чико. Он верил и не верил ее словам, но все же больше верил. И он тогда рассуждал с ней доверительно, что Гете в «Фаусте» именно это имел в виду, что любовь к Гретхен омолодила старого Фауста, а Мефистофель не при чем или, если говорить точнее, сидит в каждом пожилom мужчине, который втайне мечтает о молодости, красоте и любви. А каким, если сейчас посмотреть, был он пожилым! Сорок четыре года! Смех да и только. И вправду мальчишка. Но метафизические тонкости ее не волновали. Ее волновали только две проблемы: партийные дела и его любовь. И если положить руку на сердце, она может себе признаться, что в какой-то момент любовь волновала сильнее.

В самом начале их отношений он рассчитывал на легкую интрижку, небольшой роман, потом надеялся, что она останется его тайной любовницей. Но она сразу почувствовала, что он истомился по женской ласке и нежности. Алена была, видимо, слишком сурова с ним. Он чего-то или кого-то, неосознанно для себя, но искал. И она стала его находкой. Она стала ему нужна, и не только в постели. В их случайных пристанищах и жилищах она умела создать уют, в котором он с возрастом стал нуждаться, несмотря на всю свою неприхотливость. В конце концов на пароме они поехали в Монтевидео, и в другой стране, уже в Уругвае, а не в Аргентине, зарегистрировали свои отношения. Теперь это стало необходимо, потому что она родила сына, Владлена. Если б она могла, она бы обошлась без этих записей, без этого дурацкого узаконения свободной любви, но жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Владлену она дала свою фамилию, чтоб не растревлять раны Исаака, который боялся, что жена узнает еще и о ребенке, но узаконить свое отцовство он считал своим долгом, а иного пути, чем брак, в этих ханжеских католических странах не было. Так на какое-то время Исаак стал двоеженцем. Но на мормонскую жизнь сил у него не хватило. Он развелся с Аленой, но не там, а уже здесь, в Союзе, чтобы суметь вывезти и ее, и детей туда, где он мог бы им помогать.

Она изо всех сил заботилась об Исааке, потому что с возрастом он становился все непригоднее к жизни. Она заботилась о Бетти и Владлене. Теперь она поддерживает Лину и Петю. Она может это делать, потому что она персональный пенсионер союзного значения. Конечно, она могла бы плюнуть на материальные выгоды этого звания. Так поступил бы Исаак, который никогда не воспользовался плодами своего профессорства. Но он всегда был беспомощный, как ребенок. Когда они ехали в эвакуацию в Ташкент, он сидел в вагоне, худой, сутулый, но не умел получить даже положенного ему пайка, только повторял иногда робко, как ребенок: «Роза, я хочу есть». И ей приходилось все доставать самой, пробивать бюрократизм и разгильдяйство. Ей вообще всегда приходилось о всех заботиться. Она была старшая в семье. И в гимназии сама себя содержала уроками.

Мысль снова ушла к тем дням, когда пароход вез их в первый раз через океан в неизвестность, в Аргентину. «Опять все начинать сначала! — причитала мать.— Где же наконец пристанище нашему племени, доколе эти вечные скитания и страдания?» А ей все было интересно, и она ходила среди страдавших от качки переселенцев, прижимавших к себе пожитки, держала брата и сестру за руки, чтобы не подбегали к борту, чувствуя себя старшей, покрикивала на них. А отец все учил испанский по самоучителю и книге Сармьенто. Она была способной к языкам и быстро стала понимать Сармьенто без перевода. Но насколько его идеи, как осознала она спустя время, беднее идей марксизма. Только Ленин выдвинул идею воинствующего гуманизма и позвал сражаться за счастье миллионов. Ведь, только сражаясь, можно победить зло, чего никак не хотел понять Исаак, оба Исаака: и их работник, и ее будущий муж. Она помнила, как рассерженный гаучо подъехал к их воротам и потребовал отца. Он полагал, что отец обсчитал его при покупке скота и хотел потребовать еще денег. Но отец был честный и никогда никого не обсчитывал. Гаучо, однако, этого не знал, он стоял, уперев руки в бока кожаной куртки, у левого бедра висел нож, кучижя, на правой руке через плечо — свернутое лассо, глаз из-под шляпы не было видно, только черные густые усы, и он грубо ругался. А когда работник Исаак (которого отец воспитывал почти как сына, он был прямо как член семьи и приехал с ними из Юзовки) вышел к воротам и сказал, что отца нет дома, что все расчеты произведены правильно, тогда гаучо еще больше рассердился, выхватил нож и зарезал работника, а потом вскочил на лошадь и ускакал. Она стояла у сарая и видела, как работник вскрикнул и упал, схватившись руками за грудь, как дернулись ноги. Еще секунду назад он двигался и что-то говорил, и вот его нет и уже никогда не будет. И на всю жизнь ее испугало спокойствие и отсутствие колебаний, с какими было совершено это убийство. И хотя отец ссылаясь на Сармьенто (что жизнь аргентинца в пампе полна опасностей, отсюда в его характере стоическое смирение перед насильственной смертью и то безразличие, с каким аргентинец убивает и сам встречает смерть), он был растерян, потрясен и испуган. Она помнила, что гаучо был высок, широкоплеч, в нарядном пончо — красивый мужчина, и вот он убил и ускакал, а работник лежал на траве мертвый. Гаучо ускакал, но он крикнул, что еще вернется поговорить с отцом. Они очень испугались и, когда отец возвратился из поездки по делам, все ему рассказали. Да, он тогда вспомнил Сармьенто, но тоже испугался и очень расстроился из-за работника, которого любил как сына. Тогда они его похоронили, продали ферму и переехали в Буэнос-Айрес. Ах, она навсегда запомнила этот город! Ночные цикады, пролетки, стучащие колесами, бой петухов, которым увлекся в Буэнос-Айресе отец, дневная сиеста, когда все спят, даже рабочие, прямо на плитах тротуара, внутренние дворики почти при каждом доме, широкие лоджии, красные ленточки федералистов, борьба федералистов и унитариев, городская жизнь, которая длилась до двух часов ночи, в том числе и для детей, импульсивные, темпераментные люди. Росас. Католическая церковь, которая была сильна, все чуть что крестились слева направо, целуя кончик ногтя на большом пальце правой руки. Кто мог знать, что возникает еще одна большая партия — большевиков, а она окажется одним из ее организато-

ров! Но это уже во второй приезд, когда она была молодой женщиной, носила пестрый веер, шляпку с мантилейей... А в тот раз, когда они бежали с фермы, у отца дела в Буэнос-Айресе пошли не важно. И он сказал ей: «Ты должна учиться, чтобы стать цивилизованной женщиной». И они вернулись в Россию, на родину.

А там были гимназия и первые революционные кружки. Она работала среди шахтеров, пивших и в будни, и особенно по праздникам, когда без поножовщины и пьяных убийств дело не обходилось, беспрестанно дравшихся друг с другом, бивших своих жен и детей. Раньше она боялась этой грубой жизни, потому что навсегда запомнила страшного гаучо, грубого варвара, но теперь, когда стала марксисткой и прочитала работу Энгельса «О положении рабочего класса в Англии», она поняла, что дело не в том, каков тот или иной рабочий, ибо в их недостатках виноват буржуазный строй, а в том, что за осознавшим свою миссию рабочим классом — будущее. И она смело ходила преподавать в рабочие кружки, где сознательные рабочие не позволяли пьяным хулиганам, забредавшим на занятия, обижать барышню и провожали ее вечерами до дома.

Да, именно в кружке она встретила своего первого мужа, отца Бетти. Ей было шестнадцать лет, а он был очень красив: высокий, широкоплечий, черноусый, немножко грубоват и резок, неотесан, но таким и должен быть настоящий пролетарий. К тому же он чем-то напоминал того гаучо-убийцу, чей облик отпечатался в ее памяти и часто вспоминался со странным чувством магнетизма. Но о первом муже вспоминать не хотелось, он был хамоват по натуре и по воспитанию, груб и тороплив в постели, думая, что если он свое получил, то и ей хорошо, не умел приласкать женщину, чавкал, отрыгивал за столом, терзался из-за этого, но не мог себя переделать и ужасно боялся ее. Он был ниже ее по своему развитию. И им пришлось расстаться. Он из Аргентины уехал назад в Россию еще задолго до революции, вернулся в свою Сибирь, в свой Иркутск. Потом у нее из Иркутска был ученик...

Она вернулась к столу, села и взяла в руки письмо, уже два дня лежавшее нераспечатанным. Она не помнила, что помешало ей распечатать письмо, хотя по обратному адресу сразу поняла, кто ей пишет. Давно он не писал, лет десять. Она надорвала конверт и вытащила листки бумаги, текст был напечатан на машинке.

«Здравствуйте, Роза Моисеевна! Воистину здравствуйте, будьте бодры, как всегда были, и здоровы. Думаю, что у Вас по-прежнему настоящая сибирская сила и здоровье. Помните ли Вы еще Вашего ученика, неугомонного сибиряка, который все время приставал к Вам с вопросами и хотел вместе с Вами, плечом к плечу, бороться за идеалы марксизма? Ведь Вы моя крестная в марксизме, я был стихийным марксистом, Вы сделали меня сознательным. Я приехал в Москву учиться биологии, а благодаря Вам стал философом. Я боролся за марксизм на фронте с фашизмом, а Вы объяснили мне, что и в мирное время марксизм нуждается в отстаивании. Я заваливал Вас вопросами, а Вы мне отвечали. Нас, сибиряков, не зря «чевошниками» называют. Я ведь всегда до самой сути жизни хотел докопаться. И помогли мне в этом Вы, за что Вам вечная благодарность. Вспомнили?»

Дальше лишь глаза ее следили за строчками, но мозг их не фиксировал. И только последние слова письма дошли до нее.

«Желаю здоровья и долгих лет жизни. Кстати: возможно, в ближайшие недели окажусь в Москве — высокое начальство зачем-то требует. Тогда зайду самолично. Жму руку.

Ваш Николай Каюрский».

Она засунула листки назад в конверт, тщетно пытаясь вспомнить этого Каюрского, как он выглядел. В памяти было что-то гороподобное и громогласное, жестикулирующее и неутомимое в спорах. Лица его вспомнить она не мог-

ла. Но ясно, что он настоящий коммунист. Он помнит ее. Она заслужила, чтобы о ней помнили. Вдруг она придвинула листок с первыми строчками воспоминаний, подложила под него еще с десяток и, почти не останавливаясь, начала писать:

«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Многие друзья просили написать мои воспоминания; они действительно небезынтересны. Тем более, как мне напомнили, в этом году отмечается 80-летие создания партии, 2 съезда РСДРП. Вот я и решила написать. Может, действительно будет полезно для молодежи...»

Она сидела, с удивлением глядя на полтора десятка исписанных ею листов. Все же она смогла! Она все может преодолеть, когда это нужно! Но все ли она написала, что хотела?

Она задумалась, пригорюнившись, и прошептала: «Принесите мне жертву! Я прошу так немного». Да, она думала о жертве, но не знала, кому. Какому-нибудь неведомому Богу, чтоб умиловился, дал ей наконец спокойно умереть. Ведь ни туда, ни сюда. Ведь не себе она просит жертвы, а та дура Лина думает, что себе. Лично ей ничего не нужно. А Лине надо идти замуж за Илью. Только она дура и не понимает, что должна стать нужной мужчине, тогда ничто его не остановит, даже семья. А она, глупая, скандалит. Надо с ней поговорить и научить, что жить для пользы дела — это значит добиться и личного счастья. Если, кроме себя, она Илье откроет цель в жизни, она выиграет. Строительство своего счастья будет частью дела по строительству будущего счастливого общества. Общества цивилизованных людей.

Глава VII

УМСТВОВАНИЯ

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло...

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

Он вышел из подъезда. Весь август и сентябрь лили нескончаемые дожди, на улице было сыро, промозгло, а теперь вот октябрь словно отдавал недоданные в прошлые месяцы сухие дни. Если бы не ветер... Илья подумал, что в дождливые дни, идя к Лине, он старух не видел, а теперь они, словно стайка осенних мух, сидели на самом прогретом осенним солнцем месте — у стены между двумя подъездами, под длинным балконом. Ветер им здесь не досаждал. Илья не любил и боялся подозрительных взглядов этих старых гарпий. Ему казалось, что им все известно о его отношениях с Линой и что они уже давно треплют ее имя в своих бесконечных пересудах. Как мухи переносят инфекцию и пачкают все своими лапками, так и эти плакальщицы, этот античный хор, а скорее ведьмин хоровод, подхватывали носившееся в воздухе — невестественное и несущественное — и превращали в осязаемую реальность.

«Почему,— думал Илья,— во всей нашей литературе никому из писателей не пришло ни разу в ум изобразить их не только как сплетниц, отравляющих молодежи жизнь, а как Мойр, древнегреческих богинь судьбы, у которых в руках не пряжа, а нити человеческих жизней?»

Дверь открыл Борис, одетый по-домашнему: залатанные джинсы и матроский фланелевый бушлат, купленный, как он сам объяснял, по случаю в Военторге. Одежда удобная и теплая. Да и шкиперская борода к этому костюму подходила.

— Заходите, Илья. Рад вас видеть. А вы сегодня будто не в духе... Неприятности?..

Вместо ответа Илья почти буркнул:

— Позвольте, я от вас позвоню?

— Пожалуйста, — кивнул тот, не удивляясь. — Телефон в моей комнате.

Звонить надо было Гомогрею — больше некому. Любой из известных Элке редакционных приятелей хоть раз да покидал стезю нравственности. Никому из них Элка бы не поверила. Гомогрей же был семьянин. Последнюю бутылку портвейна норвил увезти домой, а не допить с друзьями. Мужик домовитый и хозяйственный. Знал, где купить продукты и как из чего-то немислимого, порой мелькавшего на полках магазинов, приготовить сносную жратву. Пузатый, невысокий, любящий пожрать, он даже из вымени — последнего, что еще тогда оставалось в продаже, — умудрялся делать что-то аппетитное, научив этому своих друзей. Был он похож на добродушного гнома из немецких сказок, хотя и чистый хохол. Приятели расшифровывали его фамилию как «человек (хомо), согревающий друзей (грей)». К нему в общем-то все хорошо относились, Элка тоже.

Он набрал номер Гомогрея.

— А, Тимашов — так Гомогрей его звал спьяну, — привет! Ух, мы и набрались сегодня! А ты куда пропал? Все по кискам бегаешь, засранец! Тебя Элка как-нибудь убьет! Мне тебя, Тимашов, жалко. — Послышались всхлипывания. — Илья, ты слышишь? Ваня Гомогрей плачет!

— Вот балбес! — рассмеялся Тимашев. — Где ты так нажрался? Тебя же вроде не было с нами в стекляшке...

— Где надо! Гомогрею поднесли, его не забыли.

— И ты уже дома? Тогда ты должен трезвым быть!

— Конечно, трезвым, — подхватил Гомогрей. — Я и есть трезвый. А ты чего звонишь?

— Хотел попросить тебя об одолжении. Но теперь не знаю...

— Проси. Гомогрей все сделает.

— Моя просьба проста. Только не напутай. Хочу сказать Элке, что был у тебя. Она вряд ли тебе будет звонить, но, если позвонит, скажи, что я только что ушел. И на будущее та же версия, что я этот вечер провел у тебя. Понял?

— Сукин ты сын, Тимашов! Ладно, скажу. Гомогрей не подведет. А жена у тебя хорошая. Ее все любят. И Гомогрей любит. Но ты должен за ней строже следить! Понял? Что это у нее за амуры с Паладиным?

— Какие амуры? — холодея, спросил Илья.

— Ну, соблазнил ее Паладин или нет... Мы все там Элкой восхищались, а тебя, ты уж прости, бранили, говорили, что ты такой бабы не заслуживаешь.

Тимашев молчал, не в силах говорить.

— Чего сопишь? — выкрикнул Гомогрей. — Ты это брось, Илья, сопеть! Терпеть должен. Ты от Элки гуляешь, вот и терпи! Я вот Паладину уже звонил. Он раньше меня уехал. Но дома нет, я с Манечкой его говорил. Понял? Нет, ты понял? Гомогрей тебе друг. Он желает, чтоб у тебя была крепкая советская семья.

— Спасибо тебе, Ваня.

— То-то!

— Давай о чем-нибудь другом напоследок поговорим!

— Ладно, не переживай! У других и хуже бывает! Вон Женька из партбюро рассказал... Да, кстати... Это же про твоего кореша! Ты слышал, что на Владлена Вострикова телега пришла? Просрался твой Владлен! Аморалку ему шьют!

— Как?

— Через пятак. Вот как! Американку себе в Праге завел, аргентинку какую-то. Ладно, все. Гомогрей умолкает. Я тебя предупредил. Все! Пока. Гомогрей спать хочет.

Он бросил трубку, а Илья еще с минуту слушал далекое пиканье. Потом нажал на рычаг и набрал свой номер. Длинные гудки, никто не отвечает. Подождав, Илья опустил трубку на рычаг. Ладно, сын наверняка у приятелей, но Элка?.. Где Элка?.. Настроение стало пасмурным, но дольше оставаться одному было неприлично. К Лине возвращаться не хотелось, лучше уж посидеть подольше с Борисом.

Тот терпеливо ждал его на кухне, но вопрос повторил:

— Вы что такой мрачный, Илья? Что-нибудь случилось? Давайте выпьем.— Борис разлил по рюмкам водку.

Они выпили. Илья сидел, тускло глядя в рюмку. Рассказывать о своих дознаниях, о пошедшей гулять сплетне (или еще не пошедшей? Может, он преувеличивает?) не было сил. Но представление о том, как должно вести себя в гостях, в которые сам притом навязался, вынуждало говорить, объяснять свою мрачность.

— Устал от такой своей жизни, от ее раздрызга и нелепицы,— сказал он, вертя в пальцах рюмку.— Вы знаете, как я определил бы русскую жизнь, ее доминанту? Неопрятность. В личной жизни, в быту, в сексуальных отношениях. Эти бесконечные ссоры, крики, драки, поножовщина по пьяному делу, причем между близкими родственниками,— все это ужасно, но это результат общей неопрятности, расхристанности, разгильдяйства. Сравните наши дороги и наши дома с дорогами и домами в той же Прибалтике. И границы никакой нет, условная, а переехал некую черту, и уже все другое: ухоженное, чистое, заасфальтированное. А грязь наших домов, начиная от улицы перед домом и подъезда и кончая грязью в квартире. Ваш дом еще из последних, что поддерживает чистоту, остатки профессорской культуры. Если не считать, конечно, домов партаппарата. Но там небось спецслужбы убирают.

— А у вас много грязнее, чем у нас? Я ведь у вас так и не был.

— И хорошо, что не были. У нас обычный дом, жэковский. Представьте себе улицу перед домом: грязь, мусор, на огромный восьмиэтажный дом только два мусорных бака, вечно переполненных, которые к тому же редко вывозятся, кучи мусора вырастают рядом с баками в их вышину, и потому во дворе вечный сладковатый запах помойки, запах чего-то тошнотворно гниющего. Иногда мальчишки поджигают мусор в баках, тогда примешивается еще запах дыма и гари. А подъезд!.. Про него и рассказывать неохота. Бумаги, окурки, скомканные сигаретные пачки, на пол и плюют, и сморкаются, а то и попросту мочатся. Мы пытались с этим бороться, но не очень-то успешно. Лифт столь же заплеван. Уборщицы нет. Вернее, периодически возникает, но через месяц-два уходит. Последние два года техник-смотритель получает и зарплату уборщицы по совместительству, разумеется, ничего не делает. Писали жильцы жалобы, а ей хоть бы хны. Тронуть ее боятся. Другого техника-смотрителя не найти. Так и живем в помойке. Одно время Элка пыталась сама убирать, потом засосала богема: гости, песни, пьянки, за собственной квартирой, из которой она поначалу хотела сделать «профессорский уголок», а я упрекал ее за мещанство, теперь она почти не смотрит. Пыль клубами по полу катается. А с тех пор, как сын в хиппиизм ударился, бедлам такой, что страшно. Неубранные постели с утра до вечера, горы грязного белья, грязные тарелки на кухне. Я просто озверел.

— Зря вы раздражаетесь,— сказал Борис.— Вы ведь отдаете себе отчет, что сами далеко не святой.

— Не святой... Да уж, не то слово...

Илья замолчал.

— Эй, Илья! Очнитесь. Вам чаю или еще водки?

— Чаю.

— Давайте сменим тему. А то вы совсем в мрак погрузились. Я буду чай наливать, а вы расскажете мне, что вы сейчас пишете...

Илья поднял глаза на собеседника, тот был серьезен и преисполнен сочувствия. Не оставалось ничего другого, как принять это доброжелательство и душевную помощь. Да так и легче сразу стало: Илья задумался на мгновение, потом рассмеялся.

— Ах, Борис, вы, конечно же, типичный представитель коренной российской профессорской культуры. Таких мало осталось. Меня профессорство деда задело рикошетом, но все же задело, потому я и вас, и семейство Востриковых понимаю и люблю. Но я-то разночинец. Поэтому и возвращаюсь к своей разночинской проблематике. Свой своего всегда взыщет, вот и я обратился теперь к Чернышевскому, которого, впрочем, всегда любил. Очень непопулярное нынче имя. Но, на мой взгляд, самая трагическая фигура русской культуры, оболганная и врагами, и последователями. Россия чуть было не родила своего русского Христа. Но учение его было не понято, а он, как и Христос, объявил высшей ценностью не гибель, не смерть во имя государства, как у нас было принято и как было принято в языческом Риме, а жизнь. Даже Василий Розанов, уж на что был противником всех демократов, а назвал Чернышевского воплощением Древа Жизни... Но и это не услышали. А мне близка его жажда цивилизации да и его интерес к Риму тоже близок. Самая оригинальная историософская концепция, какая только у нас была: по его мнению, Рим доработался до основ цивилизации, к каким пришла Западная Европа только в XVII веке, но был разрушен, как потопом, нашествием варваров, что отбросило развитие человечества по крайней мере на десять столетий назад. Я, правда, думаю, что и внутренний распад свою роль сыграл, но причина гибели названа точно — удар стихии. А Россия, если согласиться с ее самоназванием как Третьего Рима, уж точно погибла от внутренних варваров.

— Бросьте, Илья! Россия совсем даже не погибла. Просто кончился один из этапов, наступил другой, но и он подходит, на мой взгляд, к концу.

— Что называть гибелью! Вы ведь не будете отрицать, что страна варваризована.— Илья пил крепкий сладкий чай, который, как ему казалось, заглушает алкоголь, трезвит. Разговор пошел серьезный, и говорить надо было как можно точнее.— Да к тому же что значит — русский? Имя прилагательное, как писал Владимир Соловьев. Так что возможен русский азиат, русский европеец, русский дикарь, русский святой... А в литературе — русский Жорж Санд, русский Диккенс, русский Гофман...

— Ну, положим, теперь сравнивают с русскими писателями. Мне даже неловко об этом напоминать. Я остаюсь при своем: сила России в Слове. Неопределенность ее культуры, как вы говорите, создала многозначность ее Слова. А многозначность и есть сила, вы ж культуролог и должны это чувствовать.

— Ладно, спорить не буду, да и глупо, потому что литературу нашу классическую и сам люблю, и считаю ее, быть может, единственной надеждой России. Но чтобы она подействовала на народный менталитет, нужны века. Литература в России как пятая колонна, как евреи в римской империи, основавшие новую религию и перевернувшие Рим.

— Смело. Я думаю, ревнители православной чистоты русской классики много бы дали, чтоб начистить вам физиономию. Если б узнали, конечно. Так что замечайте, кому рассказываете свои идеи.

— Стараюсь замечать. А вы что скажете? Как-никак писатель!

— Мне-то интересно. Но ведь я писатель непечатающийся. А потому и без амбиций.

— Слушайте-ка, Борис! Не могу обещать, но надо попробовать. У меня появилось знакомство с одним малым из славного такого журнальчика «Химия и жизнь». Журнальчик вполне пиратский. Если бы у вас было хоть что-нибудь страничек на десять—двенадцать, напоминающее фантастику, я бы попробовал.

Кузьмин немного встрепенулся, помотал головой, как человек, который знает, о чем идет речь, и относится к этому недоверчиво, но вместе с тем и с надеждой.

— Смешно, — сказал он. — Есть у меня нечто, но это и в самом деле не фантастика, скорее фантазмагория. Конечно, при желании за фантастику выдать можно. Только давно написано.

Тимашев вдруг заметил, что его собеседник внутренне засуетился, хотя всячески старался скрыть это.

— Да это не важно, когда написано, — сказал Илья, чувствуя почти стыд от роли невольного благодетеля.

— Наверно, наверно, — ответил Борис, изо всех сил стараясь не потерять лица. — Надо только найти эту мою фантазмагорию. Может, пройдем ко мне в комнату?.. Да вы чай с собой берите, там и потрепемся, пока я искать буду.

За окнами уже темнело, и, войдя первым в комнату, Борис зажег верхний свет, усадил Илью на диван перед журнальным столиком, а сам подошел к открытым полкам у стола, достал папки с тесемками, выложил на стол и принялся, развязывая и доставая сколотые скрепками листочки, быстро просматривать их. Илья прихлебывал чай молча, чтобы не мешать. Заговорил Борис, занимая гостя:

— И все же сегодня, Илья, ситуация другая. Литература уже не может надеяться воспитать.

— Нет! — прервал его Тимашев. — Не так. Я вам никогда не излагал свою концепцию Русской Библии, Русского Ветхого Завета?

— Нет, никогда. О! Погодите! Кажется, нашел... Точно. Оно!

Он взял несколько сколотых скрепкой листочков, отложил их в сторону, достал с полок длинный конверт, засунул в него отобранные листочки, подошел и бросил конверт на журнальный столик.

— Это вам с собой! Здесь не надо смотреть. Лучше я вас послушаю. Верхний свет только выключу. Так будет уютнее беседовать.

Он зажег бра над журнальным столиком, затем подошел к стене и повернул выключатель: верхний свет погас. В комнате установился светлый полумрак. Борис вернулся и сел в кресло.

— Я весь внимание.

— После такой подготовки страшно начинать, потому что кажется, что от тебя ждут особо умной речи.

— Простите, Илья. Не обращайте внимания, никакой подготовки не было, просто так удобнее. Хотите, можем на кухню вернуться?.. Я еще чаю поставлю.

— Да уж давайте сидеть, как сидим. Я попробую сформулировать, что хотел, задав для начала риторический вопрос. Что из прошлого века мы принимаем сегодня как наше неотъемлемое наследство, как нашу славу и гордость? Конечно, великую нашу словесность!.. Что за литература была в прошлом веке? К чему она звала? Видя грехи и неурядица родной земли, она призывала по-новому почувствовать мир, не по-животному, а по-человечески. Это была отнюдь не эстетическая, а пророческая литература. Но что есть пророк не в банальном смысле предсказателя завтрашнего дня, а в сущностном, ветхозаветном? Это одержимый божественной энергией человек, обличающий и клеймящий пороки своего народа, пытающийся и вправду поднять его до уровня народа богоизбранного. Вспомните первое письмо Чаадаева, которое до сих пор пугает всех... Чем это не проклятия и угрозы древнееврейских пророков, посылаемые своему народу?!

Он вытащил пачку сигарет, закурил, не спрашивая разрешения. Борис сидел бледный, даже при боковом свете бра это было заметно. Илья продолжал:

— А «Путешествие из Петербурга в Москву», за которое Радищев чуть было на плаху не попал! Была эта книга революционной? Думаю, что нет. Она была пророческой — в том смысле, о котором я говорил. И Чаадаев, и Радищев, обличая свой народ, любили его, заставляли его думать о себе, о своей судьбе, приобрести самосознание. Этот пророческий дар, требующий уплаты за свое пребывание в человеке (а плата эта — жизнь, судьба), получили и Го-

голь, и Достоевский, и Чернышевский, и Лев Толстой, и даже тихий Чехов, я уж не говорю про Лермонтова и Маяковского. Однако древние евреи из проклятий и обличений своих пророков составили Завет, по которому воспитывали свой народ. И то, что многие наши философы и художники после революции оказались за рубежом,— это и плохо, просто ужасно, но это и начало некоего процесса; впервые в русской истории родилась русская диаспора, в которой число интеллектуалов в процентном отношении к общей массе было невероятно велико. Это не эмиграция, как в прошлом веке, это диаспора — разница принципиальная. У евреев Завет тоже стал составляться в диаспоре, когда народ был рассеян, разметен. Но о близости еврейской судьбы и русской писал еще Владимир Соловьев. Близости — несмотря на весь свойственный темным душам в России антисемитизм. Близости — в любви к литературе и в грядущей судьбе — судьбе рассеяния, диаспоры. Сколько русских живет по разным республикам! Процентом тридцать или сорок! Такого при царизме не было. А это не рассеяние ли? Достаточно вообразить, что республики из колоний становятся независимыми государствами. Вот вам новая колоссальная диаспора.

Илья перевел дух и продолжал, стараясь не впасть в ложный пафос:

— А русская литература, как вы сами знаете, вполне выразила данную ей кем-то весть о судьбе своего народа. Поэтому она и достойна составить из себя новый Ветхий Завет, с его профетизмом, национализмом, чувством избранности, самообвинениями и проклятиями самим себе.

— Так вы считаете, что будет еще одна катастрофа? — привстал с кресла Борис.

— Это же последняя в мире империя, и она логикой исторического развития должна распасться. Как — не знаю. Возникнет грандиозная диаспора русских людей, и утвердится в мире новая Библия, которая на новом витке истории, после разрушения у нас даже зачатков цивилизации, окажется хранительницей преданий, традиций, духа, сохранит высшие достижения русской культуры. Поэтому я и говорю, что в нашей классической литературе наша единственная надежда, что мы не озвереем окончательно. Будет большой канон и малый канон — разных объемов, но составлять и комментировать надо уже сейчас. Скажем, в малый канон можно включить первое письмо Чаадаева, а в большой — все «Философические письма». В малый — авторскую исповедь Гоголя и «Мертвые души», а в большой — целиком «Выбранные места из переписки с друзьями», и еще «Ревизор», и «Петербургские повести». Малый канон — это и «Медный всадник» Пушкина, «С того берега» Герцена, «Исповедь» Льва Толстого, «Поэма о Великом Инквизиторе» Достоевского, «Палата номер шесть» Чехова, «Человек» Маяковского, «Котлован» Платонова. И так далее, это нужно разрабатывать. С большим каноном сложнее — это, по сути дела, все основные произведения русской классики. Да, строго говоря, эта работа ведется неосознанно для самих делателей, всевозможными, простите, Борис, филологами и литературоведами, готовящими собрания сочинений русской классики, но я-то провозглашаю осознанный подход к русской литературе как новой Библии.

— Странно,— сказал тихо Борис,— мы сидим в тепле и уюте, а при этом обсуждаем проблемы грядущей катакомбной культуры. Но вот мы и сошлись во взглядах. Ведь и я говорил, что сила России в Слове.

Он встал, подошел к окну, задернул шторы. Исчезли огоньки дома напротив, в комнате стало еще уютнее. И весь их разговор и вправду приобрел какой-то таинственный, почти пещерный, нарочито скрытый и уединенный вид и смысл.

— Но разница между нами есть, конечно,— продолжил он.— И немалая. Для вас литература — прошлое, она была. Сегодня ее нет и не может быть, потому что у нас здесь мертвое пространство, выжженная земля. И только со временем, когда плуг истории перепахает это проклятое место, если не сломается, конечно, когда в эту пашню падут семена великой русской литературы прошлого века, только тогда возможны всходы. Но жизнь-то и сейчас продолжается, люди любят, ревнуют, ненавидят, умирают, болеют, страдают. И мне се-

годняшние их судьбы кажутся не менее достойными шекспировского пера, чем судьбы времен переломных. Взять, к примеру, наш двор, мой обычный двор. Думаете, здесь нет трагедий? Нет материала для дантовских страстей? Для бальзаковских судеб? Да если прикинуть, что в наших двух домах по тридцать квартир в каждом, в каждой квартире по семье, в каждой семье по несколько человек,— вот вам уже по крайней мере двести или триста характеров, историй, а может, и судеб. А ведь наш дом довоенной постройки, сорокапятилетней давности — значит, у него есть своя история. И каждая судьба может смотреться еще и в историческом ракурсе... Я вам о многих могу рассказать из нашего двора... И почти у каждого — судьба. Во всяком случае, история, в которой чувствуется дыхание судьбы.

При слове «судьба» Илья вдруг почему-то вспомнил о Лине и непроизвольно глянул на часы.

— Что? Пора уже? — виновато спохватился Борис. — Убегаете? Еще чаю не хотите?

— Пойду, пожалуй. Вы, Борис, извините.

— Да ну, о чем вы! Идите, конечно. Зов женщины слышнее и сильнее всего на свете.

Илья пожал плечами и шагнул было прочь от дивана, но, ухватив ожидательный и растерянный взгляд Бориса, вспомнил, вернулся к столику и взял конверт с рассказом, подумав, что это кстати, что им он оправдывается перед Линой за опоздание. Борису же сказал:

— Прочту и непременно в журнал передам.

Он вышел в изрядно потемневший и почти безлюдный двор. Не галдели в песочнице дети, не гуляли по аллейке, соединяющей два дома, беседующие меж собой ученые мужи, не болтали старухи. Вместо них на лавочке мостились пришлые подростки и девицы. Они курили сигареты и лузгали семечки, изредка сплевывая на асфальт. Это были не профессорские дети и внуки. Но и они не шумели, сосредоточенные на куреве и семечках.

Глава VIII

НЕ ДАМ!

Вы должны,

Я вас прошу меня оставить...

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

— Я думала, что ты там останешься,— сказала Лина. — Уж и не знала, что с сумкой твоей делать! Думала отнести туда и оставить у двери!

Она злилась, как злится женщина, которая знает себе цену, но которой — уже не первый раз — пренебрегает ее избранник.

— Ну что ты вскидываешься? Зачем это? — Илья отвел глаза. — Мы сидели, беседовали...

— Вот и оставался бы там беседовать дальше... Хоть всю ночь!

— Ну, Линочка,— пробормотал Илья, успокаиваясь, что она все же не гонит его. — Мне Борис рассказ свой дал почитать. Хочешь, вместе почитаем? — Теперь он смотрел на нее, охватывая вождедеющими глазами всю ее стройную фигуру в полосатой юбке и вечерней белой блузке, с голыми руками. Все недавние возвышенные разговоры не то чтобы выветрились, но отступили куда-то далеко. — Петя уже ушел?

— Давно,— ответила она, почти не разжимая губ, не глядя на него, но выключая свет в коридоре.

И он уже вел ее, обняв за талию, мимо комнаты Розы Моисеевны, и они уже почти миновали коридор, когда до них донесся крик:

— Лина! Кто это пришел?

Не обращая внимания на этот дежурный вопль-вопрос, они очутились в комнате, закрыли за собой дверь, и сразу же Илья потянулся к Лине, обнял ее и принялся целовать и тискать, подталкивая потихоньку к тахте. Она, распаленная, забывшая свою досаду, отвечала на поцелуи, клонясь под его напором, на все готовая, лишь бы удержать, не отпустить его хотя бы час, а там и больше, и всю ночь, а может, и всю жизнь. Но тут дверь распахнулась, и на пороге, озираясь безумно, в ночной белой рубашке до пят встала Роза Моисеевна. Ее короткие седые волосы были взлохмачены.

— Лина! Что случилось? — спросила она, уставившись в пространство и словно не замечая их, давая Илье и Лине возможность разлепиться и разлететься в разные стороны. Тимашев остался сидеть на тахте, подняться он не мог, неприлично было бы, а Лина отошла к окну, будто собиралась там что-то показать своему собеседнику. — Мне показалось, что кто-то вошел. А потом вдруг тишина, — продолжала старуха. — В коридоре кто-то свет выключил. И здесь темно. Я за тебя испугалась, Линочка, — хитро добавила она. — Вдруг кто тебя обидел? А это Илья. Он умный, он не обидит женщину, которая к нему привязана. Знаете, вы друг другу подходите, — торопилась она исполнить свой недавний план соединения Лины с Тимашевым.

— Мы сами разберемся в своих отношениях! — вдруг отрезала Лина. — Без непрошеного вмешательства.

Говоря это, она покраснела, исподлобья глянув на Илью и опасаясь, что после слов старухи он сорвется с места и уйдет. Но взяла себя в руки и с подчеркнутым спокойствием, которое является признаком внутренней грозы и властно действует на окружающих, подошла к старухе и взяла ее под локоть.

— Пойдемте, Роза Моисеевна, пойдемте! Вы уже пили чай?

— Пила, — послушно ответила та.

— Значит, пора спать.

— Но я еще не сделала мой вечерний туалет, — слабо защищалась больная. — Я не ходила пи-пи.

— Ничего, сейчас сходите в туалет, — звучал уже с кухни голос Лины, — а я пока приготовлю вам валиум и феназепам, по две таблетки.

— Это много. Разве доктор велел давать именно столько таблеток? Ты хочешь, чтоб я не проснулась. Я тоже этого хочу. Уснуть и умереть. Безо всяких сновидений. А то я ни туда, ни сюда...

— Я даю вам ровно столько таблеток, сколько велел врач. — Лина говорила решительно и спокойно, хотя раздражение чувствовалось.

— Ну, я не знаю...

— Зато я знаю!

Наступила пауза. Затем из туалета послышалось кряхтенье, шуршание и звук спускаемой воды.

В комнату заглянула Лина. Илья потянулся было к ней с тахты.

— Сиди! — остановила она его. — Сейчас я ее лекарствами напою и тогда приду.

Когда Лина наконец вернулась, он, поднявшись с тахты, с которой до той поры даже не привстал, подошел к ней, потянул к себе, зарываясь лицом ей в плечо, в волосы, как заждавшийся и изжаждавшийся. А она откидывалась всем корпусом, ускользая от него, от его губ, запрокидывая назад голову, молча избегая поцелуев, глядя на него из-под полуопущенных век странно и нерешительно.

Но интонация голоса было однозначно непреклонной.

— Я тебе хочу сказать, — страдальчески шептала она, — пожалуйста, больше не надо. Ни приходить, ни звонить, ни всего остального...

— Но я не могу...

— Можешь. Можешь. Я так тоже больше не хочу и не могу. У тебя семья. И у нас все равно ничего не получится! Мы никогда не будем вместе!

— Подожди, потерпи. Что-нибудь я придумаю. Все образуется, все получится, — клекотал он, дуряя от страсти и прижимая ее к себе.

— Нет! — высвобождалась она и вместе с тем подставляла под его поцелуи лицо, шею, глаза.— Нет, я права, ты сам знаешь, что я права. Ведь так? Ты же понимаешь, что я имею в виду.

— Ну и понимаю, ну и что? — не отпускал он ее и продолжал целовать, бормоча: — Ах, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движенье глаз ловить влюбленными глазами...

— Тебе этого мало. Ты еще и другого хочешь, сам знаешь, чего,— сопротивлялась она, раздувая ноздри и белея лицом, а порой и прижимаясь в борьбе к нему всем телом.— Мне тоже хочется, но этого больше не будет.

— Но почему? Вот и хорошо, что хочется. Это же естественно!

— А все равно не будет. У тебя жена, сын уже взрослый. Я так не могу. Не могу быть сбоку. Ты богатый, а я нищая. Но чужого мне не надо.

— Почему же это чужого? — криво усмехнулся Илья.

Он крепче прижал ее к себе, оторвал ноги от пола и повалился вместе с ней на тахту, обнимая распаленно, тиская ее грудь сквозь блузку, расстегивая пуговицы, целуя стиснутые губы, разжимал их поцелуями. Вырываясь, она села, но в этот момент ему удалось стянуть с ее плеч и рук блузку и достать из бюстгалтера грудь, к которой он тут же припал губами. Она задрожала, задыхаясь.

— Нет, Илья, не надо! Я тебя прошу. Нет! Я так не могу. Когда не хочу, то не могу.

— Но ты же хочешь!

— Нет. Не упрашивай меня. Не проси. Пожалуйста, не надо. Я тебя прошу.

— Лина, я ведь тоже не могу. Не могу сдерживаться... Просто не могу... Ты такая красивая, такая желанная... Я тебя тоже прошу! Ну что же это за мучение! Что же получается за ерунда...

Она не убирала его рук, гладивших и мявших ее грудь, но, как только он пытался спуститься ниже, отрицательно качала головой, отводила его руки и закидывала нога на ногу.

— Что? Мне пожалеть тебя? Но мы все эгоисты, каждый по-своему. Не могу я тебя пожалеть. Не умею. Ну, не хочу. Мучаешься? Беденький! Но все равно ничего не будет. Ты же знаешь, раз я сказала, я не отступлюсь от своих слов. Ну не смотри на меня так! Тебе лучше, легче, чем мне, у тебя жена, сын. Ты скажи лучше, как у него дела? Больше история с оперативниками не повторялась?

Она переводила разговор, остужала его пыл, напоминая Илье о его долге и обязанности, о его тревогах.

— Какой истории? А, этой! — Она отчасти добилась своего, он вспомнил, в какой был панике прошлой зимой, как изливался ей, ища сочувствия и поддержки.

Год назад из райкома комсомола был звонок в школу, что Антона задержали оперативники, комсомольский отряд, за фарцовку на площади Ногина. Из школы тут же сообщили письмом, что собираются исключить его из комсомола и отчислить из школы, а уже последний, десятый, класс! Сын признался, что он на Ногина был, что его и в самом деле задержали, но он не фарцевал, конечно же, а тусовался с хипами и просто попал в облаву, где брали всех подряд. «Всех, кто ушел из их злобно-угрюмых рядов,— сказал сын,— сами-то они тоже хороши, мы же не интересуемся, чем они там на своих комсомольских собраниях занимаются, сколько пьют и с какими девками трахаются!» Илья тогда сказал ему, чтобы он запомнил, что на площади Ногина не был, в облаву не попадал, что его именем кто-то назвался, а он дома сидел, это могут подтвердить родители. Но в школе Илью не стали и слушать, сказав, что им поступил сигнал из источника, которому они обязаны верить. Выручил их тогда Паладин. Когда Илья растерянно рассказал в редакции эту историю, говоря, правда, что сын-то дома сидел, а его именем некто прикрылся, Саша сказал, что он как парторг готов помочь своему беспартийному другу, поручиться за него, подтвердить его слова о том, что Антон был в тот день дома, готов перед комсо-

молистами это засвидетельствовать. На это Илья втайне и рассчитывал, полагая, что Саша, разумеется, знает комсомольско-партийную кухню и их нравы и знает, как себя вести в таких ситуациях. И Саша безотказно поехал с ним в Колпачный переулок, надев новый хорошо пошитый костюм, рубашку с галстуком и пальто из настоящей кожи, которое достать можно только в спецраспределителях. И когда короткошей, с микролбом комсомольский волк увидел Сашу, он сразу угадал в нем зверя страшнее, а может, угадал, и кто Сашин родитель, во всяком случае, понял, что лучше не связываться. На бородатого Илью он при этом смотрел подозрительно. После всего Илья купил бутылку рома, и они с Сашей поехали обрадовать Элку и Антона, пили допоздна, Элка играла на гитаре, и пели песни. С тех пор дружба с Сашей даже окрепла, тот стал чаще заходить к ним в дом, даже когда Ильи не было. Такая возникла дружба с необычным для их круга человеком — Сыном Крупного Партийного Чиновника, власть имущего.

Вспомнив все это, он непроизвольно опустил руки, ответив, однако, на вопрос о делах сына:

— Нормально.

Она сразу ухватила за его ответ.

— Ну, вот видишь! Все у тебя нормально, хорошо, все выправляется. Ты не переживай! Это у меня плохо. Ты уж как-нибудь без меня обойдешься. Переживешь. Это у меня никого нет...

Она поднялась, отошла от тахты, заправляя грудь в измятый лифчик и натягивая блузку, а он сидел, схватившись руками за голову, изображая растерянность и расстроенность.

— Не огорчайся. Хочешь, я тебя поцелую? Не хочешь? Ну, ладно, ты, наверно, прав. А то получается, что я какая-то проститутка или динамистка: полюбила мужика, а не дала. Будто что выклянчиваю. А это не так, Илюшенька, не так.— Она подошла к двери.— Хочешь, я уйду? Тебе сразу легче станет. А хочешь, просто пойдем погуляем вместе? Воздухом вечерним подышим? Не хочешь? Ах да, тебе бы домой не опоздать, ты же у нас порядочный семьянин. Ну не сердись, Илька! Извини. Я все не то говорю. Просто я решила, твердо решила, что между нами этого больше не будет. Я тебе больше не поддамся.

Она села на тахту, закрыла лицо руками и заплакала. Илья испугался, обнял ее за плечи, она привалилась головой к его груди, продолжая всхлипывать, вздрагивала всем телом и уворачивалась от него, когда он пытался силой отнять ее руки от лица, бормоча встревоженно:

— Ты что? Ну что ты? Что с тобой?

— Ничего,— мотала она головой, прижимая руки к лицу и говоря глухо сквозь них.— Сейчас пройдет. Ничего. Я успокоюсь. Я успокоюсь! — Она еще всхлипывала, но села прямо, оторвавшись от него и высвободив плечи из-под его руки, сквозь всхлипы продолжая говорить: — Мне иногда кажется, что лучше было бы, чтобы я не была. Мне все кажется, что то, как я живу,— это все еще прелюдия к жизни. А ведь я уже немолодая баба. Мне за тридцать лет, подумать страшно! А жизни не было. Такой, чтобы о ней можно было вспомнить хорошо, без сожаления. Наверно, я очень тяжелый человек. Ненормальная. Я это знаю. Тяжелая для себя и для своих близких. Да и для тебя.— Она неожиданно провела ласково мокрой ладонью по его щеке, сквозь слезы глянула и закрылась снова руками.— Мне все противно. Не хочу я на работу опять. Ты же знаешь, я не умею устраиваться. Когда на службу снова пошла, уже после Дяна, ну, мужа моего, набрала себе работы больше всех в отделе. Я ведь не кандидат, а работала, как кандидат, понимаешь? Работала старшим, а зарплата была меньше, к тому же у кандидатов — реноме. Да всего месяца три проработала, может, четыре. Вдруг что-то во мне треснуло — и психушка. Сам понимаешь, с официальной службой все было кончено. Пошла подработка шрифтами, уроками. Потом ты появился. Потом бабушка заболела, и я сюда переехала. Но с бабушкой я просто сиделка. А тебе только для одного нужна, а сама по себе не нужна. И я как будто опять одна-одинешенька. Да и раньше, наверно, тоже одна была. Все вокруг меня вертелись, крутились, заходили, болтали, а потом

убегали, потому что у всех есть своя жизнь и какая-то определенность в жизни. А у меня ничего нет. Нет определенности, устойчивости, ничего своего нет, я одна. Умру, как будто и не была, как будто так и надо, что нет Линочки. Для всех лучше, что ее нет. Да и была ли она?..

Лина вырвалась из-под мужской руки, попытавшейся обнять ее за плечи, упала лицом в плед, покрывавший тахту, и зарыдала в голос, уже не сдерживаясь. Не умея ничего делать в таких ситуациях, Илья сидел рядом с ней и, не находя утешающих слов, чувствовал потерянность и раздосадованность, будто бы эти слезы — упрек ему. Он полумеханически гладил ее по плечу, бормоча:

— Ну, не надо. Пожалуйста, не надо. Ну, успокойся.

А рыдания не прекращались, и, считая себя виноватым и в этой истерике, он готов был — от замутненности души — сказать, что бросит семью, останется с ней, и в самом деле остаться на ночь, а не ехать домой, хотя был уже в мыслях дома. Он только собирался сказать что-нибудь в этом духе, как за стенкой, в комнате Розы Моисеевны, послышались движение и глухой стук, будто что-то тяжелое упало на пол. Илья прислушался, но больше оттуда не доносилось ни звука. Но этот шум, падение чего-то тяжелого создавали отвлекающий момент, и его надо было использовать.

— Эй,— сказал он, теребя Лину за плечо,— там у Розы Моисеевны что-то рухнуло. Послушай-ка. Да не реви ты хоть секунду!

Лина подняла голову. За стенкой по-прежнему была тишина. Но Илья видел, что она встревожилась.

— А ты точно слышал?

— Разумеется, точно.

Лина выпрямилась, села.

— Боже мой! Только этого еще не хватало! Что еще там эта сумасшедшая старуха выкинула?!

— Да ты не волнуйся,— говорил Илья, радуясь, что она волнуется и перестала рыдать, слезы вытерла,— уже тихо. Если б что, она бы крикнула, на помощь позвала...

Но ему тоже стало тревожно: глядя на испуг Лины, он вдруг представил самое страшное.

— Илюша, я прошу тебя, если моя просьба для тебя что-нибудь значит: не уходи! — Лина жалобно и с мольбой посмотрела на него, голос ее звучал заискивающе.— Не уходи, пока не выясним, что случилось. А? Пойдем вместе посмотрим. Ладно? Я прошу тебя.

— Ну, конечно, пошли,— сказал Илья, внезапно вправду обуянный новым беспокойством, что если и впрямь что случилось, то домой он уже сегодня точно не выберется.

Они подошли к комнате Розы Моисеевны. Илья приоткрыл тяжелую дверь и просунул в щель голову. Над изголовьем постели горел ночник, как всегда бывает, когда человек что-нибудь читал перед сном да так и заснул с книжкой в руках. Роза Моисеевна лежала на подушке, ее редкие белые волосы, взлохматившись ото сна, были, как венчик вокруг ее головы. Руки, морщинистые, в складках и пигментных пятнах, лежали поверх одеяла. Но никакой книжки, выпавшей из ее рук на пол, Илья впопыхах не заметил. Рядом с диваном стоял круглый столик, на нем пузырьки с лекарствами, рюмка для валокордина, чашка с недопитым чаем на нечистом, с чайниками и коричневыми разводами, блюде. Илья тревожно прислушался: старуха сладко сопела. Что же на пол пало?

— Ну! — тащила на себя дверь Лина.

Она наконец распахнула дверь широко и прошла мимо него. И тут Илья увидел лежащий у шкафа, словно отброшенный, маленький, толстый томик стихов Бетти Герильо «Antologia poetica» с заложенным в нем листком бумаги и молча указал на него пальцем. Лина нагнулась, подняла томик и выскользнула из комнаты, следом вышел Илья, плотно притворив дверь за собой.

— Почему ты свет у нее не выключила?

— Потом, когда покрепче заснет, а то проснуться может.

Лицо ее было сумрачным и несчастным. Она хотела, чтобы он остался. А он вдруг осознал, что находится в прихожей и что лучшего пути и времени для отступления не придумаешь.

— Ну, хорошо, видишь, все в порядке, — произнес он, фальшиво улыбаясь. — Я пойду, пожалуй, Линочка. — И начал натягивать куртку.

— Иди, — глухо сказала Лина. Руки ее беспомощно повисли, она не делала ни малейшей попытки удержать его.

— Я тебе позвоню, — пообещал он, словно оправдываясь и словно по телефону они о чем-то важном договариваются.

Лина скорбно покачала головой. Илья подхватил стоявшую у калошницы сумку и выскочил за дверь, хлопнув ею. Краем глаза он заметил, что, когда выходил, она шагнула было к нему, и так получилось, словно он ее дверью в лицо ударил. И, чувствуя, что поступил скверно, он все же не стал возвращаться. Не замедляя хода, почти побежал по ночному двору к шоссе и принялся ловить такси. Как будто те пятнадцать минут, которые он тем самым сэкономит, окажутся решающими в грядущем выяснении семейных отношений.

Глава IX

ОЖИДАНИЕ

Долго ли рану нанести? Постоянно их нож наготове — сбоку привесив, ножи каждый тут носит дикарь.

Овидий. Скорбные элегии.

Петя миновал второй профессорский дом, стоявший напротив его собственного, и двинулся по асфальтовому тротуару, обсаженному деревьями, в сторону Дмитровского шоссе, на восемьдесят седьмой автобус. Три раза в неделю он этим маршрутом добирался до центра, а оттуда на метро в Университет на подготовительные лекции по физике и математике: так получалось скорее. Кончались они около семи, и в восемь он уже был дома. А тут театр только в семь начинается! Вечером же главное — не задерживаться на улице, в автобус и домой. Хотя и автобус не всегда спасает.

Стоял он однажды на конечной у Детского театра, подошел автобус, очередь медленно продвигалась, и за несколько человек перед Петей набилось народу в салон до невозможности, давиться он не хотел и решил дождаться следующего, где уж непременно ему достанется свободное место, чтоб сесть. Не стали подниматься и две женщины, стоявшие перед Петей. Но подбегавшие со стороны люди все же лезли в автобус, втискивались, проталкивались. Вдруг откуда-то из переулка позади Детского театра выбежал парень лет пятнадцати, вспрыгнул на нижнюю подножку, и за ним как раз двери сомкнулись. Следом бежала компания — человек пять парней его возраста. Автобус уже с места тронулся, но двигался еще медленно, и парни застучали в заднюю дверь кулаками, крича шоферу, чтобы он открыл. Глаза дикие, бегающие, лапы ухватистые, они почти прилипали, почти висели на закрытой двери. Шофер притормозил, дверь отворил, и сразу двое или трое вскочили внутрь и парня этого пятнадцатилетнего в сиреновой кофте с капюшоном оторвали от поручней автобуса и на асфальт кинули. А бесновавшийся у передней дверцы, чтобы задержать автобус, увидев победу и искомую жертву на земле, махнул рукой и крикнул шоферу: «Ехай!» А парня уже, пока на асфальт кидали, несколько раз кулаками в лицо стукнули, а когда упал, то каждый раза по два башмаками ударил его — в грудь, в лицо, в живот, под ребра — со всего разворота, как по футбольному мячу, наверно, вечно у себя во дворе в футбол гоняют. Женщины закричали. Автобус тем временем поехал. Какой-то частью сознания перепуганный Петя сообразил, что у шофера график и из-за хулиганской драки он останавливаться не будет. Мелькнула мысль самому вмешаться, распихать пар-

ней, но эту мысль нагнала другая: что так же, мимоходом, они воткнут ему нож в живот и исчезнут, а он погибнет из-за того, что вмешался в какое-то неведомое ему сведение счетов.

Один прыгнул парню на лицо, соскочил, еще раз ударил, норовя каблуком попасть в переносицу или в глаз, и побежал. Вся стая за ним следом скрылась в переулке за театром. Сотрясаясь, Петя отошел к газетному киоску, а киоскерша, опомнившись, вскрикнула: «Ироды! Что вы делаете?» Но ироды уже исчезли. А побитый встал и, не обращая ни на кого внимания, вытирая кровь с поуродованного, синевшего на глазах лица, побрел в ту же сторону, куда убежали злодеи.

Вот и Дмитровское.

Подошел автобус.

После нескольких остановок Петя со ступенек переместился в салон и стоял зажатый со всех сторон, держась за верхний поручень. В таких случаях лучше было не обращать внимания на происходящее вокруг, а думать о чем-нибудь постороннем, например, о театре, чтобы что-нибудь умное Лизе сказать, когда они встретятся. Петя стал вспоминать, как Тимашев, красуясь перед Линой, говорил, что театр — это европейское изобретение еще времен античности, что там, в Европе, и сами люди живут, как актеры, все время чувствуют себя как бы на сцене. Европейцы постоянно ощущают, как на них смотрит кто-то другой, и сами себя видят со стороны. «А для нас театральность,— сказал он тогда Пете,— это почти ругательство. Вспомни, как мы говорим с осуждением: «Он ведет себя театрально». Даже в исторических своих поступках мы не театральны. Леонид Андреев — писатель хороший, ты его еще прочтешь, после убийства царя в дневнике своем писал, что казни европейских монархов во всех европейских революциях были торжественны, ритуальны, то есть театральны. А русского царя убили на отечественный манер: по-воровски, по-разбойничьи застрелили в подвале — как зарезали в подворотне».

Автобус, завернув, остановился напротив кинотеатра «Россия». Петя сошел, свернул под арку и сквозным двором протопал до Козицкого. Здесь он должен был встретиться с Лизой, около Института истории искусств, куда Лиза его как-то водила. Ее старшая приятельница делала там доклад о «Бубновом валете». Он встал, прислонившись к стене, около заглубленного входа в институт. Лиза опаздывала. Мимо него проходили люди, открывали дверь, бросали искоса взгляд на Петю, мол, кто такой, и скрывались в недрах рафинированно-интеллигентного учреждения. Петя им завидовал, ибо они были из того цивилизованного мира, где ему казалось безопасным жить.

По противоположному тротуару двигалась компания: четверо парней и четыре девицы. На парнях были длинные куртки с нашитыми на лацканах якорями, широкие расклешенные джинсы, разрезанные снизу по шву и вместо манжет пущена металлическая «молния», на запястьях звякали железные браслеты, в руке одного из них — орущий песни магнитофон, у других — тяжелые палки. Они шли, временами хватая своих спутниц и прижимая к себе, потом отпуская и оглядывая встречных с наглым задором, нарываясь на драку.

Петя глядел на компанию искоса, чувствуя, что надо как-то переменить позу, чтобы подтвердить свою от них изолированность. Чтобы они поняли, что между ними не только кусок пространства, но и кусок времени, эпохи. Они — это дикари из неолита, одетые заезжими матросами в человеческую одежду, напоминающую морскую. Он же, Петя, из далекого будущего, ему в будущем жить и творить, а его труды будут жить еще дольше. Но как это показать, их не раздражая? Хотя ранним вечером да еще рядом с институтом, набитым интеллигентными людьми, вряд ли они посмеют приставать. Все же Петя не выдержал, закурил, поглядел на часы: все эти жесты, казалось ему, подчеркивают его независимость и экстерриториальность.

Лиза и впрямь опаздывала. Было уже без двадцати семь, а они договорились встретиться в половину. Дефилировали посторонние девицы, но не Лиза. Куда ее могло занести?

Этой весной, после уроков, иногда — этих «иногда» становилось все больше — они вместе выходили из школы и через множество новостроек шли к Петиному дому через парк. Лизе непременно надо было зайти к своей однокласснице, жившей неподалеку от Пети. Как-то так получилось, что она очень сблизилась с этой своей одноклассницей, принявшей сразу же твердить Пете, как бы в шутку, конечно, что он покори́л Лизино сердце. Так, случайно, казалось Пете, начался их роман.

До парка приходилось идти минут десять, а то и двадцать: переходить по необтесанным доскам канавы с жидкой грязью, обходить или перелезть через наваленные груды бетонные плиты. Урчал экскаватор, ездил по коротеньким рельсам подъемный кран, лежали груды кирпичей и осколки оконных стекол. Стройки были окружены заборами, возводились очередные блочные девятиэтажки, и, кроме рабочих, они там не встречали никого.

Петя глядел на работниц в грязных, неуклюжих робах, пропахших сыростью, олифой, масляной краской, а то и машинным маслом, на их фигуры, даже у молоденьких выглядевшие неизящными, на их заигрывания с мужиками, на то, как они обедают — на штабелях досок или на бетонных плитах, — глядел, и на душе у него делалось томительно и жутко. Слушая вслед себе циничные вопросы и пожелания, Лиза странными глазами поглядывала на Петю.

Они брели по Тимирязевскому парку с его широкими аллеями и высокими соснами, проходили мимо пруда, где были земляные гроты, и Лиза рассказывала, как она ужаснулась, узнав, что именно здесь, в одном из этих гротов, Нечев убил студента Иванова, а труп бросил в воду. И что самое страшное — убийству помогали друзья Иванова. У Пети не было друзей, но он все равно пугался и обнимал ее за плечи, как бы говоря, что защитит ее. Она льнула к нему. Трава была мокрой, сыпалась с деревьев вода утренних дождей, на песчаных дорожках стояли небольшие лужи, лавки почернели от сырости, и старушки, сидевшие около колясок своих внуков, застилали их газетами...

Петя стоял, вспоминая, и едва не пропустил выскочившую из проходного двора Лизу: кулачки к груди, стремительный наклон вперед... Видно было, что торопится, боится опоздать. Подняла глаза, заметила, махнула рукой: не волнуйся, мол, я уже здесь. Она иначе видела Петю, чем он сам себя понимал и чувствовал, видела храбрым и даже лихим. Она ему читала-бормотала цветаевское «Я не буду пить с тобой вино, потому что ты мальчишка озорной. Знаю я, у вас заведено, с кем попало целоваться под луной. А у нас тишь да гладь, божья благодать. А у нас строгих глаз нет приказа поднимать». Петя не пил вино и не целовался ни с кем, но так удивительно это было, что насмешливая с остальными, а на людях так даже и с ним, наедине смотрит на него Лиза зависшими глазами, наделяет его доблестями и с такой готовностью соглашается со всеми его словами, что не по себе делалось — чем ответить? — а глаза у нее светятся, когда она на него смотрит.

— Извини меня, пожалуйста, — ткнулась она виновато ему в плечо лицом. — Так получилось.

— Мы же опоздаем, ты посмотри, сколько времени! — Он отодвинул обшлаг плаща и пиджака и показал ей часы.

— Мы успеем, Петенька, здесь же рядом. — Она отстранилась от него, окинула взглядом его фигуру. — Ох ты, как вырядился! Такой нарядный и такой сердитый!

— Какой есть, — глупо растерялся Петя.

— Конечно, какой есть. По мне так очень неплох, — шепнула Лиза и добавила: — Ну, не сердись. Взгляни на меня хоть немножечко. Ну, пожалуйста! Я тебе совсем не нравлюсь?

— Почему? Нрависься, — ответил пойманный врасплох Петя и посмотрел на нее: немного удлинненное и немного неправильное лицо, нос чуть крупнее, чем надо, челка на лоб, небольшие темные глаза с густыми ресницами смотрят на него преданно, а ниже лица — высокая грудь, тонкая талия, длинные ноги...

Она взяла его под руку, прижалась к плечу.

— Пойдем. Я тебе по дороге расскажу, почему я задержалась. Я, правда, не виновата.— Они уже шли по переулку, остановились, пропуская поток машин по Петровке.— Я у Герца была. Но не трепалась, ты не думай. Там такой ужас! — Поток машин кончился, она быстро перевела Петю через Петровку и, задыхаясь, продолжила: — Желватов, наверно, с друзьями портвейну нажрался, что-то под окном орал, а потом бульником пульнул Герцу в окно. Я там как раз сидела. Хорошо старик в этот момент над коляской склонился, а то убило бы маленького Сашку. Александру Борисовичу он затылок размозжил, во всяком случае.

— Ты что? — замер Петя.

— Правда. Я тебе позвонила, а Лина сказала, что ты уже ушел. Я «скорой» дождалась и на такси сюда. Врач сказал, что ничего, в больницу заберут, но жить будет...

— Не понимаю,— чувствуя, что его спину пронзил холодный ток, отозвавшийся в копчике, сказал Петя.— Почему он ребенка хотел убить?

— Да ничего он не хотел. Сволочь он! Еще, конечно, пьяная дурь. Так Герц считает. Ну, Герц идеалист...

Холод был у Пети в груди. Неужели слова могут переходить в действие? «Шугануть бы их отсюда. Да чтоб залетали пархатые!» — вспомнил Петя. Когда-то Желватов отогнал от него свою компанию, хотевшую побить Петю. Не мог он поэтому поверить, что Желватов и в самом деле такое сделает. Выходит, надо было предупредить Герца? Но он бы только посмеялся над ним. А вдруг не посмеялся бы? Петя, запинаясь, начал рассказывать Лизе об утреннем своем разговоре с Желватовым. Ему хотелось, чтоб кто-то оправдал его, снял с души тяжесть вины. И Лиза это тут же поняла.

— Какой гад! Сволочь! — воскликнула она, блестя глазами в вечернем электрическом свете.— Какой гад! Но ты откуда мог знать, что он это сделает? Это никому бы в голову не пришло! Ты же не думал, что он такое может сотворить? Не терзайся!

— Может, надо что-то сделать? — спросил он.— Как-то помочь? — Хотелось искупить хоть чем свою невольную вину.— Давай поедем, вернемся, и ты поможешь. Я тоже, если надо, зайду.

— Уже все, ничего не надо,— быстро ответила Лина.— Уже и «скорая», и милиция была. Желватов убежал. Герц его не догнал. Сам он теперь в больницу поехал. Наташа с малышом сидит. А я сюда помчалась. Мы там сейчас не нужны. Ты не оченя ведь рассердился на мое опоздание? — Она взяла его руку и приложила ладонь к своему лицу, как бы спряталась в ней, потом преданно посмотрела ему в глаза.— Так что мы вполне свободны и можем смотреть спектакль.

Петя кивнул. У него в горле стоял комок: от ужаса, что утром он разговаривал с убийцей, который не казался убийцей, а был всего лишь школьником.

Глава X

РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА

Чудится мне, что ни миг,
к горлу приставленный меч.
Овидий. Скорбные элегии.

Они спустились по Москвина, и скоро перед ними оказался каменный теремок с высоким крыльцом — театр. Петя делал вид, что торопится, не глядел на прохожих, чтобы и они не замечали его и Лизу, потому что перед театром толпилось изрядное число парней и девиц их возраста, шумных, крикливых, с размашистыми движениями: словно устроили для какой-то школы просмотр. Он взбежал по ступенькам крыльца, ведя Лизу за локоть, помог снять ей плащ, скинул свой, встал в небольшую очередь в гардероб. На стенах были зеркала в

рост человека, и Петя невольно видел сумятицу входящих, раздевающихся, проходящих в фойе: помимо массы школьников старших классов (некоторые даже в школьной форме), виднелись обветренные, красные лица приезжих, попавших сюда совершенно случайно, а также туповатые, самодовольные и угреватые лица коротконогих мужчин и толстых женщин в костюмах с блестками.

Места у них были в партере, седьмой ряд. Они уселись, но то и дело привставали, пропуская задержавшихся в буфете. Свет в зале погас, началось действие.

На сцене стояли стол, кресло, книжные шкафы, в углу были свалены рыцарские доспехи. На столе и на полу — груды книг. В кресле сидел длинный человек с бородкой, вытянув ноги, в руках у него книга. Перед ним полная женщина, изображавшая невинную крестьянскую деву Альдонсу. Сидевший в кресле длинный человек средних лет, игравший Дон Кихота, читал вслух: «В это время Дон Белианис сел на своего коня и тронулся в путь». Прочитав эти слова, он взял в правую руку меч, а Альдонса, выходя тихо из комнаты, пробормотала: «Побегу, скажу ключнице». Не замечая ее ухода, сидевший в кресле продолжал говорить: «Я заменяю имя Белианиса именем Дон Кихота... Дон Кихот отправился навстречу опасностям и мукам с одной мыслью о вас, владычица моя, о Дульсинея из Тобосо!»

Лиза теснее прижалась к Петиной руке. На сцене между тем средних лет мужчина с тазом на голове старался говорить патетически и одновременно натурально: «Я тот, кому суждены опасности и беды, но также и великие подвиги. Идем же вперед, Санчо, и воскресим прославленных рыцарей Круглого Стола! Летим по свету, чтобы мстить за обиды, нанесенные свирепыми и сильными беспомощным и слабым, чтобы биться за поруганную честь, чтобы вернуть миру то, что он безвозвратно потерял,— справедливость!»

Лиза слушала, вся напрягшись, словно верила во все эти слова. Хотя простой подсчет показывал, что восстановить справедливость во всем мире невозможно...

Опустился занавес, а в зале зажегся свет. Все принялись вставать и медленным потоком выливаться из зала по руслу прохода. Петя с Лизой тоже пошли в буфет. Отстояв длинную очередь, Петя купил два бутерброда, два миндальных пирожных и два стакана «фанты». Лиза продолжала держать Петину руку в своей, ей хотелось, даже не разговаривая, ощущать его рядом. Когда Петя брал со стойки тарелку с бутербродами и пирожными, он руку освободил. Лиза взяла стаканы с «фантой» и, видимо, полагая, что Петя, как и она, думает о Дон Кихоте, сказала, пока они шли к столику:

— Есть такой поэт — Саша Величанский. Из бывших смогистов. Но теперь сам по себе. Я его знаю немножко. Никакой он не политик, просто поэт, но все равно у нас не печатают. Да и там редко,— шепнула она.— Хочешь, прочту его стихи о Дон Кихоте?

— Прочти,— сказал Петя, притворяясь, что ему интересно, сам же невольно соображая, что спектакль тянется слишком долго и провожать Лизу ему придется по позднему.

А Лиза читала:

Пусть гнетет тебя, храня,
одиночества броня
тяжестью своею —
хоть враги — рогатый скот,
все же в латах Дон Кихот,
и, как нимб, сияет тот
тазик брадобрея.

Она не ждала похвал стихотворению, словно чувствовала, что Пете нечего сказать. Опустив свои густые короткие ресницы, Лиза ела бутерброд, запила его двумя глотками «фанты». И сказала, словно возражала Пете, словно он хоть слово вымолвил:

— А мне нравится. Он сущность рыцарства выразил — «одиначества броня!». Рыцарь, как и поэт, всегда одинок. А все равно это одиночество — для людей. И не требуя благодарности. За то, что у тебя душа, ты можешь только небеса благодарить. А от людей ничего не брать. Только отдавать.

Прозвенел звонок, и они вернулись в зал.

На сцене противный священник в черном одеянии до пят что-то говорил Дон Кихоту, тот ему отвечал, и Петя временами чувствовал подъем духа и прилив нежности к Лизе, вытаскившей его на этот спектакль, но действие длилось, время шло, и страх от предстоящего провожания по темным вечерним улицам становился все сильнее.

Когда спектакль закончился, Лиза снова попыталась завладеть его рукой, но Петя не дался. Они встали в очередь к гардеробу. Петя молчал, Лиза тоже молчала, иногда быстро поглядывая на него. Он подал ей плащ, надел свой, и они вышли на улицу.

— Пройдемся немножко пешком? — спросила она.

— Давай. А куда?

— Давай до Маяковки, а? — Она заглянула ему в лицо. — Это совсем недолго, минут двадцать.

— Только не дольше, — сказал Петя, посмотрев на часы. Было уже двадцать пять минут одиннадцатого.

Они вышли к церковке на улице Чехова, там на остановке скучилось много народу, наверно, недавно кончился фильм в «России». При виде толпы людей страх немного отпустил Петю, но Лиза перешла улицу и шагнула в какой-то переулок. Петя плохо ориентировался в городе, будучи мальчиком домашним, жителем своего микрорайона. Лиза же вела его какими-то московскими дворишками, о существовании которых Петя не подозревал. Она свернула в проход между двумя домами, и Петя спросил, чтобы преодолеть вновь возникшую в душе напряженность:

— Чего бы ты хотела в жизни?

Лиза ответила быстро, не задумываясь:

— Жить, любить и быть, если получится, счастливой. Ты бы занимался своей наукой, а я бы любила тебя и писала стихи. Но ты не бойся, я не о браке. Я понимаю, что мужчине это страшно.

Они прошли темным проулком и теперь стояли около какой-то глухой стены, отгораживавшей внутренний дворик от других дворов и улицы. Никогда бы Петя не поверил, что есть такой дворик в Москве, в полумраке похожий на южный или прибалтийский своей уютностью. Свет падал от двух фонарных столбов и от лампы на углу стены. А дом рядом со стеной уже спал, в окнах — ни огонька.

— Все бедные, — тихо сказала Лиза. — Каждый на свой лад.

И замолчала. Она стояла, ждущая, готовая по первому его движению прильнуть к нему, предоставив себя его рукам и объятиям. Петя тоже хотел обнять Лизу, подержать в руках податливое женское тело, жаркое и льнущее, ощутить его трепет. Да к тому же полумрак, тишина, изолированность дворика, отсутствие аборигенов — все располагало к нежностям. Кроме одного. Петя все время помнил, что впереди еще Бугры, где жила Лиза, бандитское местечко, и чем раньше он ее туда проводит, тем лучше. Поэтому он бездействовал. К Петину счастью, Лиза, которой надоело ждать, воскликнула:

— Хорошо здесь! Правда?

— Хорошо, — согласился он, чтоб ее не обидеть, потому что собирался добавить и добавил другие слова, которые Лизе не могли понравиться: — Но пойдем уже к метро.

— А мы разве не погуляем еще чуть-чуть? — просительно сказала Лиза. — Такая ночь теплая!.. А здесь, во дворе, и ветра нет.

Ее настойчивость уперлась в Петино упрямство, не покидавший его страх и напряженное ожидание опасности.

— Нет, я не могу. Меня бабушка ждет.

— Как же так? А я думала... Я и у Когриных не осталась, я хотела с тобой побыть...

— Ну, мы побыли уже. Ну, Лизанька, ну, пожалуйста, правда, не могу. Я же тебя должен еще домой проводить.

— Должен? Совсем не должен! — вдруг вспыхнула Лиза. — Не надо меня провожать. Я и сама дойду!

И она резко метнулась куда-то вбок, к другому проходу, который в полутьме Петя не заметил. Напуганный ее словами, боясь, что с ней что-нибудь случится или и вправду она так обиделась, что покинет его, Петя быстро пошел следом. Догнал, тронул за рукав плаща, но она рукав вырвала:

— Не смей за мной ходить! Не смей! Я сама!

Она шла глухими московскими дворами, которых Петя все так же не знал. Он уже полностью потерял ориентацию. Кирпичные, красные при свете фонарей, а в темноте черные, стены домов, неожиданно глухие, с разноразмерными несимметричными окнами и балкончиками с витиевато изогнутыми прутьями.

— Петя, ну не иди за мной, не иди! Зачем ты за мной идешь?

Они оказались в каком-то дворике, еще больше, чем предыдущие, похожем на южный. В сплошной стене каменного двухэтажного дома было одно небольшое окошко, оттуда лился желтый свет, виднелись занавеска, герань; во дворе одиноко стоял высокий тополь. Скамейка, песочница с запахом влажного песка, качели, забытое кем-то ведро, детский совок... И тишина — немосковская, негородская. Лиза опустила на скамейку. Петя сел рядом. Она спросила:

— У тебя есть сигареты? Дай мне.

Петя поспешно полез в карман, достал пачку «Явы», протянул ей, затем и сам взял сигарету, зажег спичку. Лиза глубоко вдохнула дым. Она сидела нога на ногу, запахнув колени полой плаща. Петя вспомнил, как они дежурили на избирательном участке и она неожиданно села к нему на колени. Это было ошеломляющее чувство! Он проглотил слюну и косо глянул на ее ноги, положенные одна на другую: вроде бы ничего особенного, но какая в них притягивающая сила. Она заметила его взгляд, стряхнула пепел с сигареты, рванулась сказать что-то, но промолчала. Петя тоже молчал.

— Когда любишь, хочется ответной любви. А ты меня ни капельки не любишь, — вдруг грустно пробормотала она. — И считаешь, что я за тобой бегаю. Я не хочу, чтоб ты так думал! Это не так. Я вовсе тебе не навязываюсь!

— Ну, что ты, Лизанька, — неуверенно возразил он.

Лиза медленно загасила сигарету о край скамейки и принялась рисовать носком туфли на земле фигуры, словно чего-то думала, чего-то решала.

— Ладно, идем домой. Ну зачем весь шум и гам, коли нужно по домам? — в рифму сказала она, а затем добавила как бы вскользь: — У меня, между прочим, родители в командировке.

Петя молчал.

Она посерьезнела:

— Ты меня, Петенька, не любишь, а я люблю. Знаешь, одна провинциальная поэтесса, очень, наверно, несчастная женщина, такие стихи сочинила:

Смешней не бывает финала.
Что это? Опомнись, друг мой!
Не бегала я за тобой —
Я просто шагов не считала.

— При чем здесь финал? — старался не вдумываться в смысл ее слов Петя. — Брось, Лизка, ерунду городить. Просто пора домой. Существуют же какие-то необходимости.

Она засмеялась задумчиво, встала.

— Конечно, существуют.

Они двинулись к шоссе. Петя держал ее за локоть. Лиза шла, опустив голову, глядя себе под ноги. Увидев наконец автостраду с проносющимися машинами, Петя ожил, обрел уверенность.

— Взять такси? — спросил отчужденно-предупредительно.

— Попробуй. Думаю, для мужчины это всегда интересно — что-нибудь попробовать. Вдруг что получится?

Петя не понял, но все же огрызнулся:

— Лизка, не язви! — Он уже чувствовал себя наполовину свободным и в безопасности. Сейчас в машину — и порядок. Почти дома.

Машина остановилась, они сели. В этом же такси — домой. Они сидели сзади шофера, но не обнимались, как обычно делают попавшие в такси влюбленные, как раньше и они делали, а, напротив, отодвинулись друг от друга.

Лиза то о чем-то задумывалась, то всхлипывала. Но когда машина подкачала к булочной, Лиза сказала, опережая Петю:

— Здесь можно остановиться.

Петя открыл дверцу, не расплачиваясь, вылез, помог выйти Лизе и сказал, возвращаясь на сиденье:

— Ну что, до завтра?

Лиза вздрогнула и замерла. Повернула к нему лицо, казавшееся в свете загоревшейся при открывании дверцы лампочки сильно побледневшим, и спросила немного надменно-удивленно:

— А ты разве не выйдешь меня проводить? Мне одной будет страшно идти.

Что оставалось делать, чтобы сохранить лицо?.. Петя расплатился, и машина, на которой он мог уехать домой, укатила.

Булочная была давно закрыта, дверь заперта, только желтая лампочка горела над дверью, показывая, что жизнь здесь все же была. И сразу их охватили темнота и тишина подворотен и закоулков. Ночные джунгли окраины. Где-то вдали лязг трамвая, а из глубины двора, в арку которого они должны нырнуть, какой-то шум, чей-то рык... Кто там таится?.. Но деваться некуда, другого пути нет. Они прошли под длинной и невысокой аркой, обходя вчерашние невысохшие лужи, которые в арочной темноте и сырости, лишенной солнечного света, застаивались долго. Лиза слегка поскользнулась на грязном асфальте, и Петя подхватил ее под руку.

Она нервно рассмеялась.

— Как старушку через улицу!

Примолкла, словно что-то вспомнив. Петя ничего не ответил. Он старался скорее довести ее до дома, загрузить в подъезд — и восояси. Вот почему она не захотела, чтобы машина довезла ее до подъезда: чтобы Петя проводил ее. Подумав так, он разозлился, но все же руку не отнял: прикосновение к другому человеку придавало уверенности. Они миновали первый двор со ступенчатыми подъездами, затем котельную, одинокий гараж. Следующий двор был перегорожен трухлявым забором, но проход оставался: один край забора упирался в стену дома за последним подъездом, зато другой не доходил до дома напротив, оставляя щель, в которую они и проникли, попав наконец в Лизин двор. Там стояла беседка, из беседки раздавался омерзительный, гнусный гогот, тлело несколько сигаретных огоньков, кто-то бряцал на гитаре, и все хором орало:

Валява! Валява! Не уезжай в Китай!

Валявушка-Валява! Ты сердце мне отдай!

Дыхание у Пети замерло, а сердце заколотилось. Удастся проскочить или нет? Лизин подъезд казался долгожданными крепостными воротами. Они быстро, торопливыми шагами вошли в подъезд.

— Проводи меня до дверей, — попросила Лиза.

Они поднялись еще на один пролет и остановились перед дверью Лизиной квартиры.

— Ну все, пока,— сказал Петя, забыв даже поцеловать ее, думая о том, что ему надо спускаться и как-то миновать хулиганскую компанию, по возможности незаметно.

Ошеломленная, она закрыла лицо руками, а он, считая это притворством, стал осторожно спускаться по лестнице, но как-то боком, лицом к Лизе. Почувствовав его шаги, она отняла от лица руки.

— Эй, подожди! — тихо попросила она.— Мы сейчас вместе пойдем. Ты минутку потерпи, я найду школьную форму взять и к Наташе герцевской пойду. Герц наверняка еще не вернулся, она одна, ей помощь нужна. Подожди. Вместе до трамвая пойдем.

— Ты знаешь, сколько сейчас времени? — сухо спросил Петя. — Все давно уже спят.

— Петенька! — Она догнала его, схватила за плечо.— Я не в состоянии смотреть, как ты уходишь. Это невозможно — видеть тебя уходящим! Ну побудь еще пять минут! Ну четыре!.. Я тебя не виню, что ты не хочешь быть со мной. Значит, не любишь. Сердцу не прикажешь. Не возражай, не надо. Выкурим по сигаретке, по одной только сигаретке, и ты пойдешь.

Петя с холодным лицом остановился и достал сигареты, ничего не сказав.

Они присели на подоконник и закурили. Курили молча. Сигарета тлела медленно. Петя не выдержал, загасил свою, встал. Голова у него слегка кружилась — от курения и от нервов.

— Я пойду, Лизка. Теперь уж точно пойду.

— Уже?

— Ничего себе «уже»! Пока. Я пошел. До завтра.

Лиза поднялась тоже, почувствовала, что теперь уж точно он уходит, пытаясь улыбнуться, сказала протяжно:

— Ну-у, пока-а. Ты бы хоть поцеловал меня... напоследок...

Она старалась держаться.

— При чем здесь «напоследок»? — принужденно пробормотал Петя.

Он притянул ее за покорные плечи и поцеловал в щеку. Она заплакала от унизительности такого поцелуя и, заплетаясь ногами, побрела вверх. А Петя, не обращая больше внимания на ее слезы, побежал вниз. В подъезде остановился и, не открывая внешней двери, прислушался. Уличный концерт продолжался. Судя по хриплости голосов, градусов прибавилось. И тем не менее надо было идти.

Пете опять повезло. То ли парни не заметили его, то ли были увлечены хорovým пением, но Петя проскочил благополучно двор. Сердце билось все спокойнее, и вот он уже на трамвайной остановке. Но все равно еще жутковато, темно, ветрено. Проходивший мимо здоровый малый в лыжной кофте, из-под которой висела незаправленная рубашка, в приспущенных штанах и почему-то в зимней шапке-ушанке на мощных кудрях заглянул Пете в лицо, но тот, как всегда, не стал смотреть в глаза случайному Вию, помня, что главное — не входить в контакт с темной силой. Не ощутив отклика, малый в шапке-ушанке прошел мимо. А тут и трамвай подкатил с электрическим светом внутри. И только в трамвае, прогоняя в уме сегодняшний вечер и свое прощание с Лизой, он сообразил с запоздалым ошеломлением, что Лиза явно хотела его. А он? Так боялся хулиганов, что даже не заметил этого. Упустил случай. «Ну ничего,— решил он.— Зато спокойно выплосью. Существует приоритетность дел. Завтра все же сочинение, надо быть в форме».

Глава XI

ПРЕКРАСНОЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Дар напрасный, дар случайный...

А. С. Пушкин

Войдя в подъезд, Илья отшвырнул ногой валявшуюся оберточную бумагу: поднимать ее и выносить в мусорный ящик не было сил. Пусть ее! Чем хуже,

тем лучше! Поднявшись на лифте и медленно подходя к своей квартире, Илья старался двигаться, как бы не двигаясь, чтоб растянуть время и отсрочить неизбежный разговор. В прежние времена вот так же, блудливо возвращаясь домой, он тер лицо рукой, перчаткой, стараясь каким-то образом убрать запахи другой женщины, которыми, как ему казалось, он был пропитан насквозь,— ее мылом, духами, притираниями и прочими звериными ароматами, которые отличают одну особь женского пола от другой и так неизбежно распознаются ими самими. Хотя, конечно, он всегда надеялся, что алкогольное амбре перебивает все иные благовония, да и вообще в их кругу было принято, что пьяный мужик — безвинный: «Ну, загулял», «Ну, пьян был, ничего не помню», «Ну, перебрал маленько, занесло черт-те куда». И жена, как правило, на пьяного Илью не сердилась. Еще лучше, когда привозил он с собой друзей: это уж было железное алиби, что водку пил, а не по бабам ходил. Да Элка и любила гостей, и часто ему говорила: «Чем неизвестно где пьянствовать, вези людей сюда, в дом. Мне и спокойнее, и веселее».

Еще с улицы, запрокинув голову, Илья увидел, что в его комнате и комнате жены темно, зато горел свет на кухне, стало быть, Элка одна или с сыном, а может, дай Бог, с гостями сейчас за их большим кухонным столом. Сидит на диване, под бра, с сигаретой и болтает. И хорошо, если гости, по привычке думал он, тогда можно будет улизнуть от расспросов, а к утру все забудется. Если, конечно, он хочет отложить разговор о Паладине. Хочет ли он? Говорить о дворняжском сыне, Саше Паладине, его задушевному другу, который оставался сидеть за столом с Элкой один на один, когда он, Тимашев, отключался и уползал спать?.. Ведь пару раз мелькнула наутро шальная мысль: «А что, если они...» Но недостойным казалось даже думать в этом направлении. Как можно подозревать друга и гостя! Он осуждал этот гостевой стиль жизни, бурчал о необходимости суровых научных занятий, но жена ему в таких случаях говорила: «Если бы не мы с Антоном, ты бы вообще жизни не видел, так бы и зачах в своей библиотеке». И ему нравилось, что все, что он пишет, для всех как бы неожиданность: гуляет со всеми, пьянствует, а вдруг бац — и статья! А то и книга! Ему даже казалось — писать у него получается потому, что никто его не заставляет это делать. И писал он не ради заработка, за что был благодарен жене.

Секунду Илья колебался: звонить или открыть дверь своим ключом? Лучше сам, решил он. Если даже гостей нет, он это сразу поймет, быстренько шмыгнет в туалет, будто терпелу нет, а затем в ванную, где смоем все запахи.

Илья неслышно повернул в замке ключ, вошел и тихо прикрыл за собой дверь. Но никаких голосов с кухни не доносилось; похоже, что гостей не было, а быть может, они все же услышали шум двери и притихли, ожидая хозяина. Илья прошел коридором и, остановившись у дверей туалета, крикнул:

— Эй! Есть дома кто-нибудь?

Ответа не последовало, да он и сам уже видел, что кухня пуста. Просто Элка и Антон ушли, забыв выключить свет. Конечно, жена могла спать у себя в комнате или делать вид, что спит, злясь на него, но, прежде чем проверить свое новое предположение, Илья все же нырнул в ванную: вымыл руки, лицо, шею, вычистил зубы, готовя себя к разговору с женой.

Но Элки в ее комнате не было, хотя постель стояла неубранной. Он повернул выключатель, вспыхнул свет в люстре с бомбошками, но никаких знаков, объяснявших отсутствие жены, Илья не обнаружил. Оставив включенным электричество, он направился к комнате сына, распахнул дверь, истыканную перочинным ножом, с облупившейся белой масляной краской, и зажег там свет.

Комната сына уже давно не убиралась и напоминала Илье пещеру доисторического человека, который, наверно, тащил к себе всякий хлам. Под маленькой круглой тумбочкой на высоких ножках лежали свалявшиеся комки пыли, обгорелые и целые спички, в углу, справа от двери, грудились какие-то мешки, брезент, обрезки кожи, ремешки, рассыпавшиеся мелкие цветастые бусинки, из которых сын мастерил себе феньки: так на специфическом языке хиппи именовались украшения. У стенки, купленной Ильей в свое время в Эстонии и состоявшей из книжных полок, отделений для белья, бара и других разнообраз-

ных вещей, стояла раскладушка, на которой прошлой ночью спал приятель сына. Она была не застелена, как и диван-кровать сына, простыни скомканы, а сверху навалена куча джемперов, брюки, пара рваных рубах. Грязные носки и носовые платки были брошены прямо на письменный стол среди журналов и песенных рукописных нот. Около шкафа на полу Илья углядел чехол от гитары, но сама гитара отсутствовала: это означало, что сын ушел к кому-то в гости веселиться. Как и его мать, он прекрасно пел. Когда-то восхищавшее Илью пение под гитару, влюбившее его в Элку, теперь вызывало только глухое раздражение: ему казалось, что именно гитара ведет к безделью и распущенности, оттягивает сына от книг.

Илья посмотрел на разрисованные и исписанные всевозможными надписями на русском и английском языках стены. Он-то мечтал, отдавая сына в английскую спецшколу, что тот свободно овладеет языком и «в просвещении станет с веком наравне». «Никогда не получается то, что мы хотим сделать с детьми, совсем все наоборот» — к этой нехитрой житейской мудрости Илья пришел в последние полгода, и теперь ему стало казаться, что он виноват, что заставлял сына читать не только русские, но и английские книги. А на требованиях далеко не уедешь.

Когда он выказывал беспокойство, Антон обрывал его: «Это у тебя глюки!» Как-то, желая подольститься к сыну, нащупать контакт, Илья сказал: «Ты взрослее меня». Мол, можем говорить на равных. Сын отмяк и ответил Илье похвалой, которая показалась ему жутким упреком: «Просто я получил от вас с мамой уже многое готовое, к чему вы шли сами. Что-то я взял, до чего-то сам додумался». Что готовое?.. Что угодно! — только не тягу к работе.

— Проклятье! — простонал вдруг Илья и стукнул себя кулаком в лоб: так ему невыносимо стало от всей своей уже прожитой жизни. И Элка, и Антон жили сегодняшним днем, не думали о будущем. Носились из одних гостей в другие. Как ужасно виден в поведении близких, живых и родных людей архетип культуры. В российской ментальности не присутствует время, зато цветет пространство. Перемещение кажется созиданием. И он с Элкой годы целые гостевал, полагая свою работу лишь средством и способом создания условий для общения. А Антон глядел и мотал на ус. Теперь сам живет так же. По-русски. По принципу: на наш век хватит. А раз нет понятия времени, то и понятия вечности тоже нет. Странно, но похоже, что в русской культуре нет представления о будущей жизни, о том, что будет после смерти. Смерть есть смерть, после нее ничего не будет, а потому и не страшно — тебя ли убьют, ты ли убьешь. Природный процесс. Но дело не в природе, а в социуме. Этот процесс только притворяется природным, отношение к смерти — вопрос культуры. Жизнь в России не является ценностью, есть эстетика смерти, но нет эстетики жизни. Да и о будущем никто у нас не думает: весь мессианизм — в правильном распределении произведенного на данный момент продукта, а не в его создании. Созидатель думает о будущем. Он строит дом, строит крепость, чтоб сохранить свои свершения.

Эта мысль связалась с другой. Он подумал, что хотел показать Кузьмину свое эссе «Мой дом — моя крепость», написанное уже с месяц назад, но которое все равно было не напечатать. Он прошел в свою комнату, достал из ящика письменного стола листочки эссе, спрятал в портфель. Подумал, не прибавить ли и статью о Чернышевском под названием «Прекрасное есть жизнь», но решил, что два текста давать неприлично. Потом. Если эссе Борису понравится...

Зазвонил телефон. «Антон? Или Элка?» — с надеждой вскочил он из-за стола. Говорил Гомогрей:

— Тимашов, ты живой?.. Это я, Ваня Гомогрей! Жопа, друзей не узнаешь? А я о тебе беспокоюсь, не сплю!.. Сюда звонил, чтоб Элку предупредить, что с тобой все в порядке. А ее — хи-хи — дома не было. Я тебя предупреждал, Тимашов! Твой друг Гомогрей тебя предупреждал! Берегись!

— Элки не было? Во сколько? — переспросил Тимашев, не обращая внимания на пьяные выкрики.

— В шесть вечера не было, в семь не было, в восемь не было и в девять не было. Гомогрей не спал, Гомогрей каждый час звонил. Но ты Гомогрея плохо знаешь, он все же дозвонился! Он вычислил! Она у Таньки сейчас! Но, Илья, ты учти! Она там недавно! Всего час. Мне Танька проговорила. Мне тебя жалко, Илья! Я еще портвею выпил и чуть не плакал!.. Элка твоя, я думаю, с Паладиным была. Его тоже дома не было. Гомогрей звонил. Беспokoился и звонил. Ну и задал ты мне задачку, Тимашов!

— Знаешь ли, Ваня...— начал было Тимашев, но сорвался: — Можешь передать своему Паладину, что ему несдобровать!

— Тимашов, ты что? Смирись. Гомогрей тебя просит: смирись. Жопа, ты не знаешь сильных мира сего! Съедят. Со всей, Илья, твоей гордостью съедят. Даже косточки твои не хрустнут. Единица что? Единица — ноль! Это еще Маяковский сказал. А если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг! Сдайся, Тимашов, ты не умрешь красиво, ты просто исчезнешь.

— Гомогрей, ты что несешь? У тебя сумерки сознания, бред!

— Я, конечно, преувеличил. Но ты отступись. Не мсти! Сам во всем виноват! Я тебя, дурака, учил и буду учить! Единица против партии — ноль! Ты меня понял? Ты понял философскую мысль Гомогрея? Партия любого сглотнет. Паладина сам Вадимов боится! Ты понял? Повтори, что я сказал! Ну? Не можешь! Здорово Гомогрей тебя уел? Жопа, иди спи, раз тебя Элка пока не убила.

Он хлопнул на рычаг трубку. Илья некоторое время слушал короткие гудки. «Неужели?..» Сердце болело, сжималось. До этого звонка он все же надеялся, что ошибается, что слишком мнительный. А теперь?.. Ах, так! Ну, тогда никакой вины перед ней нет! Хватит! Да и надоело таскаться по магазинам, самому себе готовить да еще встречать почти каждый день неприязненные взгляды, ощущать себя каждый день в чем-то виноватым. Илья вдруг спохватился. То, что поначалу словно сняло с него его грехи, теперь пугало. Логика вины вела его к умозаключению, что Элка что-то разузнала о его отношениях с Линой (других своих измен он не считал) и будет стоять на том, что он сам всему виной. Она уйдет. Дом окончательно распадется. Сын не с ним. Может, Гомогрей напутал что?.. Элка и партия! Что-то непредставимое и несопоставимое. Надо это выяснить, откладывать нельзя. И он, не отходя от телефона, тут же набрал номер лучшей Элкиной подруги, своей одноразовой любовницы Таньки.

Голос у подруги был сухой, но жену она позвала.

— Ты чего звонишь? — вместо приветов спросила Элка раздраженно. — Проверяешь?

— Нет, — тут же озлобившись и забыв о том, что хотел выяснить, сказал Илья. — Беспokoюсь, где сын. Если тебе интересно, его нет дома. А уже почти час.

— А ты успокойся. Не надо было на него вчера кулаками замахиваться. Да и у мальчика должна быть своя жизнь. Так что не занудствуй. Сам разве не пил, не гулял? Да и сейчас что делаешь? Где ты, например, сегодня был?

— Тебя самой не было. Я в шесть звонил предупредить. А потом Гомогрей звонил... Тебя все равно не было.

— Ну, знаешь!.. В шесть я в магазин выходила. Около семи к соседке за спичками зашла, где-то около восьми поехала и после девяти была уже у Таньки. Проверь у своих сыщиков! Так что зря своих приятелей беспokoишь за мной следить. У меня все открыто. А вот где ты был?

— Как где! — возмутился, защищаясь, Илья. — Я у Розы Моисеевны был, матери Владлена, тебе хорошо известного. А ей уже девяносто, и она почти совсем одна. И умирает. Это целая трагедия. После такой жизни — в забвении, в одиночестве, никому не нужной, глупой старухой...

— Мне неинтересно, сколько лет твоим блядам! — отрезала Элка. — Если у нее есть сын, пусть он о ней заботится, а у тебя тоже есть о ком заботиться, если бы ты помнил.

— Я помню, — глухо сказал Илья.

— Не похоже! Впрочем, все. Я остаюсь ночевать у Тани. Ты что-нибудь еще хочешь спросить?

— Нет, ничего.

— Тогда пока! — И она бросила трубку.

Илье ничего не оставалось, как сделать то же самое. Она оправдалась! Все по времени совпадало со звонками Гомогрея. А он остался виноватым. И не решившим свои проблемы. Опять пожалел, что не остался с Линой. Она его любит. А Элка нет. Как все это произошло? Как совместные, любимые обоими посиделки, застолья и гулянки перешли в такой дикий, нелепый разлад? Ведь все же вместе было. А теперь все порознь. Почему? Вчера сын ему сказал, когда Илья сделал ему какое-то замечание: «Не хочу с тобой говорить. Не верю ни во что, что ты говоришь. Ты все врешь. Спишь с чужими бабами, а маме врешь!» Вот тогда-то Илья в полупьяном гневе замахнулся на него. И сын выскочил из дому, убежал к приятелю...

Он сидел за кухонным столом и пил теплый чай, мрачно уставившись на грудку невымытой посуды, кое-как составленной в раковину и прикрытой полотенцем. Свободные европейцы потому свободны, что работают не покладая рук, а не бездельничают. А мы понимаем свободу по-дикарски. Романизированные галлы!.. Илья потер рукой лоб, что было признаком усталости. Он думал, что самое скверное началось, когда подрос сын, не желавший замечать отцовской работы, а видевший в нем только книжного зануду (потом еще и обманщика!). Он жаловался по телефону приятелям: «Я с отцом больше не могу. Он меня замучил. Упреки, замечания. А я хочу общаться, жить. У меня голова не книгами забита, а другим, жизнью. Мне домой приходиться не хочется».

Глава XII

УПАДОК СИЛ

В последние годы жизни,
продленной сверх всякой меры,
я остался без детей, без жены, без друга...

Ч. Р. Метьюрин. Мельмот Скиталец.

Все тело ныло, болели спина, шея. В плечах, в кистях рук чувствовалась непомерная тяжесть. Затылок ломило, хотелось лежать и не шевелиться. Опять немела вся правая сторона: часть головы, правая рука и нога. Казалось, что теперь не встать, не подняться. Скорее бы умереть. Зачем она продолжает жить?.. Раз никому уже не нужна. Никому не в помощь. Только мешает. Она это чувствует, знает. Мысли в голове путаются, то приходят, то уходят, повторяются. Лина ее не поняла. Что ж, она этого ожидала. Так что не надо обижаться и расстраиваться. Она всегда была — как это по-русски? По-русски нет такого слова! — сензитивна. Всегда чувствовала, знала, что происходит неподалеку от нее. Глупая Ирина, жена Владлена, называла ее за это ведьмой. И Лина мать Алевтина. А ей просто дано так чувствовать.

Когда Тимашев долго не приходил, она чувствовала, как взвинчивает себя Лина. И ей было жалко внучку. Ей ясно было, что Лина устроит сейчас своему любовнику истерику, отвратит его от себя. Она сама никогда ни в чем не отказывала Исааку, выполняла любые его фантазии. Она не только любила его, но и понимала, была мудра. А Лина требовательна не по ситуации. Вот она и выползла к ним, когда Тимашев пришел. Выползла сказать им, что они друг другу подходят. Потому что чувствовала: не только Лина с ума сходит, но и Илья не в себе от любви к ее внучке. А то, что Лина не примет ее слов и сорвет на ней свой гнев, тоже входило в ее замысел: второй вариант. Он и осуществился. Лина на нее разрядилась и стала способной разговаривать с Тимашевым. А что, если, наоборот, она им помешала? Это тоже могло быть. Ей никогда не везло с добрыми делами. Хотела как лучше, а выходило только хуже. Лина все

же отказала Тимашеву в ласке. Это она поняла, когда они заглянули к ней в комнату. Она задремала и уронила книгу со стихами Бетти. Сквозь дрему она слышала, как они зашли и как оба несчастны и не удовлетворены.

Она попыталась подняться. На лбу и по всему телу выступила испарина от слабости. Неужели пришла смерть? Нет, смерти она не боялась. Коммунисты не боятся смерти. Лафарги, когда дожили до семидесяти лет, по взаимному согласию вскрыли себе вены. Поль и Лаура, дочь Маркса. Это, конечно, чересчур. Но надо трезво смотреть на свою ситуацию. Поэтому она должна срочно, пока еще может, передать свой опыт, объяснить Лине и Пете, как им жить. Поддержать Лину. Она же пропагандист, она всегда наставляла, она это умеет. Если она не сделает это сейчас, то завтра, может быть, будет поздно. Они так и не узнают, как правильно жить. Она жила честно, верная идеям марксизма-ленинизма. Пусть они живут так же.

Она снова попыталась собрать остаток сил и подняться. На сей раз это удалось. Ее пошатывало, но она крепко вцепилась в спинку кресла и устояла. Подождала, пока пройдет приступ слабости. И медленно, нерешительно переступая ногами, поводя в воздухе руками, как канатоходец, вышла из комнаты.

Только в коридоре вспомнила, что забыла вставить челюсть. Значит, будем шамкать. Но вернуться за зубами не было сил. Она продолжала идти, придерживаясь за стену.

Лина сидела за кухонным столом, опустив голову. Руки на столе, пальцы сплетены. В пепельнице лежала горящая сигарета. Видно, Лина давно не затягивалась: на кончике сигареты вырос длинный столбик пепла. Вид у Лины был несчастный, одинокий. Заблудившаяся маленькая девочка!

— Ты слишком много куришь. Это вредно для здоровья.

— Зачем вы встали, Роза Моисеевна? Уже ночь! Что-нибудь случилось? — приподнялась было Лина.

Но лицо ее все равно оставалось бледно-желтого цвета.

— Сиди. Курение — это вредная привычка. Ты не маленькая, должна это знать, — высказывали совсем не те слова, которые она хотела произнести. — Я пришла поговорить, — добавила она. — О жизни.

— О моей жизни нечего говорить. Не вижу необходимости, — сказала Лина, глядя в стол.

— О-о, как ты не права! Ты еще многого не понимаешь. Здоровье дается только один раз. — Ей было трудно говорить без челюсти, щеки проваливались в рот и мешали.

— Кому какое дело до моего здоровья? — подняла Лина свои длинные выщипанные брови. — Да хоть бы я совсем померла, только лучше бы было. Никому я не нужна. И Илья бы не мучился.

Надо внучке мудро ответить. Чтоб поняла. Она подняла палец.

— Человек создан для счастья, как птица для полета. Ты должна это знать. Революционеры умирали за счастье своих детей. И внуков. Им не нужно было личного счастья. Поэтому вы должны, обязаны быть счастливы.

— Вашими молитвами! — грубо ответила Лина, не поднимаясь.

Ей тоже пришлось сесть, чтобы не упасть.

— Как ты груба! А я хочу, чтобы ты жила с идеалом в душе, идеалом коммунизма!.. В наше время мы не только любили, мы боролись за свободу трудового народа.

— Хороша свобода! Да вы шагу ступить не даете без нотаций и замечаний!

— А тебе в таком случае свобода и не нужна. Без руководства и без помощи ни один человек не может жить. Для чего тебе свобода? Бездельничать? Мы свободу не для бездельников завоевывали, а для людей труда.

Лина взяла недокуренную сигарету, стряхнула пепел, затянулась, выдохнула дым.

— Отчего же так строго? Свобода есть свобода. А как я ее буду реализовывать, никого не должно касаться. Если мне и в самом деле предоставлена

свобода. Может, я сопьюсь и умру под забором. А может, я весь день на тахте пролежу и в носу ковырять буду!

— Это ты умеешь.

— Ну и что? Я не хочу бороться! Я хочу простого бабского счастья.

Лина вдруг заплакала, погасив сигарету.

— Я дура! Я его потеряла. Бабушка, что делать? Как мне быть?

Сердце потеплело. Лина назвала ее бабушкой. Бедная девочка! Ей плохо. Она должна ей помочь. Надо подойти разумно. Если у Лины с Тимашевым любовь, то нужны решительные средства, чтобы ее спасти. Надо принимать решение быстро и правильно, по-большевистски.

Лина продолжала плакать, даже не плакать — реветь, размазывая слезы и вздрагивая всем телом.

— Бабушка, я так несчастна! Он не вернется. Мужчины не любят, когда им говорят «нет». Я плохая. Не знаю, что со мной. Что мне, жалко, что ли, было ему уступить? Да ничуть! Чего жалеть-то? Моя душа — его. Тело жалеть? Хоть бы кто его забрал — мне все равно! Никому я не нужна, никому.

— Линочка, пожалей себя. Я подумаю, что сделать.

— Что мне себя жалеть? Для кого? Я конченная.

— Ты не должна так говорить. Все преодолимо, — говорила она, с трудом шамкая беззубым ртом. Кожа на голове была потной от слабости. Волосы, она чувствовала это, слиплись.

— Бабушка, а вы были счастливы?

— Да-а, — сказала она нараспев. — Я была счастлива. Борьбой за счастье других людей.

— А с дедушкой вы были счастливы?

— О-о! Это была великая любовь! Я не могла жить без него! И все равно я не хотела, чтобы он уходил из семьи. Но он не умел лгать. Твой дед считал постыдным, любя одну, жить с другой. Мы с Исааком были товарищи по борьбе. Любовь окрылила нашу борьбу. Надо уметь любить...

— А я не люблю?!

— Не суди по себе. — Эта глупышка не понимает, что у них с Исааком все было другое. Другое небо, другое солнце, зеленый океан, изнуряющая жара и прохлада парков, фонтаны на городских улицах, разговоры о смысле жизни, о предназначении человека — отдать свою жизнь за угнетенных! Все, все другое. — Это была великая любовь! — снова повторила она. — А ты живешь не так. Ты живешь пошло и ненужно. Поэтому не умеешь любить по-настоящему, жертвовать собой ради любимого человека.

Она сказала это, исполнившись вдруг жалости к себе. И осеклась. Все не то она сказала. «Тебе надо выйти замуж за Тимашева» — вот что она должна была сказать. Она же шла помогать, спасать. А стала упрекать. Это неправильно. Лина сейчас обидится и не будет дальше ее слушать. Так и есть. Лина поднялась, опершись своими смуглыми руками о стол, ее красивое лицо стало уродливым, когда она говорила зло:

— Это не моя жизнь, а ваша прошла напрасно и бессмысленно. Вы никому добра не принесли. Кто вокруг вас? Никого!

Эти слова показали ей вдруг такой ужасной правдой, что она, ничего не видя, чувствуя только головокружение, темноту в глазах, двинулась к двери, к выходу. И медленно, внутренне вся оседая, съеживаясь, уходя в небытие, поплелась по коридору в свою комнату. Вдгон летели жалкие слова:

— Роза Моисеевна! Бабу... Извините! Что с вами? Вам помочь?

Хватило сил громко ответить:

— Оставь меня в покое! Дай мне умереть! Что тебе еще надо? Оставь меня!

Глава XIII

НОЧНЫЕ СТРАСТИ

Оба несчастны они...
Овидий. Метаморфозы.

Он шел вдоль шоссе, потом свернул к дому. В ночной тишине был слышен затихающий вдали лязг трамвая. Фонари горели тускло, ветер к ночи немного приутих. Было темно и жутковато, и Петя невольно ускорял шаги. В полумраке его дом казался неприступной громадиной. Дом, построенный из кирпича, который обжигали зеки, как какие-нибудь рабы, что добывали и обтесывали в каменоломнях тяжелые камни для постройки древних крепостей. И черные железные пожарные лестницы, тянувшиеся от первого этажа до последнего, пятого, довершали сходство дома с крепостным сооружением. Железные лестницы на скобах — это запасной выход. Впрочем, выход мог оказаться и входом, лазом для врагов: грабителей, домушников, форточников и прочей нечисти. Поэтому из предосторожности нижние пролеты лестницы были забиты досками. Но ведь для проникновения внутрь дома возможна еще и измена. Кто-нибудь может оказаться на стороне врагов...

Он тихо отпер дверь, чтобы никого не разбудить. Лина, однако, еще не спала. Она выглянула из кухни. Вид у нее был усталый, измученный и мрачный, в правой руке она держала незажженную сигарету. Пете хотелось избежать беседы. Словно почувствовав его настроение, она спросила суховато:

- Это ты? Как спектакль?
- Нормально.
- Чаю не хочешь?
- Нет, я спать пойду. Завтра сочинение.
- Ну, иди. Правильно. Правильный ты мальчик.

Слова эти прозвучали обидно, но Петя постарался не обратить на них внимания и шагнул в свою комнату. Быстро снял костюм, переделался в домашние брюки и только тогда, уже окончательно почувствовав себя в безопасности, вернулся мыслями к прошедшему вечеру и задал сам себе вопрос: «Почему я не остался с Лизой? Может, я шизофреник? Так боялся, так всего трусил, что не заметил ее желания «провести» со мной ночь?.. Почему я сбежал? Этого тоже испугался? Говорят, что девушка в первый раз теряет много крови, что это — как рана. И не всякий, даже опытный, мужчина сладит с таким делом...»

Он вышел на балкон и вдруг услышал, как хлопнула бабушкина дверь. Через пару минут с кухни донеслись ее слова, слова Лины в ответ. Кухонное окно было на той же стороне стены, что и балкон, на котором он стоял. Но он старался не слушать, думать о своем. В детстве да и сейчас порой он любил воображать, стоя на балконе или во время гулянья становясь на ступеньки запертого и забитого изнутри парадного подъезда, что вот их дом отрывается от земли, плавно взмывает в воздух и летит. И под ногами у него не тротуар, на который только шаг шагнуть, а воздушная пропасть, сотни метров пространства, а он может вниз посмотреть, ногой над пропастью поболтать, но никто с земли, никакая нечисть его не достанет. Он в небе. И весь их многоквартирный дом не просто дом, а воздушный корабль, летающая крепость, на которую никто не может посягнуть. Одновременно и небесный странник, и уютное, обжитое жилище, дом с горячими батареями, ванной, теплым туалетом, встроенными шкафами, с телефоном, который все равно действует, с книжными полками, стеллажами с пластинками — и вот дом летит, а в нем по-прежнему живут с удобствами люди. В безопасности живут.

- Можно к тебе на минутку? — Голос у Лины был дрожащий.
- Разумеется.

Она вошла, ноздри у нее раздувались, дышала она затрудненно, глаза совсем почернели и опухли. Была она какая-то робкая, на себя непохожая, слов-

но не старше его, а младше, смотрела моляще. Халатик ее снизу был расстегнут и открывал высокие круглые колени. Красивые колени. Такими, во всяком случае, они Пете показались. Хотя он понимал, что о родственниках, а Лина как-никак, а все же двоюродная сестра, так думать нехорошо, тем более так смотреть на ее ноги. Но он не виноват: он сидел, и колени сами очутились перед его глазами. Он отвел глаза, но заметил, что Лина его взгляд уловила, вспыхнула, однако ничего ему не сказала. Вернее, сказала, но не об этом:

— Ты спать собираешься?

— Собираюсь. Завтра сочинение. По «Грозе».

— Выгоняешь? — усмехнулась Лина. — Мешать не буду. Пойду к себе.

Она поднялась со стула, но не уходила. Вновь разлепила губы:

— А ты не посидишь немного со мной? Хоть двадцать минут. Я тебя очень прошу! Я хочу с тобой посоветоваться! Ты же уже большой.

— Может, потом? — боязливо спросил Петя. — Так поздно!

Но чувствовал он, что исходит от Лины какая-то странная сила, которая туманит ему мозг и притягивает к ней, и он вроде бы даже жаждет ее отрицательно-повелительной реплики.

— Нет, сейчас! — настойчиво-капризно потребовала Лина.

— Хорошо, — ответил Петя.

— Я пойду лягу. На ногах не стою. А ты приходи. Я все равно не усну.

Шальная, тревожная мысль мелькнула опять у него в голове, даже не в голове, а прямо в теле, какая-то мысль-чувство. Он не посмел себе в ней признаться, но, влекомый ее зовом, повторил:

— Хорошо.

— Секунду, — сказала Лина. — Я только сигареты с пепельницей на кухне возьму и сразу лягу.

— Ты ложись, я принесу.

— Правда? Ты милый. — Она вдруг коротко рассмеялась каким-то горько-ироническим горловым смехом. И пошла к себе.

Взяв на кухне пачку «Явы», спички и пепельницу, Петя прошел в комнату Лины. Она уже лежала в постели, точнее, сидела в подушках, укрытая по пояс одеялом, в одной ночной сорочке, довольно просторной и прозрачной, с короткими рукавчиками, большим вырезом, сильно открывавшим ее крупную красивую грудь.

— Давай сюда. — Она взяла пепельницу, поставила ее рядом с лампой. — А сам садись.

Петя присел на край постели, протянул ей пачку сигарет, зажег спичку. Лина привычно затянулась, стряхнула пепел, быстро набежавший на кончик белой сигаретной палочки.

— Ты сам закуришь?

— Ага.

Он закурил. Она взяла пепельницу, поставила на постель между ними. И лихорадочно заговорила:

— Я о Тимашеве... Ты можешь его понять? Ты же большой, ты же мужчина!.. Он мне цветы носил. Еще в мою коммуналку. Вся комната была в цветах! Клялся, что цветами мой путь устелет. Я знаю, что я красивая, всегда знала, что мужчины хотят меня, влюбляются в меня. И он любил. Вроде бы и сейчас любит! А сам!.. Я, Петька, ничего не понимаю. Почему он все время меня бросает? Почему? Что его держит?! Жену он не любит. Сын уже взрослый. И она его не любит! Но это у нас так принято — с нелюбимыми жить. Все, как на подбор, Татьяны Ларины! Или я не хороша собой? А! — махнула она рукой. — Черт с ним! Пусть живет со своей законной и мучается! Правда, братик?

Она говорила совершенно как безумная. А тут еще схватила Петю за руку и шепнула диким голосом:

— Я хочу отомстить Тимашеву, отомстить самой себе!

Голова у Пети стала совсем в тумане. Та невнятная мысль, которую он ощутил несколько минут назад, стала крепнуть, но все равно он боялся дать ей волю.

— Как твои дела с Лизой? — спросила неожиданно Лина.

Петя не ожидал этого вопроса, но ответил быстро:

— Нормально.— Ему захотелось выглядеть удачливым мужчиной. Поэтом интонация была такая, будто он что-то не договаривает, щадит честь своей дамы.

— Ты молодец,— польстила ему Лина.— Никогда никому не рассказывай о своих взаимоотношениях с любимой женщиной. Это касается только вас двоих. Правда?

— Правда,— ответил Петя, которому и нечего было рассказывать. Ничего такого они с Лизой не делали.

— Но брату с сестрой о многом можно поговорить. Мы же с тобой кузен с кузиной, если по-старинному. А так мало откровенничаем по душам. С кем же еще поговорить! Разве я не права?

— Права, конечно,— растерянно пробормотал Петя, одурманенный ее голосом, движением рук, скачками речи.

— Скажи, ты меня осуждаешь за мои отношения с Ильей? Я же видела, как ты на меня там посмотрел.

— Как? — глупо, зная наперед ответ, спросил Петя.

— Как мужчина. Не красней, это естественно, ты уже большой, взрослый. Вот и скажи. Только пойми: я не ханжа. Мне это тоже нужно. Всякой женщине, как и мужчине, это нужно. Но я ему сегодня отказала. Практически выгнала. Я не могу делиться с другой.

Петя напыжился, стараясь и впрямь казаться взрослым:

— Я понимаю.

А она говорила быстро, почти в истерике:

— Думаешь, мне легко? Да и ему тоже несладко. Бедный он! Мучается. И с женой, и с сыном, и со мной. Мне кажется, он начинает меня ненавидеть.

— По-моему, ты преувеличиваешь.

— Если бы! Он мне как-то спьяну по телефону сказал: «Тебя надо отрицать!» За что? Я не понимаю. Что я ему плохого сделала? Он же меня любит! Говорит, что лучше меня у него нет и не было женщины. Но все время убегает от меня. Ты же мужчина, Петя, объясни, что это значит? Я сильная женщина, но я боюсь одиночества. Я бы все для него делала! А он не хочет. В чем я перед ним провинилась, что он меня разлюбил? Ведь совсем недавно встречал меня с работы, провожал до дома. А потом исчез и появляется теперь, только подвыпив и раскрепостившись. И все равно, хоть я говорю, что он меня разлюбил, сердцем чувствую, что это не так, что его ко мне влечет. А к жене уже нет. Во всяком случае, как к женщине. Я это вижу. Но со мной связать свою жизнь он не хочет. Разве я плохая?

Глаза ее расширились диковато.

— Да нет, ты чудесная женщина,— бормотнул Петя, мало что соображая, и погладил ее по голой руке. «Безнравственно я себя веду»,— мелькнуло у него в голове.

— Может, я некрасива? — говорила Лина.— Грудь у меня не хуже, чем у восемнадцатилетней.— Она обеими руками натянула сорочку, чтобы отчетливее обрисовались груди, но Петя и так все видел, и без того в затылке у него продолжался непрерывный звон.— Чем я ему не угодила? Такую фигуру, как у меня, не так просто найти! А бедра? — Она откинула одеяло, и Петя увидел, что рубашка ее взбилась выше колен; лицо его запылало.— Ты краснеешь? — удивилась Лина.— Я думала, Лиза тебя уже воспитала. А ты так краснеешь, будто никогда не видел обнаженной женщины. Бедненький! — Она запахнула одеяло.— У тебя что, с Лизой ничего не было? Ладно, не отвечай.

Она натянула одеяло на плечи и снова засмеялась горловым смехом. А у Пети в глазах только ее грудь, ноги, бедра. «Она же моя сестра»,— подумал он, но плоть его, тишина и спокойствие квартиры как будто подталкивали к Лине, а звон в голове заглушал праведные мысли. Став коленями на кровать, он неумело ткнулся ей губами в подбородок, а руки попытался запустить под одеяло.

— Ты что, миленький? — Лина уперлась ладонями ему в грудь.— Ты ошибся. Тебе, конечно, нужна учительница. Но я для этого не гожусь. Поищи в другом месте. Ты меня неправильно понял.

— Прости.

Он встал на ноги, стесняясь, прикрывая себя рукой, пошатываясь и стараясь повернуться к ней боком. Бледный, униженный, оскорбленный и несчастный.

— Петя,— вдруг услышал он и шагнул в сторону от кровати, отрицательно помотав головой, ожидая упреков. Но голос был ласков.— Бедный! Тебе обидно? Все я виновата. Ну поди сюда, помиримся. Я все же чудовище. Но если бы ты знал, как я несчастна! Что ты прикрываешься и отворачиваешься? Вот глупый! Подойди ко мне.

Петя приблизился.

— Я виноват,— прошептал он, словно в школе оправдывался перед завучем.— Мы же с тобой брат и сестра.

— Какая чушь! — прозвучало в ответ.— Брат и сестра!.. Все относительно. И чудесно, что мы брат с сестрой! Ты такой бледный,— лепетала она, взяв его за руку и притягивая к себе.— Ну, наклонись, я тебя пожалею. Солнышко, братишка мой! Мы же с тобой очень дальние родственники, нам по закону даже жениться можно, мы же с тобой дальше двоюродных. Но я все равно хочу считать тебя своим братишкой. У меня ж никого нет. Я совсем-совсем одна. У тебя отец с матерью, они вернутся скоро, а я снова в опостылевшую коммуналку. У тебя Лиза. А кто у меня, кто со мной? Что у меня? Я очень хочу, чтоб мы были близки. Как этого достичь? — Она глухо и невесело рассмеялась.— У женщины для этого только один способ.— И, подтянув его к себе, она неожиданно принялась ему расстегивать пуговицы на рубашке и брюках.— Сними ты эту чушь! — шептала Лина.— Тебе удобнее будет.

Петя раньше, когда пытался представить себе это, не мог вообразить не только самого акта, но еще больше — момента, ему предшествующего, то есть чисто технологических действий, связанных с раздеванием — не женщины, себя. Какая-то деловито-бытовая подробность виделась ему в этом, уничтожавшая самую возможность страстного соединения двоих. Но оказалось, что он и не почувствовал, как в секунду освободился от одежды, оставшись лишь в трусах, и уже лежал под одеялом с Линой.

— Сними, все сними,— говорила она, прижимаясь.— Я тоже, погоди, рубашку сниму.— Она приподнялась на секунду и выскользнула из ночной сорочки.— Просто полежим рядом. Мне так нужно кого-нибудь обнять, прижаться к кому-нибудь. Чтобы себя забыть. Я так несчастна!... Забыться! Это и есть мечь себе!

Она словно бредила, прижимаясь к Пете, стискивая его руками. «Мечь?» — удивился он, но в этот момент Лина провела рукой по его бедрам, стаскивая трусы, и сладкая молния пронзила его, и он перестал удивляться и что-либо соображать. Петя впервые в жизни ощущал голое тело женщины, но, чувствуя напряжение своей силы, не умел ею пользоваться. А Лина будто не замечала, не ощущала его напряжения и дальше не хотела помогать ему. Рука ее была на его груди. Он резко повернул ее на спину и попробовал, навалившись сверху, раздвинуть ей ноги.

— Малыш, маленький мой, не торопись, не глупи,— не даваясь, смеялась она нервным смехом.— Зачем спешить? Все испортишь. Поцелуй меня сначала, погладь, приласкай. Мы же не собаки. Собаки и те не торопятся. Ну не лезь ко мне, я тебе сказала! Погоди. Не умеешь — не лезь! Я не просто так хочу. Я хочу спастись, забыться. Я с ума схожу. Уже сошла. Пусти же! Ну и колода ты! Совсем неповоротливый. Что ты с Лизой делать будешь? Такой тюлень, даже противно! Ну, не сердись, братишка, я сумасшедшая!..

Но достаточно было и двух холодных слов неопытному, чтобы сила вдруг покинула его. Он испугался, что опозорился навсегда, что и в самом деле у него никогда не получится, лег на спину, и слезы покатились у него из глаз.

— Ну что ты опять лег как колода?! — Тут она неожиданно увидела, в каком он состоянии, и ахнула:— Что я наделала? Бедненький мой! Я чудовище. Не сердись, ты не виноват. Это я всему виной. Не торопись. Я попытаюсь тебе помочь. Родной мой!

Ее руки гладили его тело, а он уже не хотел ее, он вспомнил Лизу, и от обиды и злости на себя слезы продолжали течь по его лицу. Слова Лины сначала ранили его, а теперь старались утешить, но не утешали, не возвращали силы.

— Со мной трудно. Я сама себе противна. Отвратительна. Я всем приношу несчастье,— бормотала лихорадочно Лина.— От меня, наверно, не исходит добра. Я тебя обидела. Ну ничего, полежи тихонько, все вернется, все хорошо будет.

Она вытирала ему слезы, старалась заглянуть в глаза, но он плотно сжал веки, чтоб ничего не видеть.

— Ляг ко мне на плечо.

Он послушно-механически выполнил ее приказ. Но по-прежнему ничего не испытывал, кроме страха и желания убежать подальше, забыть навсегда сегодняшнюю ночь. Лина гладила его грудь, правый бок, живот, нежно касалась его мягкой плоти и ворковала виновато:

— Ты ни при чем, не переживай. Не бойся, мужчина не должен бояться. Приободрись.

Казалось, конца не будет этому ужасу и позору. Телефонный звонок в ночи раздался особенно громко и неожиданно. Они вскочили на колени друг против друга, забыв о своей наготе. Вначале они даже не поняли, откуда этот звон, и испуганно переглянулись. Первая мысль была привычно-тревожная: что-то с бабушкой случилось, и она зовет их своим звонком. Но вторая трель показала им, что это всего-навсего телефон. Хотя странно и жутковато было: среди ночи им кто-то звонит. Таких знакомых они не имели. Даже Лина. Не вставая, они посмотрели в сторону кухни. Может, перестанет... Петя бы и подошел, но боялся, что Лина станет его презирать за бегство.

— Сними трубку, я не буду вставать,— произнесла она.— Какой-нибудь пьяный дурак звонит.

Петя догадался, что она подумала о Тимашеве.

— Скажи ему, что я сплю. Пусть убирается!

Петя вскочил, торопливо нашел под одеялом трусы, натянул их, затем брюки и рубашку, радуясь неожиданному избавлению и горюя только об одном — что после разговора ему придется все же возвращаться назад, в койку к Лине.

— Скорей, а то ее разбудит! — крикнула вдогонку Лина. Она тоже накинула халат и села на постели, спустив ноги.

Петя поднял трубку. И услышал незнакомый, раскатистый, уверенный голос, который нахрапом пер в уши, не давая себя остановить, прервать:

— Владлен Исаакович? Это Каюрский. Мы с вами как-то встречались, если помните. Я из Сибири, из Иркутска. Прилетел на запад, в Москву то есть, правды искать. Ненадолго, дня на два. За наше общее дело, за марксизм-ленинизм борюсь. Хотят у студентов-естественников курс по марксистско-ленинской философии сократить. С этим бороться надо! Я Розе Моисеевне хоть и не писал об этом, но уверен, что она поможет. Не на того напали, руки обломают. Я же медвежатник. Я сегодня весь день по Москве ходил, понял. Я ж среди всех этих людишек как марсианин какой! Они ж мне все по плечо! Здесь все всего боятся. А у меня вообще нет страха. Знаете, если вы у нас под Иркутском войдете в лес, то увидите: стоят березы, согнутые, их снегом зимой согнуло, так и остались навсегда изуродованными, склоненными даже летом. Но зато есть и прямостоящие. Так и люди в Сибири: есть жизнью навсегда согнутые, зато кто выстоял, то уж крепче крепкого. Вот я — прямостоящий. И меня не согнуть! Впрочем, извините, что так поздно. Но я час назад звонил, и мне Роза Моисеевна разрешила приехать, одну ночь у вас переночевать. Просила только перезвонить.

Петя не успевал вставить ни слова: едва он открывал рот и издавал то звук, то писк, надеясь превратить их в нечто членораздельное, как отступал под напором чужих слов. Но сообщение, что незнакомец говорил с бабушкой, было немислимо. Да еще час назад! Мистика. Будто бабушка решила спасти его от Лины. Напористый голос затих, и, тряхнув головой, Петя вклинился в разговор:

— Это не Владлен Исаакович.

— А кто же?

— Его сын.

— А! Петр! Петька! Слышал о тебе. Вот заодно и познакомимся. Не боишься незнакомца пускать? Мы, сибиряки, хоть и гостеприимны, но чужого так сразу на порог не пустим. Лихих людей у нас, ох, как много! Но тебе порукой за меня слово твоей бабушки. Так что диктуй адрес.

Поколебавшись всего ничего, Петя принялся объяснять адрес и как проехать. Этот ночной визитер был спасением, выходом из дикого положения. Лина подошла в запахнутом халатике, выражая глазами вопрос, неудовольствие, даже возмущение. Петя, однако, продолжал объяснять. Если б Лины не было и не боялся бы он остаться с ней наедине, он еще поколебался бы пускать незнакомца ночью в дом. Но сейчас!..

— Кто это? — злым шепотом спросила Лина.

Петя пожал плечами, показывая, что не может сейчас ответить.

— Ты что, с ума сошел? — спросила Лина, когда он положил трубку. — Кто это? Куда мы его положим?

— Положим ко мне в комнату. Я на раскладушке, он на диване. — Петя так рад был этому гостю, что совершенно утратил привычную ему осторожность. — Какой-то бабушкин знакомый из Сибири, кажется, из Иркутска. Он час назад с ней по телефону договорился, что переночует у нас.

— Что? — воскликнула Лина. — Да она весь день к телефону не подходила даже. Вот это номер!

Петя испугался неожиданной верности своего предположения о мистике, но ничего не сказал. А Лина криво усмехнулась и буркнула, глядя в пол:

— Бабушка тебе ворожит. А может, и мне тоже. Мудрая старая ведьма. А ты не переживай. У мужчин дурное свойство считать такую неудачу поражением, почти катастрофой. Все у тебя будет хорошо, нормально. А сейчас давай гостя ждать.

Глава XIV

НАУТРО

Я был рожден для жизни мирной.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

Каюрский помог им пережить тот вечер. Пете, во всяком случае.

«Она ненормальная», — думал он о Лине, когда они в кухне ожидали гостя. Лина была не в себе: вздергивала плечами, что-то неразборчивое бормотала, к самой себе обращаясь, пару раз ударила себя кулаком в грудь. Она уже оделась в строгое платье с длинными рукавами. Петю она не отпустила, требуя, чтобы он сидел рядом, пока она готовила чай для незнакомца. А Пете хотелось скрыться с глаз долой, пережить наедине с собой происшедшее. Он еще ощущал ее ладони на своем теле, в самых интимных местах. А она — будто ничего не было — строга, сурова, безумна.

Потом села за стол напротив него. Закурила и заговорила, не глядя ему в глаза:

— Не бойся, голубчик. Все прошло. Порочная женщина отпускает тебя к твоей Лизе.

Петя хотел пискнуть что-то в ответ, что, мол, не надо себя так называть, но она перебила его:

— Прости. Я знаю, что говорю. На меня нашло. Хотя я совсем не такая, как тебе могло показаться. Но вела я себя как тварь, как дрянь. Я себе и тебе напакостила. Просто я рождена для семьи, а семьи у меня нет. В этом все дело. Я была бы Илье хорошей женой. Если он узнает, что я натворила, он меня окончательно бросит. Мужчины такого не прощают.

Тут забренчал дверной звонок.

Вначале Пете показалось, что в дверь вошел дуб, из которого росли крупные сучья, обозначавшие руки и ноги. Потом Каюрский напомнил ему стенобитную машину из учебника истории, заключенную в практически не пробиваемый корпус. Но лицо было широкое и добродушное, под густыми, собранными в травяной пучок бровями маленькие, незлые глаза, как у медведя. Петя сразу почувствовал, что с ним надежно и нестрашно. Лина посмотрела угрюмо и не осталась с ними. Сумрачно кивнув гостю, сказала:

— Здравствуйте. Петя вам постелит и чаем напоит. А меня, пожалуйста, извините, я себя плохо чувствую и пойду лягу.

— Ишь ты,— буркнул вошедший, глядя ей вслед,— она что, всегда такая сердитая? Или только меня не удостаивает? Рылом я ей, что ли, не вышел?

Петя ничего не ответил, растерявшись от прямого вопроса.

А вошедший продолжал гудеть:

— Ладно. Покажи, где руки помыть... Чаю мне ее не надо, я сыт. Вот в гости ко мне на Байкал приедешь, тогда узнаешь, какое оно, сибирское гостеприимство. Хариусом угощу. Пирог черемуховый жена испечет. Пельменями сибирскими накормлю. Меньше ста штук и не съешь. Это не покупное — сами делаем. Что смотришь? Я сибиряк коренной, из раскольников. Среди моих предков и хлысты были. Истину искали так. Даже в дальнем родстве с Гришкой Распутиным нахожусь. По материнской линии. Он ведь тоже в хлыстовских рadeниях участвовал. А я вот марксист.

Совсем растерявшись от этих слов, от предложения поехать в Сибирь, Петя забыл про чай, а гость не напомнил. Они прошли в Петину комнату. У Каюрского были с собой чемодан, который он оставил в прихожей, и портфель, который он внес и поставил на Петин стол.

— Бумаги там важные, с бюрократами борьбу веду,— пояснил он.— Приехал драться за право философию естественникам преподавать. А вижу, что всю Россию спасать надо. Рыба с головы гниет. Это тебе любой рыбак скажет. А Москва, хоть и столица, тухнуть и гнить начала. Даже покормить не могут. Я тут в кафе курицу на обед взял. Но это, извините, та курочка, которую петух не захотел догонять. А разговоров я за этот день наслушался — у меня вся шерсть дыбом встала! Веру потеряли. А нас, сибиряков, не сломаешь. У нас марксизм долго оседал. Теперь вы про него позабыли, а мы учение в чистоте храним. Сибиряки — скала. Ты на Лене бывал? Нет? Так послушай.— Он сел прямо в брюках на постель, от него остро пахло потом и несвежим бельем.— Ты поймешь, в какой мощной красоте мы живем. Представь: на восходе солнца ты плывешь по Лене, и вот появляются сначала небольшие каменные фигуры, потом они как бы сгущаются, начинают собираться в какие-то загадочных очертаний небоскребы, а над ними, вверх по горе — лес, тайга. Но, естественно, Петька, это не небоскребы. Небоскребы — чушь, мелочь, руками сделаны. Все дело тут именно в том, что перед нами творение природы, а она не терпит искусственности. Ты парень умный, должен понять.

Он говорил, размахивая руками, временами вставал и делал несколько шагов от двери к окну и обратно между диваном и раскладушкой, где уже под одеялом устроился Петя.

Пете хотелось спать, веки закрывались сами собой, и он бы так и заснул посреди речи Каюрского, если б не подозрение, которое неожиданно пришло ему на ум: а тот ли это человек, за которого себя выдает? Холод прошел по спине, дремота слетела прочь, и Петя, не меняя положения тела, чтобы пришелец не заметил его волнения, припомнив судорожно, что он слышал от бабушки о Каюрском, встрял как бы между прочим в разговор:

— А вы в Иркутске кем работаете? Где?

— Профессор я в университете, завкафедрой. Я ведь акын по натуре, мне к людям обращать надо лицом к лицу. Но пою свое, ни одной фразы не говорю, если она моих убеждений не выражает. Я марксизм-ленинизм отстаиваю. Понимаешь? У вас все скурвились, робеют марксистами называться. А я никого не боюсь. Я все равно святыню буду защищать, пусть все ее бросят! Приспо-

собленцам плевать на подлинные идеалы: А за эти идеалы люди гибли, настоящие подвижники, вроде Розы Моисеевны. Ты, Петька, не крути головой. Я понимаю, что она не погибла. В революцию и гражданку ее здесь не было. Но ведь могла погибнуть! И до революции, и в Испании, и в застенках этого гада Ежова!

Петя успокоился, опустил голову на подушку. Каюрский оказался тем самым Каюрским, о котором он слышал от бабушки. Да и не похож был на разбойника, скорее на защитника. Безусловно, он и в самом деле знал бабушку, а главное — хорошо к ней относился.

— Роза Моисеевна меня прямо и смелости учила. Всем говорить правду в глаза. Она никого не боялась: ни парторга, ни ректора. Говорила, что думала. А думала она правильно, по-марксистски!.. Про вашу нацию говорят, что очень трусливая, что евреи вообще не гибли, за чужими спинами прятались. Но я ему, который так говорил, в морду дал. Ты, говорю, статистику знаешь? Нет? То-то! На смерть шли, на эшафот, под пули! Десятки тысяч! Я зна-аю. У нас в Сибири евреев всегда уважали как людей. Это вы наших писателей юдофобской мерзости обучили. Я вообще не люблю этих, которые всюду виноватых ищут вместо того, чтобы на себя поглядеть. Ты как думаешь? Они вообще про вашу нацию черт-те что говорят. Что вы, мол, пришельцы, инопланетяне то есть. Я не верю, хотя заманчивая идея...

Больше Петя ничего не слышал, потому что вдруг в момент отключился и уснул.

Проснулся он, когда еще не было семи. Каюрский храпел, лежа на спине с открытым ртом. Как прекратить этот храп, Петя не знал, поэтому предался любимому занятию: думать, мечтать, вроде бы рационально что-то обдумывая и решая, а на самом деле отдаваясь полусонному еще состоянию. Надо было обдумать вчерашнюю ночь. Но тут его блуждающий взгляд упал на будильник. Полвосьмого! Пора вставать! Он сел на постели, потянулся и тут почувствовал в верхней части живота сосущую пустоту, а в душе горечь, точно он совершил вчера какую-то пакость и сегодня его ждет расплата. Он сам не мог понять, с чем связано это чувство. С Линой? Или Лизой? Или с Герцем и Желватовым? Очевидно, со всем вместе.

Петя встал, пошел в ванную умываться и чистить зубы, но там подумал, что надо бы смыть с себя вчерашнее, и полез в душ. Когда он вернулся в комнату, Каюрский уже сидел среди скомканного одеяла и смятых простынь, в кальсонах, спустив ноги на пол, с обнаженным торсом, зевал и почесывал пятерней широкую грудь.

— Ну что, Петька, вставать будем? — загудел он.

— Тсс,— сказал Петя, приложив к губам палец, но кивнул, что, конечно, будем.

После душа особенно отчетливо почувствовался в комнате тяжелый, спертый дух, запах пота и невымытого тела. Пробравшись между раскладушкой и ногами Каюрского, Петя открыл балконную дверь. Свежий холодный утренний воздух наполнил комнату. Стало легче дышать.

— Сейчас чайку попьем, и в баньку схожу,— сообщил Каюрский.— Страннику с дороги надо помыться.

— Так вот же ванная, пожалуйста,— удивился Петя.

— Не, я попариться хочу, всю грязь, весь пот из тела выгнать. У меня в чемоданчике с собой и белья смена, и веник. Попарюсь — приду с Розой Моисеевной беседовать. А портфель мой с документами пусть у тебя пока в комнате полежит. Ничего?.. Он кушать не просит.

Пока Каюрский ходил в туалет, мыл руки и чистил зубы, Петя быстро убрал постели. Он услышал, как Лина пошла на кухню ставить чайник. Услышал гудение Каюрского:

— Я не успел вчера представиться. Николай Георгиевич Каюрский. А вас как?

— Лина.

— Странное имя. Оно полное?..

— Полное — Ленина, Ленина Карловна.— Голос у Лины был усталый, но спокойный и даже приветливый. Будто вчера ничего не было.

— А!.. Молодцы родители, хорошо назвали. Зря только ты имя свое по-еврейски сокращаешь.

— Что делать? Во мне четверть еврейской крови! — с вызовом сказала Лина напряженно-горделивым тоном.

— Да ты что, девочка, расслабься, я же интернационалист.

Не дослушав их пичирюки, Петя отправился вниз за газетами — это входило в его обязанности.

— Дай-ка мне, — перехватил «Правду» Каюрский.

Он читал, Петя пил чай, Лина готовила бабушке завтрак.

— Пойди разбуди ее, — сказала она наконец Пете.— Все уже готово. Пусть умывается.

Что-то кольнуло Петю, не по себе ему сделалось.

— Я уже в школу опаздываю. Да и бабушку не надо будить, раз она спит.

Он выскочил в коридор, подхватил свой пригословленный с вечера портфельчик, но все же на секунду не удержался и приостановился у бабушкиной двери. Прислушался, смиряя жуть в душе. В комнате было тихо. Петя замер, сердце его тоже почти остановилось. И вдруг снова застучало: он с облегчением услышал, как скрипнул бабушкин диван. Сняв с вешалки куртку, Петя вышел из квартиры.

На лавочке под балконом, между подъездами, прикрывавшими их от ветра, уже сидели старухи: толстая, громоздкая, в черном пальто Меркулова и маленькая, в вязаной кофточке, узкоплечая, плоскогрудая Матрена Антиповна. «Значит, у Меркуловой ночевала», — подумал Петя. Черная пуделиха Молли неторопливо, со старческой одышкой обнюхивала кусты на краю газона.

— Здравьете! — бросил на ходу Петя.

Но они остановили его.

— У вас, говорят, ночью «неотложка» была? — строго, но с бесконечным любопытством по поводу жизни, смерти, болезней спросила Меркулова.

— Нет, с чего вы взяли? — холодея, ответил Петя. Ему опять стало не по себе.

— Да это я, Петя, — угодливо склонившись, прошептала виновато Матрена Антиповна, — не спала, слышала, как в вашем подъезде дверь хлопнула. А потом к окну подошла, форточка-то открыта была, а из квартиры у вас голоса доносятся. Один голос мужской, незнакомый. Я и подумала, что Роза Мойсевна отмучилась, а врач приехал смерть свидетельствовать.

— Это к нам гость приехал. Вот дверь и хлопнула, — добросовестно объяснил Петя.

— Умерла, значит, — сказала Меркулова, не слушая его, и перекрестилась.— Хоронить-то где будете? С Исааком Мойсеичем рядом?

— Нигде. Бабушка жива.— Отвечая, Петя почувствовал, как у него заныло все внутри.

— Ну и ладно! А мы уж решили, что все, отмучилась. Это Матрене Антиповне все не спится.

— Какой уж у меня сон? Старая совсем. Таблетки не помогают...

Петя двинулся к трамвайной линии, оставив их обсуждать снотворные таблетки.

Тимашев вышел из дома с омерзительным чувством в душе, в котором сошлись раздражение на сына, ненависть к себе, стыд перед женой и тоска от невозможности сызнова почувствовать к ней любовь. В голове крутились почему-то блоковские строчки: «О, Русь моя! Жена моя! До боли...» Дальше строка обрывалась, как он ни напрягал память. Веселая, талантливая, отзывчивая, а порой беспощадно непримиримая и жестокая Элка лучше всего чувствовала себя среди гостей. Немецкой педантичной рабочей усидчивости ей не было дано. Если что у нее получалось, то одним махом, одним духом, если же требовалась долговременная работа, то и Бог с ней, тогда и не надо никаких ре-

зультатов. Как получилось, что, дожив до сорока лет, он разлюбил ее? Хотя и не церковным браком венчан, но ведь принял он на себя в молодости ответственность за ее судьбу. И за судьбу сына тоже. А с утра он опять поссорился с сыном, хотя и старался сдерживаться.

Сын все же вчера явился, часам к двум ночи. Следом приехала жена. Илья проснулся, но поскольку уже лежал в кровати, то счел для себя возможным не выходить их встречать. Жена открыла дверь в его комнату. Он лежал, закрыв глаза. Похоже, она догадалась о его притворстве. Илья это понял по тому, как долго она стояла, однако вышла, ничего не сказав. И он в самом деле тут же уснул.

Проснулся поздно, около восьми. Лежал на спине, как и заснул, когда притворялся спящим. Обычно он без всякого будильника вставал часов в семь: привык поднимать сына в школу. И в этот раз он постучал сыну в дверь и крикнул, чтобы тот вставал, что уже без пяти восемь. Сын пробурчал сердито, что проснулся и уже встает. Надо было бы проверить, действительно ли он встал, но Илья, не желая нарваться на утреннее хамство невыспавшегося Антона, вернулся в свою комнату.

Он снова прилег, чувствуя, что начинает нервничать, «заводится», по выражению сына. А как было не заводится, когда в собственном доме он должен быть все время готов к обороне от резкостей близких людей! Сына!.. Пытаясь успокоиться, он принялся вспоминать рассуждения стоиков, учивших мужеству жизни. Поглядел на Сенеку, лежавшего на столе, но брать его в руки не стал, потому что ничего, кроме рассуждений о добровольной смерти, которая и есть истинное мужество, он припомнить из его «Писем Луцилию» не мог. Все вспоминалась история про раба, которого везли на казнь, а он сунул голову в спицы колеса телеги, чтобы умереть по своей воле. Потому что мы не вольны в своем рождении, но вольны в смерти. А в жизни?..

Он посмотрел на часы, прислушался и сообразил, что сын так и не встал. Подойдя к двери Антона, еще раз постучал. Оттуда сонный, как он и ожидал, голос бормотнул:

— Сколько времени?

— Десять минут девятого.

— Что?! Что ж ты меня раньше не разбудил?! Теперь я из-за тебя опоздаю.

Открылась дверь, и выскочил в одних трусах сын, взлохмаченный, длинноволосый, с крестиком на голой груди, стройный, мускулистый, так непохожий на ширококостного Илью. Выглядел он раздраженным и по дороге в ванную почти оттолкнул отца.

— Я тебе пятнадцать минут назад кричал и стучал,— пытался миром говорить Илья, оправдываясь.— Ты же мне ответил, что встаешь.

— Будто ты не знаешь,— донеслось из ванной комнаты,— что я не сразу просыпаюсь? Все принципы ломаешь, думаешь приучить меня самого рано вставать,— накручивал себя Антон.— Теперь из-за тебя мне выговор будет! — И вдруг, хлопнув дверью, вышел из ванной.— Никуда я не пойду!

— Антон, ты еще успеешь,— вместо «не хамя» сказал Илья.— Умывайся, одевайся, а я чайник поставлю. Он быстро закипит.

— Не надо мне твоего чая. Сам его пей! — Сын двинулся в туалет, демонстративно не торопясь.

Илья униженно сказал вслед:

— Я все же чайник поставлю,— и пошел суетиться на кухню.

Он поставил чайник, нарезал хлеб, достал масло, колбасу. Потом, сообразив, что времени у сына и впрямь в обрез, принялся делать ему бутерброды. Потом пошел звать сына. Антон, уже в джинсах и свитере, ростом чуть выше Ильи, двинулся на кухню. Сквозь оставленную им открытую дверь Илья мог видеть комнату-логовище с незастеленной постелью и пепельницей, полной окурков, рядом с кроватью. Антон взялся за чайник.

— Опять налил почти полный! Только о себе и думаешь. Я же и так из-за тебя опаздываю! Сколько мы с мамой просим — полный не наливать! Ну и пей сам!

— Ты совсем обалдел?! — не выдержал Тимашев.— Ты как с отцом разговариваешь?

А ведь все время говорил себе, что только мягкостью и терпимостью можно Антона излечить от грубости. Сын вместо ответа, не беря приготовленных отцом бутербродов, схватил кусок хлеба и принялся намазывать его маслом, не глядя на отца. Илья снова попытался набраться терпения.

— Я понимаю, что с престарелым отцом говорить, конечно, неинтересно,— никак не мог он найти верного тона,— но, может, дело не во мне? Я знаю ребят почти твоего возраста, которые слушают, что я говорю, и, смею думать, не без пользы.— Он подумал в этот момент о Пете.— И мне обидно, что мой сын лишает себя этой возможности.

— Вот с ними и общайся! — отрезал Антон.— Сам где-то шляешься, пьянствуешь, а тут морали разводишь.

— Я просто побеседовать с тобой иногда хочу.

— А я не хочу. Все. Пока.

— Антон! — крикнула вдруг из своей комнаты Элка.

— Что?!

— Поди сюда!

— Я опаздываю.

— Ничего, зайди. Если надо, то и опоздаешь.

Характер у Элки был не в пример Илье, сам тон ее не допускал возражений. Илья понимал, что парню не хочется, что потом он, пожалуй, даже и отхамит, но послушаться тоже не может. Антон вошел.

— Закрой дверь! — опять приказала Элка.

Дверь закрылась. Из комнаты послышалось ворчание Антона.

— Не смей грубить отцу! — донеслось затем.— Ты что себе позволяешь? Отец в тебе, маленькой свинье, души не чает!.. А ты?!

«Раньше надо было это говорить,— закусил губу от жалости к себе Илья.— А не посмеиваться над желанием мужа писать «никому не нужные статьи», вместо того чтобы ночи напролет сидеть с гостями и слушать ее гитару и песни».

— Ах, свинье! — выкрикнул Антон.— Нам тогда не о чем говорить!

— Вернись, я еще не все сказала. Речь не о твоём самолюбии, а о душевном спокойствии отца. Он на службу ходит, статьи пишет, на учителей тебе зарабатывает. В техникум архитектурный тебя запихнул. Не забывай, что Леня Гаврилов, который тебя туда тащил,— друг твоего отца.

Илья побледнел, затем почувствовал, что покраснел от сжавшего сердце чувства стыда за самооправдания и жалость к себе. Ушел в свою комнату. Бедная Элка! Он вспомнил, что ему, Илье, она, напротив, произносила речи в защиту сына: «У парня тяжелое время, затянувшийся переходный возраст. Будь снисходительнее! Ведь из вас двоих ты старше. Не забывай этого! Парень мучается, не знает, что ему с собой делать, не может найти себя. Нотациями тут не поможешь. Только терпением». Но терпения и у нее было немного, она срывалась, кричала на Антона. И все равно каким-то образом находила с ним общий язык. Может, благодаря гитаре.

Открылась дверь, вошел сын.

— Папа, прости меня. Я был не прав.

— Ну что ты, милый! Я не сержусь. Просто расстроился.

Он притянул сына к себе и поцеловал в щеку. Тот вначале подставил лицо, а потом вдруг сам прижался к Илье и поцеловал его в ответ.

— Я больше не буду. У меня так бывает. Неизвестно с чего крыша вдруг едет. На меня и другие обижаются. Даже подружки. Ты уж не сердись на меня.

— Ничего, ничего,— говорил Илья.

— Ну, я побегу, ладно? А то опаздываю...

— Конечно, конечно...

Сын выскочил, хлопнула входная дверь. Чувствуя себя не в силах смотреть Элке в глаза, через пару минут Илья вышел тоже, не заходя к ней в комнату.

Внизу, у лифта, около решетчатой двери в подвал, как всегда, стояло днище молочной коробки с остатками молока, из-за решетки светились кошачьи глаза, на полу в подъезде валялись скомканные пачки из-под сигарет, обрывки оберточной бумаги, пустые кульки и прочая шелуха, которую жильцы и случайные обитатели подъезда бросали там, где стояли, не утруждая себя десятью метрами до мусоропровода. Впрочем, уличные ящики тоже были переполнены: мусор давно не вывозился. В утреннем воздухе, пока не разъездились машины и не перебили все остальное своей гарью и выхлопными газами, сладковато-тошнотворный запах помойки был силен и резок.

Глава XV

ВОЛЬЕР

Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

Редакцию он называл в мыслях вольером. То есть огороженным местом, где зверям позволено слегка резвиться. Для журнальной работы требовались раскованность и умеренный цинизм.

Он подошел к двухэтажному особняку постройки еще прошлого века. Теперь здесь помещалась их редакция. У крыльца стояли сотрудники, курили, болтали. Через забор, отгораживавший их от жилого дома, свисал высохший тополь, еще летом перерубленный молнией посередине. Другой забор отгораживал стройучасток с недоразваленным каменным домом.

— Вот и наш друг, словно ранняя пташка, прилетел, — сказал Саша Паладин, протягивая руку.

— Ну что, засранец, все в порядке? Живой? Так-то! Знай наших! Гомогрей не подведет, — дружески заулыбался навстречу Тимашеву верный семьянин Ваня Гомогрей.

— Ты — мое желание, утро мое ты раннее, — пропел долговязый Боб Лундин, обнимая Илью за плечи. — Ты почто такой нервный? Проспался ли ты, душа моя? Или тебе не удалось сомкнуть бессонны очи?..

— А что вы, собственно, столпились здесь? — прервал его Илья.

— Шукуров с вокзала мне звонил, — пояснил обстоятельный Гомогрей. — Везет канистру туркменского коньяку. Я всех обзвонил, а тебя уж, Илька, не было. Ну и Элка мне врзала, что рано позвонил, что она уснуть пыталась после того, как вы с Антоном ушли. Что-то она сегодня не в духе.

Илья сделал вид, что пропустил упоминание об Элке мимо ушей.

— А Главного пока нет в редакции?

— Пока нет. Да слух прошел, моя радость, что Сергей Семеныч как на ленточку придут, так после сразу и отъедут. Так что у нас будет время поправить здоровье, — мурлыкал Боб. — А я-то думаю, что хорошо бы он вообще не приезжал...

Пройдя приемную Главного и против обыкновения туда не заглянув, Илья вошел в свою комнату. Столы были завалены рукописями, не читанными по многу месяцев («самотек!»), папками, конвертами. Столов было четыре, но рабочих — три, включая его собственный: четвертый стоял перед черным кожаным диваном, в этом столе прятали стакан и бутылки, на нем резали колбасу и хлеб. Посмотрел на железный шкаф, где под замком хранились дээспэсовские издания, в нем же порой прятались и бутылки, потому что ключедержателем был Гомогрей.

Заглянул коллега из комнаты напротив — Коля Круглов.

— Жуткий ветрило на улице,— сказал он.— Еле дошел. Вот кого никогда не сдует, так это Вадимова. В каком-нибудь кресле, а будет сидеть. Слышь, про Вадимова придумал: верный приспособленинец высоко ценил кремлевские преЙскуранты.

Илья рассмеялся.

— А можно и так! — Подумав минуту, Круглов хлопнул себя ладонью по макушке и заговорил интонациями радиодиктора: — Постановление. О введении Закона о единстве и борьбе противоположностей на всей территории Советского Союза. Закон вводится с сего дня нынешнего года и требует повсеместного исполнения. В летнее время действие Закона согласно правилам начинается на час раньше. Наблюдение за неукоснительным исполнением Закона возложено на органы правопорядка.

— Слушай, ты бы записывал,— сказал Илья.

— Ну вот еще! — Коля вышел из комнаты.

В коридоре послышался шум голосов. Тимашеву вначале показалось, что явился раньше времени Вадимов, но по громкому тенору он сразу признал Шукурова.

— Да держите кто-нибудь Гомогрея, а то он канистру из рук у меня вырывает! — кричал возбужденно Шукуров.

— Не вопи ты так,— урезонивал его Саша Паладин, открывая дверь.— А то полетишь у меня впереди собственного визга.

Шукуров засмеялся. Первым, однако, вошел не он и не Саша, а Боб Лундин. Увидев Тимашева, он радостно пропел, плавно поводя руками, словно желая его обнять:

— Ну вот, душа моя, несут нам реки, полные вина...

Следом, плечо вперед, протиснулся Саша Паладин с канистрой в руке, его безбровое, помятое лицо было сосредоточенно-мрачно, будто он заранее не надеялся на разумное поведение приятелей. За ним местный Сократ — Михаил Петрович Вёдрин, затем с чемоданчиком и еще одной канистрой вошел, раскидывая в стороны ноги, чернобородый Шукуров. Был он возбужден и сиял. Строй замыкал Гомогрей.

— Привет дорогому западнику! — возгласил Шукуров, водружая на стол канистру и чемоданчик. Затем торжественно принялся доставать из него огромные помидоры, перцы и мытые стрелки зеленого лука.— Что бы мы делали российской осенью, если б в прошлом веке, вопреки воплям всяких там либералов-западников, не присоединили Среднюю Азию?!

— Ты спроси его, что бы мы пили? — подхватил Гомогрей.

— Привет, привет! Уж что-нибудь, да пили бы. Так что же ты все-таки привез? — невольно включился Илья.

— Канистру коньяка и канистру чего-то вроде портвейна.

— Кто же тебя так снабдил? — спросил Илья, выходя из-за стола.

— Лично первый секретарь горкома,— с самодовольством ответил Шукуров.— Здоровый мужик!

— Они все такие, душа моя, все! — заржал Боб.— Народ и партия едины, только разные магазины.

— Бросьте вы ваши дурацкие разговоры! — перебил их Гомогрей, уже нырнувший за стаканом в стол у дивана.— Давай лучше по половинке перед летучкой.

— Да ведь тебя потом не остановить! — рассмеялся Саша.

— Ничего,— сказал Боб.— Не волнуйся.

— С гостя начинать надо,— распорядился Паладин.— Остальные потерпят.

— Да брось,— успокоил друзей Шукуров и обратился к Вёдрину: — Ты пей, Михаил Петрович, стакан не держи. Человек вон очереди ждет.

— А ты меня не торопи. Я иногда не могу понять, как такие пьяницы, как мы, способны размышлять о вечности. А об этом еще Декарт писал, что, если в существе конечном и несовершенном есть идея существа бесконечного и со-

вершенного, это факт наличия совершенной надчеловеческой реальности, «бесконечной субстанции». Да. Хотя мы в Бога не верим. Ладно, выпьем.

Вёдрин выпил и протянул стакан Шукурову.

— Какая, однако, закуска, — добавил он. — Тунеядцы у нас в стране все же хорошо живут.

— От такого же слышим! — заржал Гомогрей.

— Конечно, у вас на Альдебаране такой нет, — подначил Паладин.

— Ты не тронь, Альдебаран для Михал Петровича святое, — остановил его Шукуров.

Но Вёдрин не обиделся.

— А что? — сказал он. — Налейте еще, я вам случай расскажу. Альдебаран все же существует и за своими посланцами наблюдает. Достаточно. Вчера я с вами, засранцами, сильно поднапился. Все, хватит, не надо полный. Так вот. Куда я потом отправился, не представляю. Но какие-то идеи, видимо, были. Куда-то меня занесло. А у меня, как вы помните, с собой коробка была. Я вчера, перед тем как в «стекляшку» попасть, башмаки себе новые купил. Да, те, что на мне.

— А, — сказал Паладин, прерывая рассказчика, — я этот эпос, кажется, уже слышал. Как в таких случаях говорят в школе: можно мне выйти?

— Иди, иди, — отмахнулся Вёдрин, — не мешайся. Клозет тебя заждался... Так вот. Просыпаюсь я в кустах часов в шесть утра от холода. Где — не пойму. Ощупал себя. Вроде цел. Руку в карман — деньги при мне. Значит, никто меня сюда не заводил, не бил, не грабил. Под головой коробка, закрыта, честь по чести шпагатом перевязана, даже с бантиком. Развязываю, а там один башмак, один. Я же знаю, что, когда покупал, я трезвый был. Не могли мне в коробку один башмак положить. Посмотрел под кустами. Нигде ничего. Ну ладно, думаю. Надо выбираться. Оказалось, что заснул близко от кольцевого шоссе.

— Пьяницам Бог свечку держит, — встрял Боб Лундин.

— Возможно. Так вы слушать будете? Словом, выхожу я на шоссе. Никакой остановки рядом нет. На чем доехал, как сюда попал — один черт знает. Ладно. Шоссе почти пустое. Стою, голосую. А сам почему-то коробку под мышкой держу. Хотя поначалу мелькнула мыслишка выкинуть ее подальше. Что с одним башмаком таскаться? Но не выкинул. Те же силы, что понудили меня в коробку заглянуть, теперь удержали меня ее выкинуть. Останавливаю я пикапчик, который газеты развозит по утрам. Сажусь рядом с шофером и с ходу рассказываю ему историю с башмаком. Для убедительности опять коробку развязываю, чтобы одинокий башмак ему показать. Посочувствовал он мне и вдруг тормозит. Я даже испугался, шоссе пустынное, я с похмелья пальцем пошевелить не могу. Ограбит сейчас, думаю, и выкинет на хрен. А он притормозил и говорит: «Посмотри, командир. Там не твой башмак лежит?» Гляжу — и точно. Аккурат посередине проезжей части лежит мой второй башмак, совершенно целехонький. А мы уже километра два от того места отъехали, где я из кустов вылез. Ну, взял его. Дальше поехали. Домой пришел, помылся, переоделся, Паладину позвонил — пива с ним попить. Но ему за что-то Манечка мозги полоскала. Чего-то тоже нагрешил вчера. Не вовремя пришел, что ли? А где был — объяснить не мог. Вот я вас, пьяниц, и спрашиваю: как мог башмак попасть на середину шоссе, причем из завязанной коробки, в двух километрах от того места, где я спал? И что меня побудило рассказать шоферу про свою пропажу сразу, а не, скажем, через десять минут? Чтобы он мог заметить, что ли?..

— Алкогольная амнезия, — твердо сказал Гомогрей. — Такое бывает. Напьюсь и сам не помнишь, что творишь.

Боб поднял кверху палец.

— И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости, Горацио!.. Ты скажи мне, душа моя, почему ты такой зануда, а я тебя люблю?

— Ты-то сам как объясняешь, Михаил Петрович? — спросил Шукуров. — Скажи, не томи душу.

Тимашев молчал, пытаясь переварить фразу Вёдрина о том, что Паладину от Манечки за что-то вчерашнее влетело. Вёдрин тем временем объяснял:

— Дураки! Это же элементарно, надо только мозгами пошевелить. У всякого посланца с Альдебарана есть враги, они не персонифицированы, это нечто безличное, разлитое в воздухе, в толпе. Не случайно самое трагическое ощущение альдебаранца — это ощущение заброшенности: в толпу, в историю, в жизнь. Вот эти враги, это безличное нечто и хотело мне напакостить, чтобы я расстроился. Но там, на Альдебаране, наблюдают за своими, следят, чтоб их огорчения не переходили меру. Вот они-то все рассчитали и подбросили мне ботинок. Да. А вы говорите. Будем здоровы!

Все примолкли. Из-за двери стало слышно, как Паладин с кем-то говорил по телефону:

— Не сходи с ума. Ну хорошо. Конечно, увидимся, куда я денусь! Тогда и поговорим. Почему? Я ни от каких своих слов не отказываюсь. Тебе надо успокоиться. Все наладится. Что, я его не знаю, что ли? Ну, если решила, тогда другое дело. А я что? Я же сказал, что никаких своих слов назад не беру. Ну, это уже детали, это как тебе угодно будет.

Повесил трубку и крикнул секретарше Свете:

— Если меня кто будет спрашивать по телефону, я вышел!

— «Киска» тебя доставала? — спросил Шукуров.

— А! — досадливо отмахнулся Паладин. — Все бабы дуры, даже умные. Налейте-ка мне лучше коньяку.

Не дожидаясь, сам плеснул себе в стакан и подошел к Илье.

— Ты чего приуныл, друг мой Тимашев? Давай-ка выпьем с тобой за дружбу. Эй, найдите какую-нибудь посудину для Тимашева! А то можно и из одного стакана, если не брезгуешь...

Илья не успел ответить. На его счастье, дверь приоткрылась, и в комнату просунулась голова Светы:

— Ой, ребята, ну и запах у вас! Вы поосторожнее. Вадимов уже приехал. Илья, тебя к телефону. По-моему, жена.

Илья вышел в коридор, поднял лежавшую на столике трубку. Голос у Элки был злой и решительный:

— Извини, что оторвала. Ну да ничего, перебьешься. Ответь-ка, кто такая Лина?

Илья скосился: в коридоре никого не было.

— Племянница Владлена Вострикова. А что? — Ответ, он сам это слышал, прозвучал жалко и неубедительно.

Элка саркастически бросила:

— Да что ты говоришь! Как интересно! А мне вот показалось, что она твоя любовница. Да и не только мне. Ей тоже так кажется. Разве не у нее ты проводишь все вечера? Что молчишь?

— Это чушь, — проскулил Илья, стараясь все же, чтоб его не слышали сотрудники. — Ты сама знаешь, где я бываю. В основном в библиотеке, с друзьями выпиваю, в этом виноват. А Лину я вижу крайне редко, когда Розу Моисеевну навещаю...

— Разве? А мне так показалось, что Роза Моисеевна — это предлог. Думаю, что и Лине так же кажется. Отсюда и твое раздраженное состояние в последнее время. Ты на нас с Антоном только рычишь, словно мы твои главные враги... — Элка говорила спокойно, при этом курила, Илья слышал, как она выдыхала дым и затягивалась, но спокойствие это было для него страшнее крика. Что-то она продумала и приняла какое-то решение. Но вот какое?

— Я тебя не виню,— продолжала Элка.— За двадцать лет жена в самом деле может надоесть. Но ведь и муж жене тоже. Ты подумай об этом. Конечно, ты терпеливый муж и когда-то был очень заботливым. Но ты этим переболел. Ты ссоришься с Антоном, разговариваешь с ним раздраженно. Требуешь от него, чтобы он походил на тебя. А он другой, по характеру он ближе ко мне. Ты ведь не от меня, ты от него бежишь. Терпения, чуткости тебе не хватило. А Антон сейчас требует усилий. Ну да это так, лирика. Ты хочешь свободы, ты ее получишь.

— Не говори ерунды,— холодно сказал Илья, слишком много было у них ссор в прошлом, слишком неожиданным было ее решение, он не верил ей, слыша в ее словах лишь раздражение и желание ударить побольнее. И тут, к своему ужасу, он услышал, что Элка словно бы прочла его мысли, его невысказанное сомнение в ее решительности.

— Я сегодня соберу тебе вещи. Они будут перед дверью. Можешь забрать их к Лине. А когда я немного успокоюсь, подумаем о размене жилплощади.

— Но я ни к какой Лине не собираюсь!

— Это меня уже не интересует, будет как я сказала.

На минуту представив, что так оно и произошло, Илья сразу вдруг ощутил пустоту и одиночество. Одно дело — хотеть самому уйти, мечтать о свободе, другое — когда ее дают и ты моментально понимаешь, что она тебе ни к чему. Потому что вся твоя жизнь, все ее содержание было связано с тем, что казалось крепостной семейной неволей.

— Что молчишь? — спросила Элка.

— А ты сама не чувствуешь себя виноватой? — пытался защищаться он.— Еще более, чем я?.. Я имею в виду твои шуры-муры с моими друзьями... Я не хотел верить, закрывал глаза...

— Дурак! Это я, я закрывала глаза на твои шуры-муры. Хотела семью сохранить. А я тебе всегда была верна и терпела, понимала, что мужики без этого не могут. А теперь хватит, надоело. Ты любил называть семью крепостью, убежищем. Так вот знай и на всю свою оставшуюся жизнь запомни, что именно ты это убежище разрушил. Прощай. А за меня не беспокойся, не пропаду.

«С Паладиным поладила»,— снова мелькнула подловатая мысль, но вслух он сказал другое, стараясь говорить твердо:

— Почему же это я разрушил? Ты меня гонишь.

— Видишь ли, твоя Лина мне тут позвонила и сказала, что она просит ее простить, что она от тебя отказывается, что она только ребенка хотела от любимого человека. Я такой жертвы с ее стороны допустить не могу! Вот и заводь с ней ребенка! На свободе, без помех! Все. Пока. А мы с Антоном как-нибудь сами проживем.

— Это все ее планы. При чем здесь я? Я про них даже не знал,— оправдывался Илья, предавая Лину, как когда-то Адам Еву.

— Ну уж меня это не касается, это вы между собой выясняйте. А меня избавь. Я от твоего слабодушия и так устала.

— Я сейчас приеду!

— А я не открою дверь. Прощай. Больше повторять не буду.

Элка бросила трубку. Илья тут же перезвонил. Пять, десять, пятнадцать гудков. Илья еще раз набрал номер. Безуспешно. Чувствуя мертвенную пустоту в груди, он встал. И подумал, что жизнь его ушла, кончилась. И как внезапно! Медленно, с потухшим лицом он вернулся в комнату. Ребята продолжали пить.

— Да, мы дураки,— говорил Вёдрин,— ничего не можем. Простой мужик — он по этому поводу не переживает. Было бы на что пить. А мы выродки, как у Стругацких в «Обитаемом острове». Русский интеллигент всегда во всем виноват. Так и чувствует. Но почему в ментальности простого русского мужика этого чувства вины нет? Горе ли, счастье ли, он пьет себе, и всегда кристальное сознание, что не он кому-то, а ему все должны.

Глава XVI

ЛИБЕРАЛИИ

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки
.....

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

— На летучку, на летучку! Сергей Семеныч сказал собираться! — снова заглянула в дверь Света.

Они потянулись в зал, рассаживаясь потихоньку вдоль длинного стола, покрытого зеленой скатертью. Разложив перед собой блокноты и ручки, ждали. Вадимова еще не было. Наконец утиной походкой, переваливаясь с боку на бок, вошел Главный. С загорелым лицом, стрижкой «ежиком», он был похож на бурдюк: узкие плечи, толстая грудь, еще более толстый живот, огромный зад. Раздвоенный ямочкой подбородок, длинный нос, глаза за очками с привычным выражением тупости, самодовольства и недовольства окружающими вызывали уныние. Зато в отличие от своих подчиненных одет он был в элегантный серый импортный костюм, отчасти даже скрадывавший его толщину. Он обошел стол, протягивая каждому сотруднику руку, но глядя не в лицо, а в пространство, поэтому казалось, что руку он не протягивал, а совал как вынужденное подаяние.

— Здрасьте. Здрасьте. Здрасьте.— Но случайно глянул в лицо: — А, с вами уже здоровался. Здрасьте. Здрасьте. С вами тоже уже здоровались. Здрасьте.

Затем сел на свое место и, поджав губы, дернул головой вверх.

— Сначала о деле, но кратко. Я был вчера на совещании в соответствующих инстанциях. Там нам напомнили, чтоб вы знали, о том, что на пленуме были поставлены задачи перед большими отраслями и сферами и как мы выполняем конкретные мероприятия текущего долгосрочного характера. Нас призывали взвешенно оценивать момент и критиковали по вкладу в современную актуальную теорию развитого социализма, что мы не можем пока дать какие-нибудь выводы. Это связано, чтоб вы знали, с проблемами научного коммунизма, а не с фундаментальными философскими проблемами. Вот буквально дословные слова, которые сказали на закрытом совещании Цека для служебного пользования: мы должны изменить коренным образом нашу работу в идеологической пропаганде. Больше воспевать революционеров и давать преимущества только положительные. Другие товарищи стали выступать, а я тогда быстро думаю: даем опернабором три статьи по актуальным темам. Фетр Николаевич согласен передать нам свой доклад «Научная несостоятельность и реакционная сущность буржуазных фальсификаций марксистско-ленинской философии — идейно-теоретической основы развитого социализма». Я свою статью тоже включаю, у меня уже заглавие есть: «Совершенствование развитого социализма и некоторые задачи теоретического осмысления героических этапов развития советского общества».

Сидевший рядом с Ильей Коля Круглов шепнул, не разжимая губ:

— Социализм зрелый, но не зримый.

Илья кивнул, показывая, что слышал и оценил.

— И напечатать статью покойного Фиговича, написанную автором еще при жизни: «К теоретическому углублению и конкретизации анализа традиций коммунистического воспитания».

Спьяну осмелевший Шукуров вдруг рывкнул:

— Мы же не успеем эти статьи как следует подготовить! Я считаю такое решение авантюризмом. Завтра уже суббота. Почему не пустить их в следующий номер, нормально отредактировав?!

— Я расцениваю это заявление как выпад! — побагровел Вадимов.— У меня хватает времени, хотя я больше вас работаю. Я уже читал статью Фиговича, у меня много критических замечаний, я их вам покажу, поскольку неко-

торые вещи вызывают удивление, то есть просто больше вопросов, чем ответов идеологического и политического характера. Но их можно вычеркнуть. И, если вы не умеете, я это сделаю сам. И вам покажу. Но вы, если надо, обязаны сидеть и субботу, и воскресенье за работой на журнал.

— Зря ты так,— шепнул Круглов Шукурову,— проку все равно нет, а озлобил дурака.

— А ну его! — махнул рукой Шукуров, бледный, но не желавший терять лица, к тому же предвкушавший канистру и дружеское сообщество, которое за стаканом поддержит его.

Тем временем Вадимов вышел и опять вернулся, неся буклеты, проспекты и цветные открытки. Положил их перед собой и сел.

— А теперь кратко хочу поделиться о философском конгрессе в Аргентине по приглашению Лаплатского университета, чтоб вы знали,— начал Вадимов.— Участвовало в нем много участников, в том числе и братских международных ученых, но они делали только общие обобщения. Я там считался как бы философом, потому что, кроме меня и Фетра Николаича, философов от нас не было. Лететь туда долго. Когда мы летели над океаном, то вошли в ситуацию грозы. Все испугались, но я знал, что молнии для самолета значения не имеют. Хотя болтанка была сильная, я не боялся, а всех успокаивал, что если наш самолет не развалится от болтанки, то долетим хорошо. И долетели. Останавливались на Островах Зеленого Мыса. Там вода в туалете прямо из океана. Соленая. Мы нарочно пробовали. Затем Сальвадор, это уже Бразилия. Два раза пересекли экватор. Поместили нас в гостинице «Амбасадор» в Буэнос-Айресе. Вот передаю открытку, здесь это изображено. Гостиницы там хорошие, еще американцы строили, но в связи с хунтой, чтобы вы знали, мало объектов для всей созданной базы обслуживания. У каждого был отдельный номер. У Фетра Николаича даже две кровати, поскольку он академик. Город чистый. Я вам сейчас его передаю тоже.— Он пустил по рукам очередную глянцевую открытку.— Видите, нарочно как распланирован. Очень красиво. В городе двенадцать миллионов человек. Второй после Мехико. В Мехико восемнадцать миллионов. Но в Аргентине в отличие от Мексики никогда не было царя. Это хорошая традиция. Там всегда диктаторы, каудильо, по-ихнему...

По кругу тем временем из рук в руки передавались открытки и проспекты с фотографиями отелей и празднично отдыхающих людей. На некоторых местах стояли крестики: либо на окнах, либо на утолчке пляжа — это были места, где Вадимов жил, где он купался, чтобы сотрудники могли отчетливее представить, как и где проводил время их начальник.

— Витрины изнутри горят для безопасности. Там действительно ходи как хочешь. Все собираются, но никаких экстравагантностей, они переболели. Минеральная вода или пепси стоит дороже вина. На каждого аргентинца приходится по две коровы, не считая свиней и прочего. Аргентина — мясная страна. У них коровам не надо фермы, весь год на траве. Всюду фотографии гаучо. Это крестьянин-животновод. С символами аргентинской его работы...

Илья смотрел на рекламный проспект конгресса: на обложке кондор, повесив крылья, с белой повязкой на горле, смотрел куда-то в сторону. Сверху шла надпись: «Congreso internacional extraordinario de Filosofia».

— Я скажу последний вывод,— говорил Вадимов,— что Аргентина — это богатая и перспективная страна, и она, хотя там и хунта, имеет к нам ориентацию, поэтому с ней надо дружить. И я предлагаю от журнала разослать письма всем участникам конгресса: в капиталистические страны — индивидуальные, а в социалистические — стандартные братские приветствия.

Илья сидел, понутив голову. Аргентинские рассказы не отвлекали его, напротив, все время напоминали о Лине, а стало быть, и о ее звонке Элке. «Зачем она это сделала? Очередной приступ безумия? Расчет, что я позвоню ей, а то и приеду выяснять причины ее звонка? Она ведь могла думать, что я вчера ушел навсегда, раз она мне не дала. Вот и выкинула подлянку. Не поеду больше к ней! А куда? Просить прощения у Элки?..»

— Все. Летучка закончена. Можете идти обедать.

Но у дверей приемной пришлось задержаться. Всегда публично комментирующий свои физиологические отправления Вадимов и на сей раз, махнув на них ладошкой, приказал:

— Кому надо — обедайте. Я в туалет, но быстро, потом помою руки, и тогда, кому надо, заходите, поговорим...

Секретарша Света прыснула. Мимо туалетной двери потянулась вереница, словно стадо гусей на водопой. Первыми шли Гомогрей и Шукуров, спрятавшие канистры под плащи и торопившиеся скорее выскочить из редакции.

Илья покрутил пальцем у виска, побежал в комнату за сумкой, но, уходя, почему-то сказал Светке:

— Если кто срочно будет искать, то я в «деревяшке», объяснишь, как пройти.

Что-то тревожно было у него на душе, подумал, что вдруг сын или Элка будут его искать или пришлют кого. А ему, кроме как в «деревяшку», пути не было. Да и с Паладиным надо наконец начистоту поговорить.

В «деревяшке» была большая очередь, но редакционная компания уже сидела, сдвинув два стола. Завсегдатаям кое-какие вольности разрешались.

— Эй! — крикнул Шукуров, приподнимаясь. — Мы тебе уже взяли, иди сюда! Ты уж извини: что всем, то и тебе.

На маленьких тарелках посередине стола лежали шпроты с ломтиками лимона, и еще перед каждым — тарелка борща и котлеты с вермишелью. Ели вяло, больше пили, что видно было по разгоряченным физиономиям и спутанным волосам. Илья сел между потеснившимися Паладиным и Шукуровым. Говорил Вёдрин:

— Мы от себя не уйдем. Как и те, на Западе, от себя. Мы и пьем иначе, чем другие. Как в романе Саймака: почти как люди, но что-то иное. Да. Ладно. Уж какие есть. Говорят, у нас пророческая культура. А по мне, так мы должны честно сказать себе, что мы не пророки, а дураки. Вот сейчас все потянулись на Запад, в эмиграцию, подальше от нашего дерьма. А кому, например, я там нужен? Что я там делать буду? О неопозитивизме писать? Так они об этом лучше меня знают. Это здесь, на их материалах, я могу считаться ученым и стать доктором наук. А там я на хрен никому не нужен. Да, ладно. Ты скажи, Тимашев, почему есть евреи, которые не уезжают? Голова у них есть, мозги тоже, и они ведь не пьют, а? У меня вот, ты знаешь, есть какое-то пристрастие к своему району, к своей пивной. Где я там найду с кем выпить?.. Нет, конечно, найду. Такого добра везде хватает. Но для чего, скажи, мне туда ехать, когда мне и здесь есть с кем пить и где? Так какая разница, где я буду пить?

— Никакой, — согласился Илья, чувствуя странную близость этих слов к своему душевному состоянию. Некуда ему было идти. От себя не набегаешься. — Быть может, — хмыкнул он вроде как иронически, — дело в том, что мы давно уже втайне ждем конца света. По крайней мере в одной отдельно взятой стране. А раз так, то надо жить проще, откровеннее, говорить что чувствуешь и думаешь, — вроде как в царстве мертвых происходит.

— Это какой же откровенности ты хочешь, друг мой? И с кем? — Саша Паладин проглотил полстакана коньяку и лениво подцепил на вилку шпротину с ломтиком лимона.

— А хотя бы с тобой! — вдруг с бешенством сказал Илья, глядя Саше в глаза и с мазохистским чувством понимая, что вот сейчас-то ему наконец и вмажут по первое число. — Можем поговорить?

— Ну, можем, — усмехнулся Саша, скосив глаза в сторону. — Давай поговорим. А то ты, друг мой Илюша, на меня что-то второй день волком смотришь. Выйдем, заодно и покурим.

— Только не на улицу, — забеспокоился услышавший их перепалку Гомогрей. — Там вас сдует, к чертовой матери сдует. Сегодня метет, как у нас в Чертанове. Насквозь продувает.

Тем не менее они вышли из кафе на Кропоткинскую. Тротуар был узенький. Мимо катили легковые машины и троллейбусы. Напротив располагалась Академия художеств. Ветер и вправду свистел, перехватывая дыхание, заталкивая слова назад в рот. Летели листья, пыль, сигаретные окурки, какие-то бумажки. Пришлось зайти за угол здания, там дуло меньше. Саша вытащил пачку «Явы», Илья — свою пачку, тем самым демонстративно отказываясь от Сашиных сигарет. Тот сухо рассмеялся. Каждый закурил от своей спички.

— Послушай,— сказал Илья,— для начала я тебе кое-что прочту.

— Что ж, прочти, почему бы и нет.

Стихи Илья помнил наизусть.

В учености — ни смысла, ни границ,
Расскажет больше тайный взмах ресниц.
Пей! Книга жизни кончится печально,
Укрась вином мелькание страниц.

Саша посмотрел на него словно бы удивленно, пожал плечами.

— Ну и что?

— Как что? Чьи это стихи?

— Элкины. Твоей жены. А-а, так вот отчего ты взъелся?

— А кому они посвящены, позволь спросить?

— Кому-кому! Мне, разумеется. Ну и что? Это все знают.

— Все знают, кроме меня!

— Кто ж виноват, что тебя дома не бывает, когда приезжают твои друзья?! Мы приехали, выпили, Элка мне стихи и написала. Меньше по бабам надо ходить, друг мой! — Он стряхнул с сигареты пепел и исподлобья посмотрел Илье в глаза.

— А почему я Элкину фотографию в редакционном столе нашел?

— Моем столе?

— Нет, в общем, но это твоя манера засовывать туда свои письма и бумаги.

— Друг мой, фотография любимой девушки — святыня для мужчины, и засовывать ее в стол он не будет...

Илья опустил голову, сжал зубы.

— Хорошо, ты ни при чем. Ладно, оставим. А...— Илья замолчал, не зная, как сказать.

— Ну уж договаривай! — снова рассмеялся Саша, словно преодолел какую-то тяжесть.— Вижу, еще хочешь спросить.

— Тебе сегодня Элка в редакцию звонила? — с трудом выговорил Илья.

Саша наклонил голову и позволил себе боднуть Илью: это был его излюбленный дружеский жест.

— Ты, Шерлок Холмс!.. Звонила ли? Звонила! Советоваться, что с таким дураком и бабником, как ты, делать. Ей же перед этим твоя пассия Лина, с ко-ей не имею чести быть знакомым, позвонила. Девушка Элка занервничала, психанула. Ее можно понять. Вот и решила посоветоваться.

— Почему же именно с тобой?

— Потому что я твой друг, болван! И ее друг тоже.

— А от каких это своих слов ты не собираешься отказываться? Ты так ей по телефону сказал.

— Не помню что-то,— равнодушным голосом ответил Саша.

— Допустим.— Разговор все более и более становился диким, но Илья не отступал.— Но ответь мне — честно только! — на один вопрос: между вами что-нибудь было? Я, конечно, понимаю, что задаю нелепый вопрос...

— Конечно, нелепый. Если б что и было, как ты думаешь, сказал бы я тебе?.. Было, не было... Тебе какое дело? — грубо вдруг огрызнулся Паладин.— Ты такую бабу, как Элка, не заслуживаешь. Но она тебя любит, если тебя это волнует. При этом согласишься, что не каждая баба терпела бы твои похождения.

В любом случае, друг мой, если ты надумал от Элки уходить, меня к этому не припутывай, но знай: во всех вариантах я на твоей стороне.

«Ничего не было,— думал Илья.— А я скотина! Все в конечном счете из-за меня, по моей вине. Конец».

— Да не расстраивайся ты так.— Саша дружески положил руку ему на плечо.— Ничего у нас с Элкой не получилось и получиться не могло, потому что мужская дружба превыше всего. Ты зря взъелся. Все у тебя в порядке. Ты живешь счастливо и спокойно. Кругом люди совсем не так живут, ты этого даже не замечаешь. А ты послушай любого участкового, почитай Леонида Словина, есть такой милицейский писатель, он довольно правдоподобно пишет. Как два таксиста подлавливали приезжих лимитчиц, завозили их за окружную дорогу, где наш друг Михал Петрович вчера ночевал, там насильовали их, глумились, душили и закапывали, и это не маньяки-садисты, это наш быт! У меня родня в Чебоксарах живет, так там не найдешь тринадцатилетней девочки, которую бы насильно на хор не поставили, никто из них девственности по доброй воле не лишился. Ножи, кастеты как норма жизни. Мы еще даже в средневековье не вошли, варвары. Думаю, ты с этим спорить не будешь.

Вчуже удивившись Сашиной социальной резкости, Илья продолжал ныть про свое:

— Кроме таких кошмаров, есть и душевные проблемы. Я Элке не подхожу. Ей никогда не нравилось, что я пишу.

— А тебе, дураку, надо, чтоб тебя хвалили все время?

— Чтоб уважали.

— Уверю тебя, что уважения больше чем достаточно. Но вернемся к более важному — к нашим отношениям. Ты меня называешь партократором, ладно, хрен с тобой. Я не обижаюсь. На партии все здесь держится. Но ведь и я могу тебя определить.

— Как это? — оторопел Илья.

— Думаешь, так уж сложно? Типичный русский межеумок, умозрительный западник, чужой здесь, не свой на Западе. И решить ничего не можешь ни с собой, ни с обществом.

— А ты можешь?

— Как член партии. Ты вот все бухтишь на партию, на партократию, а если б не железная рука партии, здесь бы черт-те что творилось! Или ты хотел бы, чтоб Стенька Разины да Емельки Пугачевы насильовали наших жен, сестер и дочерей, а нас бы живьем закапывали в землю? Дай только им полную волю — страшно тут будет жить! Пока партия у власти — ничего не изменится, я всегда это говорил, сейчас добавлю: и слава Богу. Тебе, конечно, твоей диссидентской душонкой этого не понять. Хотя какой ты диссидент!.. Уж скорее Элка на это отважится, как будущая Вера Засулич. Но твоя Элка пока не боярыня Морозова и не Вера Засулич, ей есть что терять. Ей дорога семья. Так что успокойся.

— А я спокоен,— ответил Илья, вспоминая прошлогодние Элкины слова: «Если я влюблюсь, то меня ни ты, ни даже Антон — никто не остановит». И снова сомнения охватили его.

— А раз спокоен, пошли обратно. Друзья нас заждались.

Они вернулись. Илья шел, понурившись, чувствуя, что его в чем-то обманули, обвели вокруг пальца.

— Дуэль не состоялась? — обрадовался Гомогрей.— По этому поводу надо выпить! Налейте Тимашову!

Илья не возражал, он сознавал, что опять погружается в прострацию, когда звуки разговора перекатывают через человека, как волны прибоя, и уходят назад, в море, его за собой не увлекая.

— Не спи — замерзнешь,— толкнул его в плечо Саша.

Эта фраза была любимой Элкиной фразой. Что могло ничего не значить, а могло значить все.

Он тряхнул головой и выпил. Шум, крики и разговоры продолжались, вертятся на том же самом месте, словно он не отключался, словно и мгновения не

прошло. Словно вечность и в самом деле существует во времени и вместе с тем — вне времени.

И тут через весь зал от двери прогудел голос, перекрывший все остальные:

— Будьте любезны, прошу извинить меня, но нет ли здесь сотрудников журнала, а среди них не найду ли я Илью Васильевича Тимашева? — Построение фразы было вычурно-анекдотическим, но голос гудел вполне серьезно.

Все невольно обернулись. У двери громоздилась фигура в висевшем свободно пиджаке, широких брюках, росту такого, что самый высокий из них был фигуре до плеча; голова у вошедшего была крупная, с залысинами; больше всего незнакомец напоминал не то громоздкий утес, не то огромный дуб, передвигающийся на корнях и шевелящий руками и пальцами, словно ветвями.

— Это я, — ответил Тимашев, отчетливо вдруг понимая, что надвинулось на него нечто, чего он боялся, предчувствовал, но не верил, что может случиться. Он ощутил тяжесть и слабость в икрах ног, предвестие ужаса. С кем что стряслось? С Элкой? С Антоном?.. Или с Линой? Как еще увеличатся его грехи?

Человек подошел к их столу, отодвигая случайно попадавших ему на пути посетителей, как стулья. Пораженные его габаритами собутыльники застыли на минуту. Тот вздохнул шумно.

— Каюрский, Николай Георгиевич, — протянул руку.

— А, — сказал Илья, и у него отлегло от сердца. — Я о вас от Розы Моисеевны слышал и, по-моему, от Владлена.

— Точно, — улыбнулся Каюрский. — Профессор философии Иркутского университета, — пояснил он свой статус.

— Эй, Илья! — крикнул Шукуров. — К тебе гость пришел, а ты ему не нальешь. Да вы присаживайтесь. Надеюсь, вы не побрезгуете выпить немного коньяка с людьми сомнительного образа жизни и труда?.. Вам полный?

— Можно полный, — прогудел Каюрский, усаживаясь верхом на стул между Тимашевым и Шукуровым. — Бывшему моряку это все равно, что слону дробина. — Он принял из рук Шукурова полный стакан, отставил, очевидно, для эстетики, мизинец и вылил в себя. Вернул посудину Шукурову, и всем вдруг стало ясно, что пришелец такой большой, что к нему надо обращаться уважительно, как к старшему; в пьяном угаре вспыхнуло детское: самый большой и сильный — всегда вождь.

Пошатываясь, добрал до него Боб Лундин, припал к его спине.

— Это преступно, что Илья скрывал от нас такого могучего человека!

— К сожалению, — громоздкий пришелец развернулся лицом к Илье, — мы с Ильей Васильевичем знакомы только заочно, да и прибыл я с печальным известием: скончалась Роза Моисеевна.

«Вот оно, это нечто», — подумал Илья и почувствовал облегчение. Пусть это жестоко, признался он сам себе, но все равно, слава Богу, что не с Антоном, не с Элкой, не с Линой...

— Действительно, печально, — сказал Илья. — Когда похороны? Я, очевидно, должен быть на кладбище? Впрочем, Владлен мне скажет подробнее. Ему уже сообщили? Когда он прилетает? — тараторил Илья, надеясь избежать сегодняшнего визита в дом, где была Лина, не хотел он ее видеть, но не объяснять же это незнакомцу. — Вы на похороны тоже придете?

Каюрский, понизив голос до едва слышного шепота, вдруг сообщил:

— Ленина Карловна вам никак не могла дозвониться. Хотела, чтобы вы приехали туда. Она ведь совсем одна. Петя в школе и ничего не знает. А тут нужна мужская помощь, просто поддержка. Она все пыталась вам дозвониться, но неудачно, — повторил он.

— Разве? — тоже шепотом, отвернувшись от приятелей, иронически спросил Илья. — Мне кажется, она весьма удачно дозвонилась до моей жены. И все передала, что сумела. Простите, вы многого не знаете, вы человек со стороны, но, раз уж вы попали в эту историю, передайте ей, что я ее не хочу больше видеть. А хочу я выпить. Вы будете? Налейте кто-нибудь. У кого канистра?

— «Изабеллу» или водку? — поинтересовался Шукуров. — Коньяк, увы, кончился.

Каюрский сунул руку в боковой карман пиджака и достал четвертной, прогудев:

— Вы меня тоже извините, я здесь как бы незванный гость... Я бы и сам сходил, но не знаю куда. Если надо, могу больше. У нас в Иркутске на водку талоны, а коньяк пока свободно.

Привыкшая к поборам редакция возликовала.

— Как раз на три бутылки коньяка. Я схожу, — сказал Шукуров.

Он подхватил свой портфель и, кренясь то на один бок, то на другой, хотя и удерживаясь на ногах, вышел.

— Откуда он такой? — удивился Вёдрин, пытаясь взглянуть в лицо Каюрского.

— Я-то из Сибири! — услышал вопрос пришелец. — Мы, сибиряки, народ щедрый и в помощь всем хорошим людям. Мы и революцию в свое время спасли. Наши корни в декабризм уходят. У нас в Иркутске и Волконский, и Трубецкой жили. Могу вам названия улиц перечислить: Карла Маркса, Польских Повстанцев, Фурье, Степана Разина, Волконского, Свердлова, Желябова, Дзержинского, Литвинова, Марата, да, да, Марата! Мы этим духом дышим. Потому мы и в Отечественную Москву и Россию отстояли. Вы столицу чуть не сдали, а сибирские дивизии пришли и погнали фашистов. А вы, столичные, всего боитесь. Вы даже термина «гражданственность» пугаетесь... А почему?! Ведь он сводится всего лишь к смелой защите интересов прогрессивных сил. К смелой!.. И — прогрессивных!.. Не случайно сказано, что бесклассовая эпоха Водолея начнется в Сибири, лишь потом перейдет в европейскую Россию. — Он взял за руку Тимашева и легко поднял его. — Пойдемте отсюда, Илья Васильевич, мне еще кое-что надо вам сообщить!

Илья растерянно последовал за ним к выходу, но перед дверью уперся.

— Однако довольно странно вы себя ведете.

Каюрский загудел, нависнув над ним, прямо в ухо:

— Илья Васильевич, сообщение мое конфиденциальное, при всех я не мог. Вы все же должны туда явиться. Я за Петей еду в школу, снять его с последних уроков. Но мне завтра, возможно, придется идти в Цека, а при похоронных делах должен быть мужчина.

— Я думаю, не сегодня, так завтра Владлен прилетит. Завтра и я приду, чтоб его поддержать.

— Нет, вы сегодня должны. Хотя бы потому, что Владлен Исаакович не прилетит. Сегодня утром пришла от него телеграмма. Может, вы слышали, что у него были неприятности, выговор с занесением? В результате — обширный инфаркт, больница, постельный режим. Так что надо идти.

— Нет уж! Пускай Лина сама колотится. А на похороны я, разумеется, приду и деньгами помогу. У меня сегодня другие дела, — упрямо и тупо говорил Илья. — Не знаю, что рассказала вам Лина о наших отношениях...

— Я не знаю ваших отношений. Но вы должны там быть! Дело в том, что Ленина Карловна повесилась.

Илья никогда не думал, что ему может быть так плохо. Слово жизнь вся разом вышла из него. «Вот она, расплата».

— Эй, сибиряк, ты что там с нашим другом делаешь? Он весь посерел! — крикнул издали внимательно наблюдавший за ними Саша.

Илья испугался ненужного и страшного вмешательства и слабо махнул рукой, что все в порядке, а Каюрскому сказал:

— Что же вы молчали так долго?

— Не волнуйтесь. Для Ленины Карловны я все, что мог, уже сделал. Теперь вы там нужны. Надеюсь на ваше благородство.

— Надо же в милицию позвонить, — заторможенно пробормотал Илья. — Или милиция уже там? Я... Наверно, я виноват во всем.

— Ни милиции, ни психиатрической перевозки! Плохо вы о сибиряках думаете!

— Не понял.

— Да я успел. Грохот в ее комнате услышал, вбежал, она висит, так я крюк сорвал и этими руками из петли ее вынул. Я предчувствовал, что что-нибудь будет. Мы еще только телеграмму от Владлена Исааковича получили про инфаркт и думали, говорить ли про это Розе Моисеевне. Она все не вставала. Лянина Карловна пошла к ней, тут же прибегает, я сразу по ее лицу понял, что плохо дело, что умерла Роза Моисеевна. А у нас в Сибири говорят, что несчастья, как собачья стая: не одно, а именно все вместе.

Говорил он добродушно и уверенно, но до Ильи его слова доходили расплывчато, как сквозь туман. Они сели за освободившийся столик у самого выхода.

— Но ведь нужно врача. Чтобы посмотрел. Взял под наблюдение. Лекарства прописал. Вдруг она снова?..— бормотал Илья.

— Если позвать врача, то он бы ее тут же в сумасшедший дом отправил. Так у них положено. Суицид ведь. Я зна-аю,— протяжно гудел Каюрский, успокаивающе положив свою огромную лапу на руку Тимашева.— А с ней уже ничего не будет. Поверьте. У нас в Сибири болота есть, мшава, по-нашему. Я их хорошо знаю. Родственниками моими охотники были, именно егеря, да и я в малолетстве охотился. Так вот на болоте страшнее всего охотиться, гиблые места. Но своеобразно красивы. В солнечный день горят переливами красок, «окна» в них, как черные зеркала, светятся, а в сумраке их не видать. Идешь, мох под тобой колышется, целые пласты мха, их стараешься перебежками миновать до твердой кочки и знаешь — где-то рядом «окно». А его не видишь, только чувствуешь. Но на кочке не настоишься, надо идти. Главное, в это «окно» не попасть, без помощи другого из него не выбраться. Так и в жизни каждого человека бывают такие болотные «окна». Провалится — и все! А если вытащить его вовремя оттуда, то уж больше никогда туда не попадет, осторожен будет. Так вот, я полдела уже сделал, вытащил ее, теперь вы должны закрепить.

— Я готов,— тихо сказал Илья.

(Окончание следует.)



Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

С в о б о д а ц в е т а

* * *

Я поцеловал ее, ну, раз пять
с половиной.
И всякий раз
она скашивала глаза
и превращалась в птицу:
мол, это уже не я,
отношения к этому не имею...
С тех пор на вопрос:
«Целовал ли ты птицу?»
я обычно отвечаю
утвердительно.

* * *

Что-то успел,
а чего-то не успел.
Не успел сказать,
что у любви, ее любви,
было такое чистое,
легкое дыханье,
потом
не успел сказать,
что она любила его
так восхитительно,
так ясно, так просто,
а он ее чересчур молодо,
чересчур запальчиво,
что непростительно для человека
в столь солидном возрасте,
хотя другого человека

у него под рукой
не было.
Зато успел сказать,
что перечел
метрику бога любви, Эрота,
и выяснил:
с мамой, Афродитой,
все в порядке,
а с папой, Аресом,
не все.
Уже дома
проверил ударение:
оказалось «Арес».
Значит, разговаривая с ней,
он ударил неправильно.
И как только угораздило!

* * *

Я люблю этот эпос
не за четырехтысячелетнюю мощь,
не за пласты пракрита и напластования санскрита,
даже не за великолепное море крови у стен Хастинапуры,
а за то, что,
когда целую ее,
когда буквально
набиваю ею рот,

где-то в трахее
 само собой
 выпрастывается
 и с грохотом катится
 по катакомбам тела
 пучеглазое
 огнедышащее
 «Махабхарата»,
 «Махабхарата! ..».

* * *

Из всех революций
 мне по душе лишь одна.
 В XVI веке в Германии
 низы восстали
 против серой одежды.
 Они боролись за право
 носить карминное, васильковое, палевое
 и отстаивали свободу цвета.
 В результате
 концентрация красоты в Европе
 резко повысилась.
 Лично я
 глубоко признателен
 революционным
 немецким
 низам.

Поцелуй в Люцерне

На карнавале в Люцерне
 я — живая мишень:
 приезжий без маски.
 Подбегает зайка,
 юркая, прыткая,
 целует в губы.
 Рожу не ворочу.
 Грудь у нее маленькая,
 плоская,
 никакая!
 Брезгливо отталкиваю ее.
 Выплюываю поцелуй.
 До сих пор шипит в снегу.
 Слаще не было.

Выбор дома

Вот тема,	Возьмем хотя бы
чуждая бедным.	выбор дома
Их, бедных, тема:	или домов.
раздел квартиры.	Как мучится,
А у богатых	мечется богатый:
много вариантов.	с видом на Темзу?

На газон?	ее выбор.
На белые скалы Дувра?	Как часто
Как трепещет	ловлю себя
душа богатого,	на чувстве:
как фатален	я — не беден.

Если бы сын писал стихи

Красивые такие кругляшки
на бумаге, на скатерти
от молдавского,
иногда грузинского
оставлял отец,
даже на газетах
да на сосновом
кухонном, на дубовом
в кабинете,
где стояла машинка,
след остался
в памяти от отца:
отпечаток круглой,
винной души его.
Узнаваемей, чем
почерк или подошва.



Рождественская сказка

Мы ничего не забываем. Все записывается на внутренний видеомэгнитофон. **М**А с него фильм можно переписать на обычную кассету и... просмотреть. Всю жизнь.

Но память наша... Память охраняет нас, бережет. Она не удерживает плохое — выбрасывает. Поэтому прошлое, даже тяжелое, в розовом свете.

От той зимы в розовом свете запомнился снег. И то очень редко. В утренних лучах. И три эпизода. В общих чертах.

Книги мои тогда еще не были написаны, но уже зрели во мне, просились на бумагу и требовали затворничества.

Я мечтала о собственном доме, северном, рубленом, на валунах. Чтобы с прялками на чердаке, с чугунами на печи. Окнами на озеро. И чтобы две липы напротив до неба. Но такого дома не было. И я сняла дачу в Подмосковье.

Я была в целом доме одна. Участок был в полгектара. Мне нравилось и то, и другое. Я зажигала на ночь во всем доме, кроме спальни, свет — и на террасе, и над крыльцом. И тогда черной чайкой опускалась ночь, тусклой люстрой висела в небе луна, в песчовых шубах стояли деревья и кусты, а по окнам тянулись не открытые Берингом острова.

А кругом заколоченные дачи. Темнота. Только у меня — волшебство. Днем я расчищала дорожку от калитки с почтовым ящиком до крыльца. Длинную-предлинную. И мой подросток-кот с блестящей, как у баргузинского соболя, спинкой и темно-пятнистыми боками снежным барсом деловито пробегал по дорожке. А я любовалась своим маленьким зверьком.

Спальня у меня была не очень большая, но удобная: постель с ночником в изголовье, платяной шкаф и круглый стол, приспособленный под письменный.

В доме еще была столовая, тоже с круглым столом, кухня, пустующая комната, две веранды, одна заколоченная, и деревянная лестница на чердак. Там жила старая Крыса. Но у Крысы память не нуждалась в фильме — она помнила все!

Подросток был юн и доверчив. Он все видел в розовом свете. Даже цвет острова Мадагаскар на географической карте, где жил его предок, был розовым.

Но Крыса-то хорошо помнила то морское путешествие с предком Подростка. Перелетные птицы напелли им невесть что про диковинные далекие страны: про дом на валунах с прялками и туесами на чердаке, где так хорошо вить гнездо. Про чугуны, полные вкусной каши. Про печь, из трубы которой идет теплый дым. Про сеновал, где луговые цветы и травы пахнут так опьяняюще сладко.

Коты вообще любопытны, а Крыса была молода и любопытна по глупости. И вот она здесь, на захлавленном чердаке!

Океан оказался огромен. Оба очень устали. Кот начал шипеть, а Крыса прогрызла вкусные, смазанные салом канаты. Но вскоре налетела буря. Прогрызенные канаты не выдержали, мачты рухнули, паруса унесло... Кот обо всем догадался и хотел съесть Крысу сразу. Но надо было садиться на весла.

Крыса первой увидела берег: Кот греб на корме. Она быстро спустилась в трюм, прогрызла обшивку и... кинулась в море. Кот же вовсе не умел плавать. Он вскарабкался на самый верх обломков мачты, когда корабль принялся тонуть. Когда останки корабля выбросило на берег, Крыса была далеко. С тех пор коты охотятся за крысами день и ночь.

Только глупый Подросток прыгает по сугробам и лазает по стволам, буд-то лемур. О лемуры! Лучше не вспоминать. Они неплохо уживались вместе на кокосовых пальмах, ели бананы, вдыхали запах орхидей... Ап-п-чхи — ну и пыльный чердак! А холод!

Я натопила дом, прибавила на кухне газу. И в моей спальне — что Мадагаскар. По вечерам я долго читаю. Для Подростка открыта форточка и приставлена лестница. Он полуночник. Изучает окрестности; то сидит часами в засаде, то пробегает неслышно. Познает мир.

А читала я самиздатовские мемуары. Время настало такое, что скоро все будет на прилавках. И мемуары эти, конечно. Они вообще невинны. Разве что автор — эмигрант.

Одна из глав — новелла. Чистой воды.

Наш автор шансонье. У него были сотни тысяч поклонниц от Константинополя до Шанхая. В двадцатые—тридцатые годы Париж точно сошел с ума. На женщин тратились безумные деньги. Ни одна не появлялась два раза в одном туалете. Чтобы блистать в обществе, им приходилось иметь не меньше трех-четырех любовников, пишет наш эмигрант: «Одного — для туалетов. Другого — для драгоценностей. Третьего — для выходов. Четвертым был муж, на обязанности которого было оплачивать квартиру и давать на расходы по дому. Пятый — так сказать, «для души»: молодой и красивый, который ей лично стоил приличные деньги».

И у меня в поселке поклонник. Он живет по другую сторону железной дороги — там больше зимуют. Туда я хожу за козьим молоком.

Иногда мы встречаемся у билетных касс или на скользких ступенях платформы. Разговор всегда один: «Плохо я живу, — качает он головой. — Поехал в Москву — там никому не нужен. Приехал сюда, здесь никто не ждет». Это намек. Свободных комнат у него много, а я к тому же плачу. Но он и в самом деле одинок. Дети с семьями в Москве. Жену недавно похоронил.

— Лучше помереть. — говорит, и глаз его слезится. — А что? Как сосед, тот, что за сараем. Удавился... Ему-то и шестидесяти годов не было. И не пил, а только выпивал. Выпил и зачудил. Матрас выбросил. Помешал он ему. А у них денег столько, они сколько угодно матрасов купят. На внуков-правнуков положено.

Матрасом он называл, вероятно, кушетку о четырех ногах — за полосатость.

— Дочку снохи напугал, в стену стучал. А ее напугаешь! Она через год замуж вышла, через полтора разошлась. Вызвали милицию, он у милиционера погоны сорвал, думал потом, наверное, что будет суд. Я иду домой, моя старуха от сарая бежит, говорит: «Николаю водки не давай...» У нас водка была. Я и говорю ему: «Нет. Завтра с тобой на рынке выпьем». А он говорит: «Завтра меня уже не будет». Не спросишь же его: где ты будешь?

А шансонье жил в парижском районе Пасси, рядом — Булонский лес. С белой красавицей боксером Долли он приходил туда, и в кафе на открытом воздухе Долли непринужденно вскакивала на стул.

— Что вы хотите, Долли? — спрашивал он.

— Гав!

Что означало бриошь — сдобную булочку.

Гарсон подавал.

В то утро он встретил своего поклонника, холеного пожилого господина со стеклом.

Недавнее знакомство за кулисами. Господин представился мсье Дюпоном*.

Приятно поразило артиста, что мсье Дюпон, не понимавший по-русски ни слова, пришел на концерт с пачкой недурных переводов его песен.

И вот — Булонский лес, аперитив в «Порт-Дофин» и предложение позавтракать на вилле.

Львы у ворот. Парк и газоны. Синеокая дочь. И стеклянная галерея с десятками клеток. В них — белые канарейки.

«Папа обожает их, — сообщила Магги, — он сам их кормит и следит за ними».

Подросток бухнулся на стол с исписанными листами.

Наступал тысячный, и девятисотый, и еще немало десятков — новогодний рождественско-крещенский сезон.

Зима насмешничала: кого подкрасит, кого подсинит. Подростку выбелила усы и баки. Мне — опушила челку.

Я наряжала на участке ель, а Подросток хохотал, лазал по стволу и ловил игрушки вместо мышей и крыс.

Гости в валенках, Подросток босой водили вокруг ели хоровод. Дамы лепили из джентльменов все, что хотели.

«По небу полуночи Ангел летел...»

И случился вскоре еще один карнавал. Я возвращалась последней электричкой. В тот год тем же путем ездил накачанная в подвалах молодежь — наводить страх на столичный град. Их звали «люберы», или «любера». Уже осенью появились сообщения в прессе об их злодеяниях. Первой жертвой была девушка с мольбертом. Они ненавидели интеллигенцию. Люберцы объявили столицей России.

И вот пути наши совпали. Их было десять. Я одна. Они были пьяны успехом. На их головах вязаные шутовские колпаки. Они кричали, гримасничали, ходили в проходе на руках, подтягивались на кронштейнах для багажа и резали сиденья. Изредка взглядывали на меня.

Я сидела в углу на скамье у дверей, смотрела в окно и очень хотела выйти на черную ледяную платформу. Но они сами вдруг с гиканьем схлынули и слились с подобными из других вагонов. А опустевший холодный поезд довез меня до спящего дачного поселка.

Вот все, что запомнилось.

А если запись? Зачем? Спазм, перехвативший горло, ведь отпустил. А невидящие глаза прозрели. А нервы? Так те, что были сорваны в той электричке, их все равно уже нет...

Всю ночь небо обрушивалось на землю. Если бы я вышла из вагона... Где была бы?

Утром я не пошла расчищать путь от крыльца до калитки. Я просидела за столом в спальне у самых островов. А вечером, когда выросла стопка исписанных страниц, Подросток прыгнул и сел на них. Я протерла прогалину на стекле, погасила свет, и мы долго вместе смотрели в сад. Я — на песцовые шубы разных фасонов, выбирая. Он?.. Это загадка. Более того — тайна.

А на следующий день зима залилась слезами. Шубы растаяли, и деревья, словно покойники после омовения, были обнажены. Слезная красота их — с каждой веточки падали алмазные капли — не была напрасной. В тот день я ехала в аэропорт «Шереметьево» в последний раз обнять пожилую женщину, которая после отъезда из России моей подруги тому... назад осталась у нас с ней мамой одной на двоих.

Мои каблуки увязали в раскисшем снегу, короткий сапожок черпал мутную влагу — я опоздала на нужную электричку.

Что сделала бы любой здравомыслящий, что сделала бы моя оканадевшая подруга? Они нашли бы комфортабельный телефон, связались бы с аэропортом, звали бы улетающую, все бы объяснили — и о'кей.

* Во Франции Дюпонов столько же, сколько в России Ивановых.

Не то — славянская душа. Продрогнув на промозглом ветру, поговорив с «поклонником» за жизнь, то есть как раз наоборот — об усопшем соседе, я дождалась наконец электрички на Москву и села в нее, что было абсолютно впустую. Я ехала потом на метро, и поезд наш остановился на двадцать минут в туннеле. Я едва не задохнулась. Это была кара за глупость. А эмоции? Их следует наказывать тоже?

Видик. Кнопка.

Я звоню в дверь московской квартиры. Седая до белизны, меньше меня ростом, она надолго припадает к моей груди.

Пьем чай. Варенье, как всегда, из айвы. Она была студийкой-вахтанговкой той поры, когда с Суреном Кочеряном — кто сейчас помнит его Боккаччо, Арбенина или «Пир во время чумы»? — они подрабатывали на почте: она зашивала мешки с корреспонденцией, а он куда-то их загружал. Она приехала к Вахтангову прямо из тифлисского отрочества, выпрыгнув из трамвая, где старик, притворяющийся слепым, шарил по девичьим коленям.

Она потчевала меня и латала мою одежду, потому что была великой рукодельницей: ай, джан!.. Что за клочок? — в глазах лукавство.

Но разве это фильм? Это пунктир. Потому что, если запустить на полную катушку, на нас — на вас — обрушатся такие бури неорганизованных мыслей и чувств, такой внутренний и внешний хаос, что упаси Бог!.. Выдержать это можно — а чаще нельзя — однажды.

Конечно, свою провожаемую я не увидела. Она уже прошла таможду, а армянские родственники схлынули из Шереметьева на машинах.

Но самолет еще не улетел. Я поднялась на второй этаж в зал застекленного ресторана и встала у окна.

Моторы как раз взревели, самолет очень коротко разбежался, сразу, почти вертикально, взлетел — класс! — и стал набирать высоту. И вот уже точка. И вот уже и ее нет.

Я никогда больше не уроню каплю варенья на ее белоснежную скатерть.

Я спустилась, нашла почту, купила международный конверт, села за низкий столик и описала ей свою одиссею и ее взлет.

Потом выпила чашку кофе. Рядом кто-то ел икру. Потом еще посидела в кресле, повертела рекламный проспект и наконец ощутила силы пуститься в обратный путь.

«Опять жандармскому агенту не до жены, не до вина: российскому интеллигенту взбрело шататься дотемна...»

Сколько разговорчивых милых попутчиков оказалось у меня на обратном пути: и в автобусе, и в метро. Меня сдавали с рук на руки. В электричке ими оказались двое летных парней — подумать только! — они тоже из Шереметьева. Подвыпившие. Кого же провожали, если не секрет?

— Любимого мужа.

— И скоро вернется?

И скабрезное предложение. Немедленно, сейчас — в опустевшую семью.

Хамишь? Я склоняюсь к нему — мы сидим на лавочках друг против друга.

— Мы поедem, мы помчимся?.. — говорю.

Смеется. В глазах резко вспыхивает надежда — не ожидал, что убьет двух зайцев.

— ...в венерический диспансер? — продолжаю.

Смех резко обрывается.

— И отчаянно ворвемся? — спрашиваю ехидно. — Прямо к главному врачу?..

Натужная кривая улыбка. На остановке, задевая колени и ноги, выходит. И второй выходит тоже. Там летный городок.

Но эстафета работает.

Всегда пустынной просекой целых двадцать минут от платформы до дома — одна. А тут — вдвоем. Попутчица. И тоже с разговором. До самой калитки. Ей, видите ли, дальше.

Подросток! Привет! Не паникуй. Вернулась.

Что это было — вечер пятницы или субботы? Следующий день, помнится, был выходной.

Ключом открылась наша калитка, и некто — темный мужской силуэт — прошел по расчищенной мною дорожке к дому. Поднялся на обметенное мною крыльцо и, постучав, также ключом стал открывать дверь на веранду.

Я вышла. Мне подали записку «от тети Веры». Хозяйка дачи писала, что в пустующей комнате временно поживет муж — бывший — ее племянницы.

Я посторонилась в дверях. Чиркнула спичка — он закурил. Подросток шипел из-под дивана.

«Тетя Вера!» — случайная рекомендация летних соседей по даче, от иссохшей жены пузатого советского туза.

Итак, в доме мужчина.

Острова с окон незамедлительно исчезли.

«Шу-шу-шу», — шумят сплетницы-сосны.

Ни марка его сигарет, ни одеколон после бритья мне не нравятся.

Подросток шипит непрерывно.

Крыса шуршит. Сосны шушукуются.

Наутро — вот это и осталось в памяти выходным днем — меня разбудил стук: он вешал кормушки для воробьев. Крестьяне говорят: «Над воробьем жалимся, што близко к нам». А и верно, а я не догадалась.

Потом — ширр — лопатой по дорожке.

В столовой томик стихов. Тарковский. Ни марка сигарет... ни одеколон... Но Тарковский!..

Открываю наугад:

Из дома девушка выходит,
Подходит и глядит во тьму,
В лицо ему фонарь наводит,
Не хочет отворять ему...

Почему стекла так блестяще черны?

Почему сосны не унимаются: «Шу-шу-шу... шу-ше-ра».

Я возмутилась: на каком основании? У человека горе. Разбита жизнь. Он остался без крова. Он физик. В бюджетном институте. Там мало платят. Он, наконец, любит стихи Тарковского. И скоро уедет навестить родителей... Птенцы вылетели из гнезда и забыли своих родителей. А вы помните? Он помнит.

Но сосны свое:

«Шабаш. Шалость. Шайка и шавка. Штучка: шуганула шустро. Шуры-муры с шефом...»

Уф-ф!.. Я проверила крючок на двери спальни.

Рано утром он уходил. Возвращался поздно. Хлопала калитка, скрипели шаги, скрежетал в скважине ключ...

Целая гора продуктов выросла на веранде и в столовой. Но Крысе не по зубам: жестяные деликатесные банки. Где такое берут? В России нынче голодно. Мы с Подростком на «кругу» простояли два часа за ребрами.

Видео. Кнопка.

Поздний вечер. Я с ногами под пледом на постели. Вся — слух. Наконец! Легкий звон — калитка. Шуршание — шаги. Шелест — на террасе. Ноги — с постели. Дверь на крючок. О бдительная гордыня! Новелла не дочитана. Рука тянется к распечатке и застывает.

«Мы свечи зажжем в честь нашей любви, о которой никто не узнает...»

Пожалуйста, выключите. Слышите, доктор! Я не хочу это вспоминать. Спасибо, доктор.

Новелла:

«...левая рука актрисы... мадемуазель Ивон Прэнтан... от плеча до кисти... украшена обручами... и застрахована в пять миллионов франков...»

С трудом я погружаю себя в мир парижских страстей. Шуршанье на террасе прекратилось.

«...Знаменитость мюзик-холлов Мистангет выходит на сцену в манто из настоящих «парадизов», самых дорогих в мире птичьих перьев хвостов райской птицы...»

В столовой звон ложки о стакан...

«...Манто хранится в сейфах Банка Де Франс, и его привозят на спектакль артельщики банка, вооруженные револьверами...»

Звук отодвигаемого стула, сигаретный дым, хлопок двери его спальни.

«...Мечтаю о теплых руках, которые в холод согреют меня...»

Как вы посмели, доктор? Только с согласия!.. Вы что не знаете инструкции? Я протестую, я буду...

Наш шансонье ужинает с другом в маленьком ресторанчике «Клошд'эр» на Монмартре. Отворяется дверь, и появляется их общая приятельница — хорошенькая манекенщица Клод. Она садится за столик, но к ужину не прикасается. Бледная и дрожащая, она что-то переживала и пила коньяк большими рюмками, не пьянея. Под утро она стала просить отвезти ее в далекий район Парижа, где не было жилых домов и где была тюрьма.

В этот день была назначена казнь некоего Гоше — молодого юноши, ограбившего ювелира на авеню Мозар и убившего его, его жену и приказчика. Забрав несколько бриллиантовых браслетов, он скрылся, но был пойман полицией. Гоше был любовником Клод.

Ей давали коньяк стаканами, но он не действовал. Она умоляла. Пришлось согласиться.

Пляс Х. Серый предутренний туман. Толпа. Полиция. Внезапно по толпе движение и вздох — это где-то скатилась голова Гоше. Клод забилась в истерике. Ее увезли в амбуланс.

Наш соотечественник тоже был близок к обмороку. Он увидел маленькое бистро, вошел и возле грязной стойки выпил стакан коньяка.

Внезапно дверь отворилась и... появился мсье Дюпон, тот, из Булонского леса, с виллы с канарейками.

— Что вы делаете здесь?— спросил он.— Вы артист. Вам надо беречь свои нервы — это слишком сильные ощущения для вас.

Он выпил рюмку коньяка, крепко пожал артисту руку и вышел.

Знакомый журналист, подойдя, спросил:

— Откуда ты знаешь этого человека?

— Это мой поклонник.

— Это Дайблер. Палач города Парижа.

«Стая белых канареек,— пишет автор,— вспорхнула и вылетела из моей головы...»

Я в глубокой задумчивости.

А на Руси в праздник Благовещенья выпускают из клеток птиц, веруя, что они замолят у Бога грехи своих освободителей.

Сосны шумят.

Кормушки раскачиваются.

Подростка нет.

Крыса грызет нахально.

Сигаретный дым сочится в дверную щель.

Следующий вечер — последний. Он уезжает на неделю.

Пригласил к чаю: шоколадный торт с орехами, с безе. Где такие берут?

Разговорились. В семье их трое братьев. Он самый младший. Ну совсем младший: разница лет в двадцать. «Поскребыш,— сказал,— как говорят в народе». Фу!— невкусное слово. Однако не словесник, будем милосердны. А родители?

— В Архангельске.

— У вас, может быть, дом на валунах? Окнами на озеро. А на чердаке прялки?

— Нет!— смеется.— Четырехкомнатная секция.

- Так вы не из поморов? Не Михайло, пришедший в Москву пешком?
- Не коренные мы, еще до войны приехали.
- Значит, батюшка не рыбачил?
- Заминка. Ответ.
- Что?..
- Кивок.
- И... в тридцатые?
- Да.
- И... в тридцать седьмом?..

Всю ночь Мороз расписывал окна.

Сначала появился — что за диво! — фаэтон. Нет, сначала ковры фиалок и цикламенов. Букеты азалий и рододендронов. Потом фаэтон. «Букеты, ветви, цветы привязаны к фаэтону: на задок, наверх, на фонарные кронштейны, на козлы к фаэтонщику, под ноги. По дороге катится цветочная «корзина»*.

В фаэтоне мальчик. А это что за люди в телогрейках с номерами на спине? Они бритоголовы. Они везут тачки. А в щели моей двери сочится дым. Махорка? Нет, «Мальборо».

Черной бычьей шкурой ночь. По всем окнам рисует Мороз. А в доме душно и дымно. Расписывает Мороз белилами с блестками: белые церкви соловецких кремлевских стен, серо-белые соловецкие чайки. Успенский и Преображенский соборы, церковь Усекновения на Секирной горе и еще два десятка церквей. Скит Голгофский, скит Троицкий, скит Савватиевский, скит Муксалмский и два десятка часовен.

Святые ворота открыты для краткости пути на кладбище.

А в Голгофской церкви трупы ставят в притворе — так меньше занимают места: их сталкивают вниз с Голгофской горы.

18 июня 1712 года иеромонаху Иову во время ночного молитвенного бдения явилась Богоматерь «в небесной славе» и сказала: «Сия гора отселе будет называться Голгофою, и на ней устроится церковь и Распятский скит. И убелится она страданиями неисчислимыми»**.

Чертит своим стилем Мороз. Разгоняют трое стеклом заключенных и быстро под руки волокут с обмякшими ногами и руками человека в одном белье, с лицом, стекающим, как жидкость, — туда, под арку, в низенькую дверь.

А другой идет босиком, руки за спиной связаны проволокой, и курит без помощи рук последнюю папиросу. Кто этот гордец? Исконный аристократ? Кадровый военный? Лицеист? Художник? Философ?

Слезы заливают мое лицо.

А вот и мальчик из субтропического детства. Муж длиннокудрый с глазами миндалем, с ликом святого.

«Господь Иисус — кроткий тихий свет от святой славы бессмертного, значит святого и потому блаженного Отца Небесного. Но Он, это тихое Солнце миру, взшло на Земле и затем закатилось, снова стало как бы не с нами. Мы видели свет этого закатного Солнца, и в нем, в свете этого Света, «узрели свет» Присносущной Троицы. Поэтому и воспеваем теперь Ее, Отца и Сына и Святого Духа-Бога; Сына же Божия, тем трисолнечным просветлением твари дающего жизнь миру, мир славит в благодатных песнопениях»***.

И страшная боль моя от оконных видений сменяется тихой грустью.

Я засыпаю, а голос поет:

«Христе, свете истинный, просвещай и освящай всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет лица твоего, да в нем узрим свет неприступный...»

Было позднее утро. Сочельник. Подросток спал у меня на подушке. В доме было тихо. Оконные стекла чуть приморожены, и мне видно, как на розовом снеге розовые сосны примеряют розовые песцовые шубы.

* Из письма Павла Флоренского с Соловков матери.

** Рукопись XVIII века. Государственная публичная библиотека, Соловецкий патерик.

*** Павел Флоренский. Столп и утверждение истины.

И нам с Подростком пора собираться. Хоть и невелик наш багаж, но, чтобы сложить его, ушел весь день.

А Мороз вновь к вечеру взялся за кисть и стило. Но не с тачками мученики, а в теплом краю идет от окна к окну вереница добрейших пастухов. Идут босые. На плечах шкуры. В корзинах сласти — идут приветствовать Того, о ком возвестили им. Волнуются деревья, мимо которых идут пастухи. Им тоже хочется поклониться Младенцу-Спасителю.

Двинулись и деревья вослед пастухам. Только елочка отстает. Не по росту и не по годам выбрали ее сородичи, а по красоте: маленькую, стройную, пушистую.

Багаж наш с Подростком собран. Я заперла дом, а ключ опустила в почтовый ящик на калитке.

Снег сверкает бертолетовой солью.

Шоссе налево — на «круг», направо — на Москву.

Проголосовали.

А Мороз в оставленном доме продолжал на окнах рассказ: шли пастухи, и яркая звезда указывала им путь — там, в яслях на соломе, Младенец Христос. Подошли к пещере. Но не видно маленькой елочке Его. Оглянулась она по сторонам и увидела холмик. Радостно взошла на него, вытянулась вся, и большая голубая звезда скатилась с неба ей на верхушечку, и другие, поменьше, покатились и рассыпались по ней разноцветными огнями. Почтительно расступились деревья, пропуская елочку ко входу.

Млечный Путь расчищен: его трапеции, треугольники и ветви.

Наше авто, что «Испано-сюиза», мягко качает на рессорах. Мы едем лесом.

А над нами косо к Земле уже поднялись три звезды пояса Ориона. От его нижней — кнут Ориона: тройная звезда с вольтовой дугой, ниже ее — темная туманность Лошадиная голова; еще ниже — два звездных пятна, две гигантские галактики.

Правее и под поясом — тройной синий Ригель, влево вверх — красный Бетельгейзе.

Большой ковш Медведицы огибает Змееносец.

Лебедь — три хорошо видимых звезды, четвертая — в голове — плохо видна. А всего — пять. А вообще — бесконечность.

И Скорпион — в главных звездах имеет клешни — звездный ухват.

И Большой Северный треугольник рядом с туманностью Андромеды.

И, конечно, ярче всех — ярчайший Сириус.

Вот только всего и видно нам с Подростком из авто.

Подросток доволен. Предок начинает пробуждаться в нем. В его глазах я вижу хитринку — он чувствует, что едет навстречу своей первой Весне.

И Крыса рада. Она опять избежала встречи с котом с Мадагаскара. А запасы до конца зимы сделать успела.

Лес кончился.

В высоких домах вдоль шоссе в некоторых окнах горели огнями елки.

Я попросила водителя приспустить стекло. И в образовавшуюся щель стала кидать свои исписанные страницы. Одну за другой. Пока не выбросила все, потому что теперь я знала, что буду писать иначе и о другом. И затворничество мне больше не нужно.

А елки все зажигались и зажигались. И вот уже не было ни одного окна, в котором не горела бы Ель.

«Рождество твое, Христе Боже, наш
Россия мирови свет разума...»



Н е в о в р е м я и н а з л о

Сложности лжи

I

Летом вскипало тело.
Гарь расплзлась вширь.
Странно в ушах звенело,
будто точат ножи.

Что-то случится. Ужас
в каждом углу обитал.
— Хватит, кому ты нужен?
— Тому, кто меня искал.

Между землей и небом
что-то случится, мам.
Кто-то закинул невод.
Я еще не был там.

— Мало ли где ты не был! —
старуха кричит. — Не спеши!
Оттепель. Столько снега,
сколько осталось жить.

Сложности лжи. Лужи.
Действия не совершить.
Стало страшней и хуже.
Лес за окном дрожит.

Свечка дрожит и скатерть.
Пыль дрожит на полу.
В будке дрожит собака.
Крыса дрожит в углу.

— Я осознать не смею
утра другого дня.
Что-то мне давит шею.
Не обнимай меня.

Некуда, мама, скрыться.
Мама, все громче звон.
Мама, я вижу лица
с обратных своих сторон.

Словно вокруг болото —
страшно ступить ногой.
Слышишь, стучат в ворота,
это пришли за мной.

II

Он бледен и строен,
он равносторонен,
Как воздух, почти безлик.
Город застроен.
Судья похоронен.
Кофе на пол пролит.

Ночью приснится
злая столица.
А утром, платье зашив,
будет старуха
на кухне молиться
за упокой души.

А он беспечен.
А он без песен.
А он обесточен и пуст.
И чьи-то речи
ему на плечи
не лягут, как мертвый груз.

III

— Мама, я вижу лица
с обратных своих сторон.
В дырах их глаз двоится.
Каждый был повторен.

Свечка дрожала, скатерть,
пыль тряслась на полу,
в будке тряслась собака,
крыса тряслась в углу.

Напоминает что-то
лес за любым окном.
Кто-то стучит в ворота.
Стук этот мне знаком.

IV

Медленно время длится
или оно прошло.
Все, что будет, случится
не вовремя и назло.

Стало страшней и хуже.
Впрочем, так было всегда.
Гарь оседала в лужи.
Черной была вода.

В доме темно и сухо.
Сломаны в нем часы.
Был у какой-то старухи
когда-то какой-то сын.

Случилась весна. За нею
лето, его предел,
зима. И выпало снега,
сколько он захотел.

1986

* * *

..каркнул ворон: «Никогда»
Эдгар По

Летость стар моих уныла.	Вдоволь высмеялись птицы,
Слабы крючья давних ног.	Заглянув в мое окно
Морщ сухая изощрила	? Плакать или восхититься?
Тело вдоль и поперек.	Каркнул ворон: «Все равно».

Стыдно

Стыдно употреблять слова,
потому что они всеобщие.
Очень стыдно звук умножать на два,
очувтившись в месте, где слову проще
возвратиться эхом, нежели замолчать,
как преступнику, пойманному с поличным.
Бесконечно постыдно умение замечать
в постоянных действиях постоянную неприличность.

1990

Ноль

Ноль,
вычерпавший
нутро себя.
Луна скользит как краб.
Нежен раб оливковый,
фруктами кормимый.
Ничтожество его
люблю любить.
Я —
ноль,
вычерпавший
нутро себя.

1987



Р а с с к а з ы

КАК Я ДЕЛАЛ ПОРТРЕТ ГОРБАЧЕВА ДЛЯ ОБЛОЖКИ ЖУРНАЛА «ТАЙМ»

Почему-то все звонят, когда я работаю. Только войдешь в режим, начинается. Вот и в тот раз: «Здравствуйте, вас беспокоят из московского бюро журнала «Тайм». Сейчас в Москве находится художественный редактор журнала. Он хотел бы посмотреть ваши работы и, по всей вероятности, сделает вам предложение».

Они вскоре приехали. Кажется, было первое ноября. Американец, как положено, — большой, красивый, все время улыбается. Американка тоже большая, красивая, тоже улыбается, а с ними Феликс Абрамович — переводит. По традиции журнал последний номер посвящает самому выдающемуся политическому деятелю уходящего года. В этот раз «человеком года» будет Горбачев. По традиции обложка журнала рукотворная. Редакция решила поручить обложку советскому художнику. Господин Хоглунд прибыл в Москву с целью отобрать художников для участия в конкурсе.

— Я, — говорю, — никогда не делал обложек и вообще в полиграфии не работал.

— Это ничего, — говорят, — ваше дело — портрет, а остальное — наше дело.

— Я, — говорю, — никогда в жизни на заказ не писал, тем более генсеков.

— Это ничего, — говорят, — вы должны сделать свою работу, в своей манере, со своим отношением, видением. Действуйте как всегда.

— А откуда, — говорю, — вы мою манеру знаете?

Предъявили мне слайд с картины, выставившейся у моей галерейщицы Филлис Кайнд в Нью-Йорке. Мужичок на вокзале, красномордый такой. В общем, загнали меня в угол, пришлось показать картины. Они посмотрели.

— Ну, а к Горбачеву как относитесь? — спрашивают.

Я ответил в том роде, что неоднозначно отношусь, они записали.

— Теперь, — говорят, — два-три дня подождите. Мы должны посмотреть еще ряд художников — у нас большой список. Потом мы отберем два-три автора и сделаем им заказ. Окончательный выбор редакция журнала оставляет за собой. Каждый отобранный автор, если выполнит работу в срок, получит три тысячи долларов. Работа должна быть выполнена к началу декабря.

Как-то не очень уютно, конечно, но все же лестно: они показывали обложки предыдущих лет — Уорхол, Раушенберг, Лихтенштейн.

Тема не больно-то моя, ну а если демонстрация: везут огромный портрет, а кругом маленькие лица и шарики. Или, скажем, фоном — ЦК, решетка портретов, как в «Правде» после съездов, все серое, а впереди Горбачев, цветной, аж спектральный. Или, к примеру...

Через пару дней звонит Феликс Абрамович.

— Вы отобраны для участия в конкурсе. Художественный редактор перед отлетом в Нью-Йорк хочет еще раз с вами побеседовать.

Ну, что ж, ваяйте. Приехал главный, вытащил какие-то слайды, фотографии.

— Вот примерно то, что мы хотели бы иметь.

Горбачев на фоне неба, Горбачев на темном фоне. Чушь какая-то.

— Так вам что, парадный портрет нужен?

- Нет, нет, не парадный! Это должен быть живой человек.
- Но вы же говорили: авторский взгляд, авторская манера...
- Ну да, мы и говорим: мягкий контур, сдержанный колорит.
- Та-ак, понятно. А отношение к фону, антуражу?
- Фон желательно нейтральный, скажем, небо.

Я с тоской взглянул на пасмурное небо за толстыми переплетами моего окна. Вот влип! И вдруг вижу: там, в небе, висит дирижабль, а под ним в рваных облаках — красное знамя. Было 5 ноября 1987 года. Страна изготовилась праздновать славное семидесятилетие. Ладно, будет вам небо, только в небе — стяг Страны Советов, публикуйте на здоровье на обложке журнала «Тайм».

- А кто остальные участники конкурса?
- Пока это тайна.
- Хорошо, только у меня одно условие: чтобы не было никаких надзирателей.
- Ну что вы! Это дело только наше с вами. Салахов разрешил выбирать любых художников. Мы забираем готовую работу и везем в Нью-Йорк. Все будет решаться там. О'кей?
- О'кей.

К назначенному сроку у меня образовалось два Горбачева. Я начал одно: ракурс снизу, микрофоны, говорящий рот, колорит иконы — коричневое лицо, золотисто-зеленоватое, с тревожными облаками небо. Показалось, что запорол, и начал второго — с такой американской улыбочкой, закатное небо с легкими розовыми облачками, и на лице отсветы заката. В небесах, ясное дело, дирижабль со стягом — и там, и там. Экипировка — как положено. Когда начал второго, пошел первый; в общем, вышло два. Звоню в «Тайм».

- Закончил, — говорю, — забирайте, только у меня два получилось.
- Ладно, — говорят, — заберем, только их сначала в Министерство культуры везти надо.
- Как, — говорю, — что такое? Мы не так договаривались.
- Ну как же! — говорят. — Без разрешения Министерства культуры нельзя вывезти за пределы СССР никакое произведение изобразительного искусства, тем более ТАКОЕ.

Вот тебе и «о'кей», думаю. Ладно, хрен с ними! Подпишется кто-нибудь, печать приложит, раз они без этого не могут.

- Мы сейчас с остальными авторами созвонимся и назначим день.
- А кто же остальные, скажите наконец?
- Рудольф Хачатрян и Петр Оссовский.

Назначили. Заехали за мной на белом, знаете ли, «мерседесе» — и в министерство. Оссовский, говорят, попозже привезет, рамку еще не докрасил, а Хачатрян уже там. Долго плутали по коридорам и наконец остановились перед дверью с табличкой «Начальник отдела изобразительного искусства». Ни больше, ни меньше. Приехали, поздравляю вас, Семен Натанович! В приемной сидел кавказского вида человек — Хачатрян, стало быть, — и возмущался с сильным акцентом: «Вы пасматрите, что они тут приготовили!» Смотрю, действительно интересные штучки: вроде как фотографии и вроде как Горбачева, только не фотографии и не Горбачева. Этакие фотороботы, отпечатанные типографским способом. Уж лицо и череп Горбачева я как-нибудь изучил: больше месяца глаз не сводил. А тут все не его, составное — глаза, уши, нос, рот, череп, — а в целом как бы он. В двух вариантах. Жуть какая-то.

- Это, — говорит Хачатрян, — эталоны, они нас па ним праверять будут.

Представитель журнала «Тайм» в восторге. Появившийся в это время в приемной начальник отдела хватает фотороботы и укоряет Хачатряна, поблескивая фиксой:

— Ну что ты, Рудольф, какие же это эталоны, зачем товарищей в заблуждение вводишь? Тебе просто так показали, по-дружески, а ты?.. Никакие это не эталоны, у эталонов сзади должна быть собственноручная подпись изображаемого, а здесь, видишь, ничего нет. — И уносит пособия к себе в кабинет.

Заходят люди, смотрят, уходят. Один объясняет:

— Сейчас ваши портреты будет просматривать иконографическая комиссия.

- Какая-какая?

— Иконографическая.

— А зачем?

— Ну как зачем! Определять, соответствует изображение иконографии или нет.

— А как определять?

— Как, как — по эталонам, как же еще?

— А-а, понятно! Скажите, а кто будет вывоз оформлять?

— Не знаем. Мы только иконографию смотрим, а вывоз мы не оформляем. Это вам куда-нибудь в другое место надо идти. Может, в салон по экспорту, может, еще куда.

Оссовского все нет. Министерские люди ушли на совещание, просили вызвать их, когда придет Оссовский. Мы маемся часа полтора, наконец появляется Оссовский-младший с картиной в раме. Петр Оссовский заболел. Скажу вам честно: мои конкуренты подкачали. Мне обычно на вернисажах кажется, что у всех здорово, кроме меня. А тут не показалось. Переволновались, наверное. Вызываем мы с совещания иконографическую комиссию во главе с начальником отдела изобразительных искусств, и они приступают к работе. Походили опять, посмотрели. Вяло как-то. Без эталонов какая комиссия?

— Вас, — спрашивает начальник представителя журнала «Тайм», — портреты устраивают?

— Иес, мы их в Америку отвезем и там посмотрим.

— Ну и нас устраивают, претензий к иконографии нет. Только мы не специалисты, а у меня тут случайно в кабинете оказался — просто мимо проходил и зашел — президент Академии художеств СССР товарищ Угаров. Может быть, мы его как специалиста попросим высказаться?

Из дверей кабинета появился товарищ Угаров, приветливо пожал всем руки и обратился к картинам.

— Вот этот похож, — сказал он, указывая на моего первого Горбачева, — этот какой-то красивый и переносица узка (про второго), а эти, — он повернулся к произведениям моих конкурентов и по пунктам, как преподаватель в художественной школе, разнес их: нос проваливается, виски вспучены, уши не стоят — примерно в таком роде. Потом вернулся к моему: — Этот ничего, фотографически похож. Ну, он, конечно, и сделан с фотографии, это видно, но ничего. Образ есть — трибун. Чуть-чуть воротничку толщинки не хватает, заворачивается неубедительно, узел у галстука крупноват, но в общем ничего, можно согласиться. — И ушел обратно в кабинет. Начальник отдела за ним. Немая сцена. Через пару минут появляется начальник: «Хачатряна и Оссовского попрошу в кабинет».

Первым минут через десять появился Хачатрян.

— Падумаешь, им не нравится! Я не для них делал. Я для «Тайма» делал, а «Тайму» нравится.

Следом Оссовский-младший — натурально с красными ушами: Угаров позвонил его отцу, и тот согласился взять портрет на доработку. Тут выяснилось, что оформить вывоз они все же могут, им это раз плюнуть, но для этого нужно по два фото с каждой работы, письмо от журнала, и еще что-то, и еще. К концу рабочего дня процедура оформления была закончена. На картинах стояли печати: «Разрешено к вывозу из СССР».

На выходе из министерства нас остановил вахтер — вся грудь в орденах.

— Предъявите документы на вынос картин!

— Вот, пожалуйста, документы на вывоз картин в США, вот печати.

— Это документы на вывоз, а мне нужны документы на вынос, и попрошу очистить проход.

Американец, представитель журнала, улыбался весь день, а тут перестал.

— Мы, — объясняем вахтеру, — были весь день у начальника отдела изобразительных искусств. Позвоните ему, он все объяснит.

— Чего это я ему звонить буду? Сами звоните, а мне документ нужен.

— Хорошо, — говорю, — мы сами ему позвоним. — И беру трубку телефона на его столе.

— Положите трубку, посторонним запрещено!

Тут я не выдержал и попросил его перестать хулиганить. Он, кажется, только этого и ждал. Встал, багровея, и нажал кнопку какого-то звонка.

— Оскорбляете, значит, при исполнении...

Своего лица я не видел, но на лицах моих попутчиков начало проступать что-то вроде выражения ужаса. Собственно, звонок нас и выручил. Пришел начальник охраны и, моментально уяснив ситуацию, ласково проводил нас до дверей.

Когда портреты были уже в Нью-Йорке, мне сообщили, что, кроме конкурса авторских работ, журнал провел параллельный конкурс среди народных промыслов, и главные претенденты на публикацию — портрет из Федоскино и мой № 1.

Через некоторое время я держал в руках последний номер журнала «Тайм» за 1987 год с портретом Горбачева работы федоскинского мастера, и мне не было обидно и завидно тоже не было. Честное слово! И история хорошая получилась, и все на своих местах осталось.

Позже Горбачев № 2 вернулся ко мне в соответствии с условиями конкурса, и я его загнал каким-то жучилам, а Горбачев № 1 так и застрял в нью-йоркской редакции. Сперва его хотели использовать при первом удобном случае, потом редакторша обложки страшно влюбилась, бросила свою обложку к чертям собачьим и сбежала с любовником на Багамы. Может быть, вся эта история еще не закончилась? Кто знает...

КАК Я ДЕЛАЛ ПОРТРЕТ ГОРБАЧЕВА ДЛЯ ОБЛОЖКИ ЖУРНАЛА «ТАЙМ»

(продолжение)

— А что вам больше всего нравится в Нью-Йорке?

— Люди. Простые ньюйоркцы.

Пауза.

— А какой ресторан в Нью-Йорке вам нравится больше всего?

— «Стейк хаус», куда вы нас приглашали в прошлый раз. Никогда в жизни не ел бифштекса такого размера.

Пауза.

— А какой город США вам больше всего нравится?

— Нью-Йорк, но мы мало видели других городов.

Пауза.

— А... какой... цвет вам больше всего нравится?

— Я не знаю. Я художник. Мне все цвета нравятся.

Пауза.

Ленч подходил к концу. Мы сидели в одном из модных заведений Сохо на Вест-Бродвее. Стены были из неоштукатуренного кирпича с расшитыми швами, а из них торчали доньшки полных бутылок — таким образом был решен интерьер. Руди Хоглунд, художественный редактор журнала «Тайм», излучал обаяние, а его секретарша впитывала это излучение. Что касается приглашенных, то наши лица на светились ни прямым, ни отраженным светом. Когда подали десерт, Руди наконец произнес монолог. Сначала он рассказал историю из жизни, которую я плохо понял и еще хуже запомнил. Там присутствовали художник, какая-то дамба, муниципальная активность и плохо в конце концов выполненный плакат. Но мораль, выведенная Хоглундом, возвысила эту историю до уровня притчи и подвела нас к существу дела. Руди сказал:

— Я понял, что художник должен быть свободен. Абсолютно свободен.

После этого торжественного заявления он перешел к делу:

— Я предлагаю вам следующее: вы делаете для «Тайма» еще одну обложку. Вы делаете то, что хотите и когда хотите. Вы можете сделать ее в Нью-Йорке или в Москве. В последнем случае вы передадите картину в наше московское бюро. Деньги за работу мы переводим вам завтра. Наше единственное условие, чтобы был Горбачев.

Как я и подозревал, история моих отношений с журналом «Тайм» не закончилась участием в конкурсе на портрет Горбачева для обложки последнего номера за 1987 год, где он был объявлен человеком этого года.

В марте 89-го, через неделю после нашего прибытия в Нью-Йорк, Руди Хоглунд пригласил меня с женой на обед. Обед действительно был очень вкусным: толщина бифштекса, его площадь и вкусовые качества поразили наше

тренированное в этом отношении воображение. В машине по дороге в ресторан Руди предложил сделать для «Тайма» еще одну обложку — они готовят номер о переменах в СССР.

— Опять Горбачев?

— Конечно! Для нашего читателя Горбачев — символ перестройки!

В общем, через две недели вещь должна быть готова. Мне, конечно, опять полная свобода действий. У них замечательный дом на побережье — приглашают на уик-энд. Я поблагодарил, сказал, что вот обложку сделаю, тогда с удовольствием. Ну и между прочим Руди уже в ресторане черкнул эскизик, как он все это видит: стоит Горбачев на дороге посреди необъятных просторов России. Бифштекс мы не доели, попросили завернуть с собой.

Как раз в этот день у меня появилось наконец помещение для работы, но не снабженное ничем, кроме умывальника и унитаза. Первую из двух недель я носился по магазинам и оборудовал студию, в промежутках судорожно эскизирую. В результате возникло несколько вариантов, и было решено показать их Хоглунду. Руди отобрал два. В первом под давлением окружающих я развил его идею. Горбачев идет по дороге меж телеграфных столбов, низкий горизонт, хмуро, поля и перелески. Руди сказал, что должно звучать великое прошлое России: побольше церковей и оптимизма. В основе второго варианта Горбачев — карточный король. Идея принадлежала двум женам — моей и Володи Фельцмана. В результате предлагалась карта — Горбачев на фоне Кремля. Кремль сверху в утренней дымке. Страна, поставленная на карту, страна ставит на Горбачева — что-то в этом роде. Руди взял оба варианта и уехал в редакцию советовать. Через несколько часов позвонил: редакция заказывает оба. Ростовую фигуру в полях и лесах для ближайшего номера и карту на будущее. И еще — вечером надо будет приехать в фотостудию журнала и поработать с «боди» (телом) Горбачева — у них есть специальный человек для этих случаев.

Вечером в студии «боди» маршировало на белом фоне по выложенным на полу листам зеленой бумаги, а сотрудники студии щелкали его во всех фазах. Когда «боди» поворачивалось, чтобы занять исходную позицию, было видно, что его специальный «русский пиджак» был распорот по всей спине и схвачен скотчем, то же было и с рукавами. «Тело» оказалось полновато, и его хозяин по-американски решительно вышел из положения — дело важнее всего. Моя жена, когда ей предложили пороть отлично сшитый пиджак цековского покроя, заколебалась: «Ничего, не жалко?» — спросила она. «Не волнуйтесь, мама зашьет», — ответило «тело». Результатов работы не надо было ждать — роскошные поляроиды 30x40 тут же вылезали из фантастической аппаратуры, заполнявшей собой все пространство студии. Корректировку я вел на ходу и уже на следующее утро начал работать на холсте.

Я чувствовал: меня аккуратно, под локотки, ведут к славе. Сделай то, что хочет Хоглунд, ну что тебе стоит? «Тайм» идет навстречу, раскрыв объятия. На тебя поставили. Первый раз в жизни я почувствовал себя человеком с подходящей анкетой.

Через пять дней Руди приехал смотреть готовую работу. Ему понравилось. Горбачев бодро вышагивал в сером представительском костюме-тройке по тропинке среди полей, а в природе царила весна. На переднем плане цветущий луг, на втором — пашня и деревенька с церквушкой, вдали стены монастыря и леса на горизонте. По небу плывут облака, а по земле скользят их легкие тени. Картину отвезли в ту же фотостудию — готовить для обложки. Руди сказал, что теперь на очереди второй вариант, только картину лучше сделать на нейтральном фоне, они еще не знают, как будут ее использовать. На красном, скажем, — сверху потемнее, внизу посветлее, с плавным переходом.

Мы ждали звонка из редакции, мол, поздравляем, ждите выхода номера с вашей обложкой, но никто не позвонил. Через день, когда я работал в мастерской, Руди Хоглунд пришел к нам домой и беседовал с моей женой. В самый последний момент обложка не пошла, чем-то не устроила главного редактора. Руди взял вину на себя, подарил фотопробу, где в синем небе над шагающим Горбачевым красным, как на картинах Булатова, горело название журнала, а вся идиллия, согласно традиции журнала, была заключена в красную рамку. Он подтвердил приглашение в свой загородный дом на ближайший уик-энд и заказ редакции на второй вариант. При ближайшем случае я под благовидным предлогом отказался от совместного уик-энда и через Филлис Кайнд отказался де-

лать следующую обложку. Правильно, сказала она, нечего, такие они, сякие, но через несколько дней передала приглашение Руди на ленч.

Простите меня, Михаил Сергеевич. Я бы не делал ее, эту третью обложку, но коварный Руди заплатил вперед. Мне ничего не оставалось, кроме как сделать то, что я сделал. Я сделал непроходную обложку. Я сделал почти все, как хотел Руди. Я сделал карту красной масти на красном фоне. Карту масти красной звезды с Горбачевым, похожим на Мао, с красными пятнами на черепе. А из красного фона, густо-вишневоговерху и светлеющего книзу, выступила панорама Кремля с птичьего полета. Очень красиво получилось. Я передал картину в галерею и занялся наконец тем, чем хотел, — очередь за колбасой в день празднования семидесятилетия советской власти, тремя солдатиками на вокзале, едящими мороженое на границе света и тени. Редакторша обложки посмотрела картину (Руди не было в городе) и сказала, что картина ей нравится, но опубликовать они ее, по-видимому, не смогут. То есть, может быть, и смогут, но не раньше, чем в России начнется гражданская война.

Итак, я прощаюсь с вами, мой красный Горбачев, я оставляю вас заложником успеха перестройки. Пусть все, я не знаю как, но получится у вас, реального политика, в вашей нереальной затее отреставрировать социализм и двигаться дальше к коммунизму. Я за то, чтобы моя картина никогда не украсила обложки журнала «Тайм». Пусть слава, если я ей угоден, ищет меня на других путях.

НОЧНОЙ ЛИФТЕР

Два месяца мы с женой жили в Манхэттене на улице Ирвинг Плейс возле парка Грэммерси. Это очень престижный район, а парк Грэммерси является коллективной частной собственностью жильцов прилегающих к парку домов. Каждый собственник имеет свой ключ и, входя в парк и выходя, запирает за собой калитку. Наш дом как раз примыкал к парку, и нам бы полагался ключ, будь наше жительство постоянным. Дом был не то начала этого века, не то конца прошлого. Красного кирпича с белыми вставными рельефами, изображавшими всякую нечисть. Чем выше, тем крупнее становилась нечисть и все больше вылезала из стен на воздух. Одна из химер пристроилась у нас на пятнадцатом этаже между кухней и спальней, всем телом свесившись над улицей.

Дом обслуживали два лифта, а лифтами управляли сменные лифтеры. Надо было манипулировать дверями, железными раздвижными решетками, а главное, осуществлять подъем и спуск скрежещущими рычагами с латунными рукоятками, посредством которых лифт разгонялся и замедлялся, и было совсем непросто остановить его вровень с полом этажа. Когда это не удавалось, лифтер медленным ходом доводил его до нужной отметки, если это был старик, а молодые говорили: «Воч ер степ» (смотрите под ноги). Старики работали в более привилегированные дневные смены, те, что помоложе, вечером и ночью. За полночь работал всегда один и тот же молодой человек небольшого роста, как говорят культурные люди, «южного вида», и мы часто пользовались его услугами.

В одну из первых ночей он спросил меня: «Вы откуда?» Я ответил. «А как по-русски «спокойной ночи»? Я ответил, и после слов «воч ер степ» он пожелал мне спокойной ночи по-русски, совсем недурно это произнеся, а я ему — по-английски. При дальнейших встречах он больше не заговаривал, а только приветливо здоровался и прощался по-английски.

В последнюю ночь пребывания в Нью-Йорке я выпил с друзьями несколько чашечек сакэ в японском ресторане (жена уехала в Москву чуть раньше) и, будучи переполнен чувствами, сообщил ночному лифтеру, что назавтра улетаю в Москву.

— О, Москва — это великий город! Я знаю. Это столица страны победившего социализма, — сообщил он мне.

— Да, — говорю, — это так.

— А сейчас, я знаю, вы коммунизм строите.

— Ну, — говорю, — это кто как.

— А я из Гондураса. Вы должны знать эту страну.

— А как же, — говорю, — конечно, знаю.

— Мы там революцию делали. Вы знаете Хурмадо Хурмандеса? — И посмотрел на меня с надеждой, убить которую у меня не хватило духу.

— Ну как же, — говорю, — очень знакомое имя, наверное, в газетах все время попадается.

— Да, конечно. (В дальнейшем он все время удовлетворенно и ритмично кивал головой, придавая тем самым дополнительную убедительность своим словам.) — Он мой друг. Хурмадо — великий человек. Его знает весь мир. Мы с ним вместе революцию делали. Это везде писали. Мы с ним вместе ленинизм-сталинизм изучали. Мы сначала с ним вместе ленинизм-сталинизм изучали, а потом революцию делали.

Он замолчал и еще некоторое время кивал головой. При расставании после слов «воч ер степ» он пожелал мне счастливого пути, а я его поблагодарил. И потом у себя в апартаменте, включая кондиционер, наливая апельсинового сока с кусочками апельсина и глядя мимо химеры на сверкающий ночной Нью-Йорк, я думал: «Как хорошо, грамотно, а главное, нормально, естественно устроен мир, где симпатичные молодые люди, искренне желающие счастья своей стране и своему народу, изучив ленинизм-сталинизм, делают революцию, но все же не доделывают ее и потом старательно водят лифты в ночном Нью-Йорке, будучи при этом, насколько позволяет им воспитание, вежливы и обходительны».

ПУТЬ ДОМОЙ

Все как обычно: Елоховка, паперть с требовательными нищими, потом скверик с ними же, но уже отдыхающими, едящими, пьющими и спящими на скамейках; через дорогу пивной ларек с очередью, сколь колоритной, столь и не нуждающейся в описательных рекомендациях, а теперь во двор — повернул направо и чешешь до дальнего подъезда. Хорошо, тепло, конец мая, в обеих руках пакеты с продовольственной добычей, ею же полна и заплечная сумка.

Во дворе за пивным ларьком дерутся три амбала. Дерутся, похоже, давно и серьезно: весь асфальт заляпан кровью — видно, одним пивом дело не обошлось. Однако уже умаялись и, чтобы не упасть, держатся друг за друга — вроде как клинч на троих сообразили. Иногда от образовавшегося шестиногого штатива в его верхней части отделяется рука, взмахивает и снова погружается в единое тело. Оно то недвижимо, то начинает перемещаться, нескладно топя шестью ступнями, то вьювь обретает статическое равновесие.

Один из дерущихся замечает меня, проходящего поодаль, отделяется от спайки, бросая ее на произвол судьбы и поиск нового, теперь уже как у «нанайских мальчиков» равновесия и начинает движение в мою сторону, затрудненное значительной поперечной амплитудой колебания. Огромный блондин со сплешимися от пота прямыми соломенными волосами и прозрачными голубыми зенками, то что называется — залитыми. Нижняя часть лица в крови, бурой и засохшей, по которой другая, свежая и алая, течет и капает затем на белую субботную рубашку и на асфальт. Останавливается, перегораживая дорогу, вынуждая и меня остановиться, и хрипит, раскачиваясь из стороны в сторону:

— Брат, дай умыться!

Я теряюсь от неожиданного контраста формы и содержания текста форме и содержанию контекста, в котором он звучит, и начинаю суетливо демонстрировать содержимое пакетов.

— Слушай, дружок, чем ты умываться-то собираешься?

«Дружок» переводит мутный взор с колбасы на помидоры, со швейцарского, с огромными дырками, сыра на яйца, на кочан капусты и коробки с кошачьей едой. На его лице появляется выражение тоскливого недоумения, которое постепенно, пока он поднимает глаза, оборачивается смесью ужаса и презрения.

— У тебя что, пива нет?!

ПАССАЖИРКА

Помню с детства, как мой папа, возвращаясь из продуктового магазина, время от времени с воодушевлением описывал продавщиц. Воодушевлялся он,

естественно, в тех случаях, когда ему что-то доставалось, а продавщицы при этом не хамили или даже давали советы: он любил спросить, какая колбаса свежее — по руpee семьдесят или по два двадцать, или, скажем, какую они посоветуют взять — с жиром или без жира? Брал, впрочем, самую дешевую, если не на праздничный стол. Все, молчу, больше не буду. Действительно, сколько можно компрометировать родителей? Помимо прочего, это ведь и на детей тень бросает, не так ли? В общем, у продавщицы, давшей моему папе колбасы вкупе с очередным ценным советом, всегда было «красивое интеллигентное лицо».

Вот и у пожилой дамы, подошедшей ко мне в троллейбусе, было такое лицо. Но не как у тех продавщиц, а соответствующее взгляду на них через внутреннюю просветленную оптику моего папы: правильные черты, хороший овал лица, обрамленный седыми прядями, светло-голубые сияющие глаза. Мы сели у Елоховки на 22-й номер. Мне ехать-то всего остановку — и садиться бы не стал, если бы не сумки да пакеты, полные продуктов.

Вот друзья все удивляются, когда приходят и садятся за стол, где я все это беру. А раньше еще больше удивлялись, когда прилавки везде пустые были. На самом деле никаких секретов — хожу по магазинам. Есть «малый» круг, он начинается с Новорязанской, там два угловых магазина через перекресток, в одном из них крашенная в черный и раскрашенная черным кассирша мне подмигивать стала после того, как увидела пару сюжетов с моей выставки по телевизору: «Я смотрю, а-а-а,— не крик, а звук на вдохе, когда рукой прикрываю рот и тарачат глаза,— наш покупатель!» И еще через несколько дней: «А мы знаем теперь, как вас зовут. Семен — правильно? Мы теперь про вас все знаем». Следует многозначительное, но доброжелательное троекратное хмыканье, опять с прикрыванием ладошкой рта, означающее, по-видимому, что они и фамилию теперь знают, но достаточно деликатны, чтоб не произносить ее вслух, и достаточно продвинуты, чтоб не находить в ней ничего порочающего своего покупателя. А несколько дней назад вообще бесплатно отпустили корейку. Я просил маленький кусочек, денег не хватало, а продавщица (сама получала, черненькой не было) взяла и отрезала от души: «Завтра принесете!» — и даже не записала ничего.

Хотя, как показывает опыт, не стоит всякий раз объяснять расположение окружающих и их повышенное внимание к собственной персоне ее известностью — можно и впрямую попасть. Раз в метро дядька напротив стал со мной в гляделки играть. Я ему поощрительно улыбнулся, мол, давайте, выкладывайте, где меня видели: в газете, в ящике? Он действительно набрался духу: «Я,— говорит,— как бывший коммунист, должен сообщить, что вы ну просто вылитый Карл Маркс». Или вот тем летом большой компанией возвращались с 42-го километра, день рождения друга праздновали. Все сошли в Выхино и пересели на метро, а я поехал до Казанского — оттуда пять минут пешком до дома. Иду из последнего вагона в первый: пустые драные скамьи, темные тамбуры и редкие алкаши с огоньками сигарет. Один из них, как я в тамбур вошел, уставился, выронил сигарету и открыл рот: «Неужто Солженицын?!»

С Новорязанской — на Новобасманную, там винный во дворе напротив отделения милиции и еще пара магазинов — в них есть практически все, кроме хлеба. Булочных сразу две на Спартаковской, они как бы сцепляю между собой «малый» круг и «большой», но одна из них — новая, «Горячий хлеб», — стремительно деградирует посредством все большего воровства ингредиентов, недопека и хамства — в общем, энтропия. Там же, на Спартаковской, мини-маркет в полуподвале МИСИ и тоже энтропией охвачен, но уже ценовой. Но это мелочи, главное — жить по соседству со Спартаковской улицей и площадью: где еще в мире найдешь место, чтобы все кругом именем любимой команды называлось?

«Большой» круг описывать не стоит — ничего интересного. Ну, на рынок с безменом хожу — обвешивать иной раз по-наглому стали. В «Дарах Дона» один раз продали швейцарский сыр с корявыми дырками ручного изготовления; это фирменное донское изобретение компенсировалось предупредительной расфасовкой в матовые пакетики — не заметил. А когда принес обратно, говорят: «Да нет, это настоящие дырки, просто они заплесневели — у головки разгерметизация была, вот мы и почистили». Но заменили. Как раз у сырной продавщицы такое лицо, какое папа назвал бы «красивым и интеллигентным».

Я понимаю, что он имел в виду — некоторую потенцию. Кажется, сейчас самое время эту потенцию реализовать, поэтому приходится бороться с хамством. Я и раньше этим занимался: орал на них, называл мандавошками, требовал заведующую и жалобную книгу. Но тогда главным было их перехамить: выбросить эмоции, чтоб инфаркт не заработать и отстоять личное достоинство, чтоб другой раз подумали, кому хамить, а с кем лучше по-хорошему. И помогало. А сейчас, сознавая ответственность и гражданский долг, я борюсь с хамством как таковым в интересах формирования свободного общества: подаю личный пример обходительности, шучу, вежливо указываю на недостатки, мягко корю, ставя в пример цивилизованные страны, ну а если это не помогает — начинаю орать на них, называть мандавошками, требовать заведующую и так далее.

Теперь возвращаемся в троллейбус. Вхожу я, значит, сажусь, с облегчением сбрасываю на свободное сиденье сумки да пакеты, и тут она подходит — смотрит пытливо своими сияющими глазами в мои и говорит с вопросительным оттенком:

— Зря я, наверное, уехала?

— А откуда вы едете?

— Не знаю.

Во время короткой паузы, скользнув глазами вниз, замечаю линиярое платье в мелкий цветочек, грязные и латаные матерчатые сумки. Бомжиха. Но речь соответствует лицу — правильная и чистая.

— Зря я, наверное, на трамвай села?

— Это троллейбус. А куда вы едете?

— Не знаю.

Опять пауза. Взгляд по-прежнему пытлив, но в нем начинает проступать отчаяние человека, которого никто не понимает.

— Зря я, наверное, уехала!

— Ну знаете, это смотря откуда, куда и зачем!

— Правильно!

Лязгнули открываемые дверцы, и со своими многочисленными пакетами, сам, как вдруг до меня дошло, напоминающий бомжа, я вывалился наружу и, обойдя троллейбус, как положено, сзади, по диагонали через улицу потопал к арке.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

1991 год. Один из дней поздней осени, памятного отрезка времени между двумя историческими событиями — августовским путчем и началом реформ. Хотя «памятного» — это я, конечно, хватанул. Наоборот, почитай, все уже забыли девственно чистые изо дня в день прилавки всех продовольственных магазинов той поры, рассказы об устройстве модных, купленных по блату в «комках» буржук, всеобщую уверенность, что зимой народ позамерзает в нетопленных квартирах, если не умрет с голоду; служащих женского пола, обменивающихся по дороге с работы и на работу последними впечатлениями от Кашпировского: их возбужденный разговор, уснащенный шипящими, доносился со всех сторон на улицах, оживленных часом пик, остановках общественного транспорта, у входов в метро и в его вагонах. Казалось странным, что это самое метро еще работает, а по улицам почему-то ездят автобусы и троллейбусы, мало того, останавливаются на остановках и открывают двери в отличие, например, от такси, которые уже совершенно перестали заниматься всякими глупостями такого рода. Ну, может, водку по талонам еще не все забыли. И чтоб за полные бутылки пустые возвращать. Одна к одной. И чтоб не какие-нибудь, а ровно такие, какими вас в данный момент и в данном месте отоварить согласились. Может, не все еще забыли, как стояли с пакетами и тогда еще авоськами, полными винной (0,7) и пепсикольной (0,33) стеклотарой, гадая, в чем привезут, и более всего страшись, что окажутся белые поллитровки, которых уже почти ни у кого не осталось.

В общем, мокро, грязно, холодно, темно, мерзко, час пик. Стою на остановке у кинотеатра «Новороссийск», поджидаю 45-й троллейбус, идущий к Елоховке, и размышляю о превращениях посмертной человеческой судьбы на примере Цезаря Куникова: как возник бедолага из небытия — быстро, случай-

но и неловко,— так и исчез. Угораздило бравого вояку мало того, что евреем быть, еще и боевым другом будущего генсека-литератора. Отменили товарища Л. И. Брежнева вместе с «Малой Землей» и светлую память его товарища Ц. Куникова тоже отменили; как начали справедливость восстанавливать, так во всем СССР самым первым делом площадь Цезаря Куникова обратно в Земляной Вал переименовали. Якорь оставили и кинотеатру название оставили, а Цезаря — фьють.

Подошел троллейбус, и я прервал размышления, не успев осмыслить значение имени героя в этом контексте, а также роль слова «земля» в его судьбе. Втиснулся кое-как, выдрался из уплотнения у двери и навис над хилым мужичком, от которого воняло. Похоже, очередной нищий направлялся к Елоховской паперти. Теперь бы, наверное, сказали «бомж», но тогда это определение хоть и существовало, не обладало сегодняшней емкостью и универсальностью. Да и нищие еще в диковинку были. Как первая примета весны, что саврасовские грачи, невесть откуда поналетели и густо обсели все паперти. Еще даже не подул ветер перемен, повеяло только, еще только разговоры начались, да и им не верилось, мало ли кто чего обещал, а они уж тут как тут, действительно чем-то похожие на черных птиц — первые зримые приметы послабления жизни.

Когда троллейбус, со скрипом поприщемляв дверями штурмующих, наконец хлопнул ими и тронулся, пахучий мужичок, не вставая с места и глядя вперед стеклянными глазами, тоненько, но, как двери, скрипуче, а также достаточно громко и напористо, загнусавил нараспев:

— Покайтесь, люди, покайтесь, приближается Царство Небесное. Не то за грехи ваши палимы будете, огнем горимы будете.

Сделал небольшую паузу и опять:

— Покайтесь, люди, покайтесь, приближается Царство Небесное...

Похоже было, он не первый отрезок маршрута между остановками заполнял таким образом: в атмосфере салона ощущались подавленность и нарастающая истеричность. Говнюк полностью владел ситуацией и останавливаться не собирался:

— Покайтесь, люди, покайтесь, приближается Царство Небесное...

Скрип открывающихся, а после пытающихся закрыться дверей — и опять:

— Покайтесь, люди, покайтесь...

На лицах женщин торжественно-испуганно-благоевнейное выражение, хоть сейчас в любую секту записывай, или трахай, или и то и другое одновременно. Мutilo и от душевной атмосферы, и от запаха говна, так что в какой-то момент я не выдержал и заполнил очередную паузу вопросом:

— Не много ли берешь на себя, Кашпировский сраный?

Воцарилось еще более гробовое молчание, но вития и ухом не повел, лишь чуть затянувшаяся пауза показала, что я не остался не услышанным.

— Покайтесь, люди, покайтесь...

Однако что-то разладилось, резонанс пошел на убыль, его власть над аудиторией ослабла, искра больше не высекалась. Он еще пару раз начинал запев, но с каждым разом теряя в уверенности и силе звука. Потом, помолчав, поднял глаза и впервые посмотрел на меня: на мой нависающий над ним живот, изрядную разноцветную бороду, локоны длинных седеющих волос из-под черной вязаной, формой напоминающей не то богатырский шлем, не то клобук, шапки, ну той, которую Кибиров защитил от нападок; быстро опустил глаза, снова поднял их, но уже с выражением собачьей преданности и виноватости, и, преодолевая мое пузо, попытался встать.

— Садитесь, батюшка!

В МЕТРО

Неряшливый старикан с баба-ягаподобным лицом (в мясистом варианте), серой куртке и кроличьей шапке сует мне помятую красную карточку экспресс-лото «Спартак».

— На, возьми, я ее зарядил. Храни у себя, здоровым будешь.

От неожиданности беру картонку в руки — портрет Цымбаларя, символика любимой команды, в общем, приятно. Однако карточка ничего не выиграла и не только мятая, но и грязная.

— Да вы знаете, я хоть и за «Спартак», но вообще на здоровье не жалуясь, ну и не по этой части. К тому же она не выиграла.

— Ну да, один номер не сошелся. Бери, бери, я ее как следует зарядил. — Проводит по ней грязной рукой у меня перед глазами. — Будешь на нее каждый день смотреть. Только не выбрасывай, а то здоровье потеряешь.

— Не, на фиг надо! А вдруг запропаستится куда — что ж, мне из-за нее здоровья лишаться? Жил, понимаешь, не тужил.

— Да я сказал: бери! Я колдун! Лесной колдун белой магии. Возьмешь — будет счастье и здоровье. Не возьмешь или выбросишь — хана тебе.

— Ничего себе белая магия! Какая же это белая магия, если вы из-за грязной бумажки готовы меня здоровья лишиться?

Он задумался, приоткрыв рот с толстыми мокрыми губами, и я, воспользовавшись этим, всучил ему картонку. Он повертел ее в руке, еще немножко помял, опять провел по ней грязной ладонью и снова обратился ко мне:

— Ну так я ее кому-нибудь другому отдам?

— Ну конечно! Другому поможет. Обязательно поможет.

КАК Я МЕНЯЛ ДОЛЛАРЫ

Ну, Зайцев, он, конечно, и в Африке Зайцев.

— Ты чего, купюры перепутал? — спросил он недоуменно-осуждающе и даже немножко гневно, когда я, вдруг все поняв, молча показал ему пачку долларов в развернутом виде.

Замдиректора в это время исчезал за углом строящегося здания метрах в ста от нас в глубине тихого переулочка — там наверняка заслон. Его поделец, этакий опустившийся Константин Райкин, еще минуту назад живо и напористо интересовавшийся у меня, где тут магазин музыкальных инструментов, неторопливо прохаживался на той стороне у Елоховки в толпе, поджидающей троллейбус, поглядывал за нами и переговаривался с еще одним товарищем, высококорослым бугаем, не участвовавшим в операции. Им, очевидно, в случае чего отводилась физическая работа — догнать, оглушить, свалить, убить и т. д.

Мне стало страшно. В обычной жизни, как правило, удается заставить себя преодолеть это неприятное и властное чувство, но бывает, что тебя выносит из пространства твоей жизни, твоего обитания в какое-то другое, и там появляется страх, над которым ты неволен.

Я не имею в виду пространство искусства, особенно главного из искусств — кино: как лез под стол, когда на увеличенном круглой линзой экране КВН-49 появлялся Кощей Бессмертный, так и сейчас жму на кнопки пульта, когда под соответствующую музыку отработанными приемами меня начинают потчевать ужасами. Специально лупят по чувствам, и, коли они есть, ничего не поделаешь. Но когда тебя успешно пугают искусством, ты, невольно отдаваясь чувствами, волен не отдаваться умом и положить этой ситуации предел, выйти из нее. А вот, когда нечаянно вступаешь в какую-то другую реальность, страх становится безотчетным и неуправляемым.

Вроде как зло и добро растворены в жизни и перемешаны, и принято считать примерно поровну, но в своем привычном мире, не знаю как его назвать, все же представлены какие-то знаки, ориентиры, и тебе даны какие-то возможности соотношения с ними. Все дребезжит и расплывается, и, может быть, часто и долго весьма хреново и вообще все козлы, но это твое, твои козлы, твоя жизнь и есть к чему прилагать усилия. Есть положительная заданность, что ли, и ты понимаешь и чувствуешь, что оказался здесь для чего-то и вроде как это и есть мир, весь мир.

И вдруг неаккуратное, необдуманное действие, прельстился чем-то или просто расслабился — и тут же въезжаешь во что-то совсем другое, которое, оказывается, совсем рядом, стоит совершить одно неосторожное движение. И уже не до рассуждений о добре и зле, просто мурашками чувствуешь: все знаки переставлены, никаких ориентиров и соответственно никакой возможности соотношения с ними, все не твое и все усилия напрасны. И жизнь перестает что-либо стоить, наверное, потому, что теряет смысл. И это другое так же огромно, как твое, и соприкасается с ним в любой произвольно взятой точке. И вот тогда становится страшно по-настоящему. Этот страх сильнее тебя, с ним ниче-

го нельзя поделаться, и, когда возвращаешься в свой мир из этого антимира, он не отстает от тебя, отпускает постепенно твое сознание, но опускается в глубины подсознания, в подкорку, в генетические коды, в печенку, в пятки, хрен знает во что, но остается с тобой навсегда.

Так было в Нью-Йорке, когда мы с сыном и женой поехали на метро в зоопарк в Южный Бронкс. Нас предупреждали, что негритянский Гарлем — фешенебельнейшее и безобиднейшее место по сравнению с пуэрториканским Бронксом, и было на то похоже, когда состав пересек Ист-Ривер и втянулся по эстакаде в район, как будто приготовленный для съемок фильма о войне. Видно было: с незапамятных времен здесь что не взрывалось, то загаживалось — энтропия, одним словом. И угораздило их устроить в таком месте зоопарк. Говорят, после войны, когда его затевали, этот район считался перспективным: цены на землю росли, что-то строилось, но потом, когда уже появился зоопарк, заело, прогнозы не подтвердились, район начал заселяться пуэрториканцами и ими же разрушаться. Между остановкой метро и входом в зоопарк район зажиточных латинов, там вроде ничего. А мы ехали без провозжатых, запутались в схеме, в полупустом вагоне никто толком не объяснил, мы проехали свою остановку и вышли на следующей. Слева по ходу поезда крытая часть перрона тоннеля представлялась чистой инфернацией — черная дыра, и ни одной лампочки. Справа открытая часть была, наоборот, залита слепящим светом. Ее пронзительная пустота в сочетании с неестественной засвеченностью при всей контрастности с черной дырой создавала ощущение все того же зияния. И, подчеркивая эту слепящую зияющую пустоту, от последних вагонов к нам шла группа пуэрто-риканских подростков, внешность и повадки которых не оставляли никаких сомнений в их адекватности ландшафту. Не обменявшись с глубоко беременной женой ни словом, мы бросились вверх по открытой лестнице, размещенной как раз на бетонном разрисованном торце тоннеля, на границе света и тьмы, таща за собой, о чудо, вдруг замолчавшего Илюшу, с прытью, невероятной при наших, различного происхождения, животах. Толстые черные и, как мы, пузатые мужчина и женщина, стоявшие в черной униформе наверху у турникетов, показали посланцами небес, укрывших нас воронеными крылами (в этом мире все наоборот) от стайки худеньких подростков, продефилировавших мимо с индифферентным видом секундами позже. Черные ангелы указали путь к спасению: перебежка на другую платформу, одна остановка назад и пожалуйста — слоны, попкорн, жирафы, обезьяны вопят, как Дмитрий Александрович, бананы вдвое дешевле, чем в Манхэттене. Только рептилий, на мой глаз, было многовато. Каждый взгляд на них оживлял в душе недавно пережитый ужас. А их вызывающее свешивание с деревьев (условия проживания лучше, чем у нас на Красной Пресне) стимулировало работу мысли, отсылая к теме рая и изгнания из него.

До того, как свесившийся с плодового дерева удав сбил Еву с панталыку (именно удавы ползают по деревьям), люди жили, не познав добра и зла, то есть не различая их и не прилагая ни к чему никаких усилий, ни о чем не заботясь, ничего не стыдясь, и то была райская жизнь.

Вся эта лафа длилась до тех пор, пока они невольно, будучи соблазнены, не встали на путь познания и различения. Ведал ли змей, что творил? Скорее всего он соблазнял Еву нарушить запрет, не постигая возможных последствий, не зная, что пробудит у людей стыд, чувство вины и способность различать: сам-то он образцовая райская тварь — воплощение бесстыдства и равнодушия. Может, он был слепым орудием в руках Создателя, а Адам и Ева — козлами отпущения его, Создателя, собственных грехов-ошибок, допущенных при проектировании райской жизни? Мы же знаем, как это бывает: сначала разочарованность в полученном унылом райском результате, депрессия и подавленность, затем вдохновенная находка — интермедия с яблоком, давшая возможность выйти из тупика и раскрутить интригу...

Так или иначе было дело, но для тех, кто по сию пору несет наследованный от прародителей крест различения добра и зла, основные параметры райской жизни, а именно — изобилие и беззаботность, всеобщее равенство и бесстыдство, неразличение хорошего и дурного, равнодушие ко всему, — представляются в совокупности соблазнами, неизбежно ведущими в ад, как бы мы его ни понимали, но отнюдь не в рай, опять же при всем плюрализме представле-

ний о нем. То есть ведя себя на земле, как прародители в раю, мы мостим себе дорогу в ад. Тем более это можно сказать о тех, кто рвется строить рай на Земле для всех: пусть коммунисты напирают при этом на изобилие и равенство, а постмодернисты на безразличность, бесстыдство и равнодушие.

Выходит, ад создан для тех, кто стремится создать для себя или для других райскую жизнь на Земле. То есть если тотальное неразличение добра и зла в раю непостижимым образом оборачивалось тотальным добром, то уже вполне постижимым для нас образом данное неразличение на грешной земле оборачивается тотальным злом. И нашим компасом, указывающим в сторону рая, является как раз способность различать, отрегулированная на предпочтении добра инструментарием стыда и совести. Значит, то, что Ева и Адам приобрели через преступление и наказание, и есть в совокупности наше единственное спасение. Но тогда где обретаемый рай и что он такое? Не может же он быть тем же, что и потерянный, ведь тогда бы все существование человечества оказалось сказкой про белого бычка — бесконечной, бессмысленной и дурной закольцованностью.

На земле к райским образцам, к неразличению в добре ближе всего альтруисты, но дело не в том, что их очень мало, а в том, что они патологические отдавалы, а не бралы, то есть люди совершенно не райской психологии. Потребляемые, а не потребители и могут скорее быть уподоблены плодам — фигурантам растительного, а не животного мира.

А вот как раз в рептилии, змее соблазна, как мы уже отмечали, гнездятся истинно райские качества, и если рай в первую голову неразличение, индифферентность и вседоступность, то гады — самые естественные и полноправные его обитатели.

Быть может, альтруисты — прообраз того состояния, которое ждет нас в качестве награды, — светлого неразличения? Но даже если представить себе не постигаемую ни чувством, ни умом ситуацию, когда в награду за верность свободе выбора, то есть за мужество различать и готовность отвечать, мы будем лишены этих качеств, то как тогда отличим мы ад от рая — по сковородкам, что ли?

Или те, кто на земле выбирает свободу от выбора, сиречь неразличение и бесчувствие рептилий, там, в другой жизни, на шипящих сковородках будут в обязательном порядке наделены способностью различать и чувствовать, и это и будет их наказание — отличие от тех, награжденных, кто проводит время там же и так же, но уже ничего не различает и не чувствует?

Или вот год назад мне предложили купить дачку. Сюжет вроде не inferнальный, только странно соблазнительные условия — все такое дешевое, удобное и в Мозжинке, а дама такая симпатичная и сочувствие вызывает, а я вроде как даже благодетель.

Квартира в крыле высотки, где гостиница «Украина», была по полу, столам и стульям, так что некуда встать и сесть, заставлена чашечками, блюдечками, плошечками, розеточками, мисочками и тарелочками с кошачьей едой, частью заплесневелой и дурно пахнущей. Недавно умерший муж-академик, за которым было как за каменной стеной, и под конец жизни полная незащитность перед лицом начавшей к тому же стремительно меняться окружающей среды. Очень дальние, но очень добрые родственники, возившие на дачу и с дачи и помогавшие чем только можно. Наконец, естественный для доброй и благодарной души жест — отписывание им в наследство участка с правом строительства второго дома прямо сейчас. И тут же вдруг — ой, они, оказывается, не такие хорошие — подсунули на подпись не ту бумажку — дарственную вместо завещательной — и так устроили, чтобы все в жутких торопях: нотариуса на дом привезли, а он женщина, а у нее ребенок маленький и болеет, ну просто при смерти, и она ну просто на секундочку заскочила, от предсмертного одра оторвалась. Несчастливая вдовья старушка второпях и сослепу подписала бумажку — и все: они хозяева, а она никто. Поставили дом на любимый цветник и начали хамить. Истории об их строителях, вламывающихся в ее дом, и т. п. Там жить она теперь не может, а жить здесь ей не на что — сбережения мужа обесценились, а пенсию не заработала. И вот по совету добрых людей (мир по-прежнему не без них) решила потребовать от новых хозяев, чтобы они теперь своей дарственной передали ее домик с частью участка человеку, который ей

фактически заплатит за этот домик и участок. Спрашиваю: с чего бы это новым хозяевам писать дарственную и отказываться от половины участка с домом, когда все и так их? Оказывается, опять же есть хорошие люди, например бывший личный шофер ее мужа, у него есть знакомые, тоже хорошие люди, они поговорили с новыми хозяевами, обидевшими бедную женщину, и те согласились, что так будет по справедливости.

И зачем я все это рассказываю? Надо бы как-то иначе передать возникшее ощущение, что въезжаешь куда-то не туда: такое обилие добрых людей, аж во рту щекочет, как будто крем с пяти тортов съел. Ну да от меня вроде ничего не требуется, только позвонить новым хозяевам. Нет, они вообще интеллигентные, муж на телевидении спортивным комментатором работает.

Интеллигентный комментатор вместо «здрасьте» дал понять, что у него и в милиции, и у ее оппонентов все схвачено, телефон мой зафиксирован, и нанять кого надо для чего надо нет проблем ни там, ни там, и что из-под земли достанет, и чтобы я уже радовался, что еще жив. И когда я трубку положил и уже радовался, он еще два раза звонил, что ему после нашего разговора звонят и опять запугивают и посему дни мои сочтены.

Вот так присел дома к телефону, и вдруг вроде это уже и не ты, и не дома, все какими-то парами насыщено, клубится, не видишь ничего и не понимаешь, а сам всем виден и понятен, гол и незащищен, как будто только что изгнан из рая.

Итак, весной 1992 года, когда вдруг упал курс доллара, мне по закону подлости как раз приспичило покупать рубли: на жизнь, еще на что-то надо было, теперь уже не помню. В одну сберкассу кинулся, в другую.

— Да,— говорят,— валюту покупаем, только временно нет рублей. А когда будут — неизвестно.

Курс был, по-моему, порядка 170-ти, а упал до 130-ти, и все предсказывали дальнейшее падение — пифии хреновы. В общем, в сберкассе на Чернышевке меня отшили в очередной раз, и тут же подходит еврей, как и я, растерянно переминавшийся у окошечка. Оказывается, ему надо срочно купить доллары, а у них и долларов нет. Рублей нет, потому что не завезли, завозилка, наверное, сломалась, а долларов нет, потому что рублей нет, покупать их не на что. Он такой расстроенный, больше меня, тычет письмо-приглашение от сестры из Израйла, уже билеты на руках (показывает), ему с собой тысяча долларов нужна, а купить негде. Рублей навалом, у них в Апрелевке предприятие, вот познакомьтесь с моим заместителем, и на счетах несколько лимонов, и обналичить нет проблем.

Заместитель, правда, какой-то странный: со шрамами и не слишком членораздельной речью в кепке. Ну, наверное, крепкий хозяйственник, толкач, разные бываю заместители. Вот и он готов взять тысячу долларов по курсу 150. Договариваемся: я домой за грингами, они в банк за рублями, потом они звонят, и мы встречаемся.

С одной стороны, я собирался менять двести — триста, не больше, тысяча — это почти все, что было, и вообще имел место легкий мандраж, а с другой стороны, евреи должны помогать друг другу, мужик симпатичный, вызывает доверие, курс подходящий — почему нет? Надо только правильно выбрать место встречи: не в каком-нибудь там тихом переулке, мало ли, и не на бойком месте — зачем лишние глаза, а так, чтобы и на людях, и ненужного внимания не привлекать, и не переться к черту на рога. Стало быть, ничего лучше — ближе к дому и дальше от чертовых рогов, чем елоховская паперть, не придумашь.

Едва добрался до дома, как звонит заместитель: все в порядке, только с обналичкой некоторые проблемы — нужную сумму удастся снять лишь к завтрашнему дню. С ним по телефону говорить, что с Герасимом, — сплошное муму, все силы души надо положить, чтобы разобрать, чего бубнит. Ну хорошо, завтра, так завтра. Мне так даже лучше, Зайцева с собой возьму. Для верности. Он солидный. Будет стоять с умным видом. Елоховка устраивает, еще спросил, какие купюры и не хочу ли марки поменять.

На другой день сговариваемся, встречаемся с Зайцевым и чешем к Елоховке. В природе закат и сплошная красота. Тут же подъезжает «вольво» и вылезает зам, говорит, что начальник с деньгами чуть задерживается. Смотрит как-

то задумчиво на Зайцева и идет на другую сторону паперти звонить из автомата, уточнить, когда именно будет начальник. Мы стоим, переминаемся, вроде все спокойно, «вольво» укатило. Этот, в кепке, возвращается, мычит, что опять что-то с обналочкой не вышло, давайте завтра днем, теперь уж точно, сто процентов. Ну, хрен с вами, Зайцев вроде и завтра может, курс все падает, в сберкассах по-прежнему нет наличности — куда денешься?

Ах ты Боже мой, опять без денег пришел! Это же надо быть таким идиотом, он опять без денег пришел, а я все слушаю его мычания-объяснения. Ну то есть не сразу видно, что без денег, у него полиэтиленовый полупрозрачный розовый пакет какими-то бумажками напихан. Дал ему свои доллары посмотреть, взял в обмен его пакет, заглянул, а там мятые десятки.

— Да нет,— лопочет он, возвращая мне сложенную пополам пачку зеленых банкнот.— деньги у начальника, он нас у метро ждет, пойдёмте. Можете, если не верите, сами нести пакет.

А на фиг он мне, доллары в кармане, чего волноваться. Мы манипулировали на скамеечке у памятника Бауману. Знаете, такой, как будто из говна слеплен. Зайцев стоял поодаль на стреме. Как я и рассчитывал, с умным видом. Когда выяснилось, что надо идти к метро, пошли по дорожке, ведущей к Елоховке. Навстречу двинулся приметный обезьяноподобный дебил. Поравнявшись, он вдруг перегородил мне дорогу и немногим более артикулированно, чем наш зам, поинтересовался, где тут магазин музыкальных инструментов. Сообщив ему, что такого магазина тут нет, я попытался двинуться дальше, но он меня не пустил, навалился и начал, распаяясь, требовать к себе внимания и уважения.

— Че ты? Человек к тебе по-хорошему. Сказать не можешь? Умный очень, да? Вам, значит, все, а нам ничего, да?

Я, сдерживая вскипающее бешенство, стал ему объяснять, что мне нет до него никакого дела, что я ему вежливо ответил на вопрос, а больше мне с ним говорить не о чем, и тут вдруг возбудился еврейский зам, шедший сзади вместе с Зайцевым и остановившийся во время инцидента у меня за спиной.

— Э-ээ, ребята, что-то тут не так — это, видать, ваш человек. Не-е, я в такие игры не играю, на фиг надо. Не-е, я пошел.— И с этими словами ловко перемахнул невысокую чугунную ограду, отделявшую скверик от проезжей части, лавируя между машинами, пересек ее и почесал по переулку к стройке.

Отпихивая музыканта, с криком «стойте, это не наш, это недоразумение, случайность!» я кинулся за ним, Зайцев за мной. Пока я вырывался из лап обидчивой гориллы и не так ловко, как житель Апрелевки, преодолевал потоки машин, он убежал уже далеко и обернулся только раз, когда заворачивал за угол дощатого забора строящегося здания. Вот только тут до меня и начало что-то доходить. Легкие недоразумения разных этапов нашей сделки и странности поведения партнеров, до сего момента не обнаруживавшие связи между собой, вдруг соединились в новую картину, совершенно иную, чем виделась мне до сих пор: торопящийся в Израиль к сестре, вызывающий безотчетное доверие еврей-начальник, исчезнувший после первой встречи, шрамы и косноязычие его зама, вопросы по телефону о достоинстве купюр и не собираюсь ли я менять марки, отмена операции накануне, когда неожиданно для них я пришел с Зайцевым, фатальное раз за разом отсутствие наличных рублей, беспроblemное наличие которых гарантировалось при первой встрече, и так далее. Я достал сложенную пополам пачку стодолларовых бумажек, которую пару минут назад у памятника давал посмотреть человеку в кепке, и развернул ее. Внутри в отличие от наружной стодолларовой аккуратненько лежали того же цвета и размера девять купюр достоинством по одному доллару США.

Ное стало страшно. Не от того, что надули, а от того, что следят, как я на этоотреагирую. А что если все это время они следили за мной, знают, где мы живем? Телефон у них есть. Завтра захотят проверить, нет ли у меня еще долларов, или украдут детей и потребуют выкуп?

Я постарался взять себя в руки, убедить, что преувеличиваю, что смотрю теперь на все большими глазами страха, что они узкие специалисты-кидалы и им проще и доходнее искать новых жертв, чем пытаться выжать что-то еще из уже отработанного материала. Что они готовы защищаться, а не нападать, их интересует, не пойду ли я в милицию, а больше ничего не интересует, но автотерапия давала слабые результаты. Мы с Зайцевым долго плутали по ок-

рестным улочкам и переулкам, замечая следы, заходили в темные арки и подолгу изнывали там, проверяя, нет ли хвоста, перебежали дворами с одной улицы на другую, потом, подустав, но не успокоившись, пришли к нам и страшно напались лимонной водкой.

Это помогло. Наутро я проснулся не только в своем доме и в своей постели, но и опять в своем мире.

КАТОК

За метро «Шербаковская», теперь «Алексеевская», если спуститься по лестницам, обнимающим павильон сзади, есть странное место: не то чтобы пустырь и не то чтобы сквер, так, кое-что растет, какие-то дорожки туда-сюда. Посмотреть с профессиональной стороны — сплошное недомыслие, ну а так вроде ничего.

Как-то по одной из дорожек я шел влево, в сторону зубной поликлиники, на подпиливание зубов. Ничего не поделаешь: каждый человек рано или поздно подходит в своей жизни к моменту, когда без коронок да мостов пережевывание пищи превращается в безрадостную и почти бессмысленную трату времени.

От горестных размышлений меня отвлек каток, перегородивший дорожку. Накрапывал дождик, и он стоял, поблескивая мокрым металлом на черном, еще дымящемся асфальте, укатанном, казалось, прямо по одуванчикам и прочей молодой и свежей майской траве. Но он не просто стоял, он работал. Им, правда, никто не управлял: кресло водителя, ну, оператора, не знаю как правильно назвать человека, который обычно сидит у всех на виду в оранжевой робе между катками-колесами, жмет и тянет желтые рычажки, было пусто. И близости никого не было. Наверное, из-за начинающегося дождя или просто стечения обстоятельств вообще никого — ни на этой дорожке, ни на траве, ни на соседних дорожках, — только я и включенный каток. Это настраивало на концептуально-сюрреалистический лад: встреча со знаково-насыщенным объектом в пространстве, сдвинутом на иррационально-мистический бекрень. Каток работает, но не в смысле произведения положительных результативных действий, а скорее наоборот, то есть в том смысле, в котором мы все жили и работали, вся наша необъятная и непостижимая родина: страшно воняет исторгаемым в воздух сизым дымом, решительно ухудшающим экологическую ситуацию; экстатически трясется, как шаман, уже вошедший в транс при исполнении ритуального танца, — сходство усиливалось конвульсивным, но при этом ритмичным подрагиванием обветшавшего и превратившегося в лохмотья дерматинового сиденья и резиновых, ставших подобием бахромы накладок на стальные катки. Ну и, разумеется, чудовищно грохочет.

Мне он показался не только символом страны — подобного добра у нас валом, Россия в чем хочешь отразится как в капле воды, — но и образцовым произведением современного искусства. Проект удовлетворял и сиюминутным постмодернистским требованиям симулированности, дискурсивности, текстуально-контекстуальной многозначности, обезличенности, работы в периферийных зонах, отказа от профессиональности и качества во всех возможных смыслах и т. п. и, что особенно трогало, моим представлениям о непреходящих константах искусства — жизненности, архетипичности и обязательном, перекрывающем любые контексты, непосредственном воздействии на чувства. В последнем смысле инсталляция была невероятно продвинута, поскольку шибала сразу по всем чувствам и их органам, кроме осязательных. Хотя, собственно, никто не мешал мне подойти и что-нибудь потрогать.



«Они служили своим идеям, и служили им с честью...»

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКИ
М. АЛДАНОВА

Младшее поколение читателей уже и не помнит, что в Советском Союзе эмигрантов первой волны не называли иначе, как белобандитами, и не было страшнее преступления для советского человека, посланного в командировку за рубеж, чем с эмигрантом заговорить; не дозволялось переписываться с родственниками, жившими за границей, и очень опасно было упоминать о них в анкетах; разумеется, нельзя было в библиотеке заказать иностранную газету на русском языке. Почему все-таки кремлевские власти так боялись эмигрантов, каковы были эти люди на самом деле? Мы публикуем очень характерную, раскрывающую их духовный мир политическую переписку по материалам фонда Марка Алданова в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Публикация продолжает цикл, начатый в №№ 1 и 3 журнала «Октябрь» за 1996 год. В фонде содержатся документы 1941—1956 годов — от начального этапа второй мировой войны до венгерского восстания. Предыдущие публикации были посвящены переписке Алданова с двумя братьями по перу, Набоковым и Буниным, круг авторов новой значительно шире. Здесь и профессиональные политики предреволюционной России, в эмиграции ставшие публицистами: А. Ф. Керенский — бывший эсер, В. А. Маклаков — один из лидеров кадетов, Е. Д. Кусова была оппонентом В. И. Ленина в российской социал-демократии. Здесь и видные журналисты, ученые, деятели культуры. Эти духовно богатые, но разные люди были объединены любовью к оставленной отчизне и пронесли свою любовь сквозь десятилетия. «Эмиграция, — писал Алданов литератору Л. Е. Габриловичу 26 февраля 1952 г., — даже в смысле физического здоровья очень тяжелая вещь и изнашивает человека. О моральном и интеллектуальном изнашивании и говорить не приходится. Я по крови не русский, но думаю, что если б я еще раз мог увидеть Россию, особенно Петербург и Киев (где я родился и провел детство), то это удлинит мою жизнь — говорю это без малейшей рисовки, без сентиментальности и, думаю, без преувеличения».

Для тех, кто волею судьбы был обречен жить вдали от родины, переписка обрела двойной притягательной силой: она представляла возможность испытать радость от общения с соотечественником, она давала возможность хотя бы ненадолго вернуться к родному языку.

Далеко не всегда русские эмигранты жили дружно. Нередко в их среде случались скандалы, а идейные конфликты перерастали в склоки. Способность к компромиссу не в русском характере, мы легко рубим сплеча. Житель Франции князь Борис Голицын иронизировал: «Русской эмиграции нет, есть эмигранты. Когда в Париж попадают двое русских, каждый организует свою церковь и свою партию».

Переписка Алданова — исключение из скверного общего правила. Ему были в высокой степени присущи такие качества, как терпимость, уважительность, готовность всегда быстро откликнуться на просьбу о помощи. Его душевное благородство, несомненно, имела в виду Н. А. Тэффи, когда дала ему лестное прозвище: «Принц, путешествующий инкогнито». «Принца» нельзя и вообразить себе замешанным в мелкие распри, напротив, ему идет роль хранителя чужих тайн. Он повторял: «Порядочный человек обязан обрывать людей, дурно говорящих о его приятелях, но жизнь потеряла бы значительную долю прелести, если бы все строго следовало этому правилу».

Особенно большую роль в жизни эмигрантов первой волны переписка играла именно в 40-е и 50-е годы. До войны в Европе, особенно во Франции, существовала разветвленная сеть русских периодических изданий, и она объединяла людей, разбросанных по разным городам чужой страны. Во время войны эта сеть была разрушена. После войны, казалось бы, она должна была восстановиться, но в связи с «холодной войной» интерес ко всему русскому на Западе упал, сменился подозрительностью, и даже к русским эмигрантам, несмотря на то, что они находились в оппозиции к советской власти, стали относиться много хуже, чем прежде.

В послевоенные годы русскоязычных изданий в Западной Европе появлялось мало, некоторые из них контролировались советскими посольствами. Публицистам-профессионалам стало нелегко печататься, самый смысл их политического изгнания оказался под сомнением. Они не могли молчать, их письма порою стали превращаться в статьи наподобие газетных. Алданов охотно участвовал в обсуждении актуальных международных тем, его исторические и философские идеи часто опробовались сперва в письмах и лишь позднее воплощались в художественных произведениях.

Полтора десятилетия жизни Алданова, отраженные в документах его фонда в Бахметевском архиве, распадаются на две части: в 1941—1947 годы он жил в Нью-Йорке, находился в центре литературной и общественной жизни «американских русских», затем вернулся во Францию, поселился в малолюдной в те годы Ницце, стал вести уединенный образ жизни; там и умер в начале 1957 года скоропостижно, от сердечного удара.

Когда Алданов только задумывал осенью 1940 года перебраться из оккупированной немцами Франции в Америку, у него уже был план крупного предприятия, которое можно было осуществить только в Новом Свете. В Париже тогда закрылся выходивший на протяжении целых двух десятилетий замечательный толстый журнал, предмет гордости культурной русской эмиграции, «Современные записки». Писатель Б. К. Зайцев называл его лучшим журналом за всю историю русской литературы. Алданов задумал создать новый журнал, который стал бы преемником «Современных записок».

Сразу же по приезде он дал интервью сотруднику нью-йоркской газеты «Новое русское слово». На вопрос, в каком положении находится зарубежная русская литература, ответил категорически: «В безвыходном. В Европе больше нет ни русских журналов, ни издательств. Знаю, например, что Бунин написал на юге Франции несколько новых рассказов и впервые в жизни не знает, что делать с ними. Русским писателям больше на своем языке печататься нелегко — я говорю о произведениях, по размеру не годящихся для газет».

Почти одновременно Алданов отправил письмо крупному ученому и меценату Б. А. Бахметеву, послу Временного правительства в США, с просьбой о помощи: «В Ницце мы с Буниным решили сделать все возможное для того, чтобы создать в Нью-Йорке журнал типа «Современных записок». Я знаю, что это дело нелегкое, такой журнал окупаться не может, как не окупались и «Современные записки». Он может образоваться только в случае финансовой поддержки, впрочем, не очень большой. Но, думаю, дело этого стоит». Алданов заканчивал: «Писать у нас могут и должны люди самых разных взглядов (в пределах отрицательного отношения к большевикам и национал-социалистам). Мы будем проявлять еще меньше тенденциозности, чем «Современные записки». Не будет журнала — нет больше и зарубежной русской литературы. Очень просим Вас помочь делу создания журнала...» Бахметев откликнулся на этот взволнованный призыв «любезно и щедро», нашлись и другие жертвователи. Название «Новый журнал» означало: выходящий взамен «Современных записок». Отдел публицистики возглавил Алданов, он же написал программную статью для первого номера. Сведения о денежной стороне издания находим в его письме историку М. М. Карповичу от 1 мая 1942 г.: «Мы платим совершенные гроши, один доллар за страницу беллетристики и 75 центов за страницу всего остального. В денежном отношении писать у нас для автора — личная неприятность, <в то время,> как для меня редактирование (бесплатное, увы!) — настоящая катастрофа: оно отнимает почти все мое время...»

Так или иначе начало было положено, «Новый журнал» существует до наших дней, а в годы, к которым относится предлагаемая публикация, это был лучший, самый авторитетный толстый журнал русского зарубежья.

Казалось бы, забот с журналом у Алданова было так много, что он вполне мог обойтись без других «нагрузок по общественной линии». Однако он принял на себя трудоемкие обязанности члена правления нью-йоркского Литературного фонда. Фонд собирал пожертвования и распределял материальную помощь среди нуждающихся деятелей русской культуры в разных странах. Отправлял посылки профессо-

рам в советские университеты, высылал-продовольствие писателям и журналистам в освобожденную Францию. Алданову, как человеку безупречной репутации, доверили составление списка имен получателей.

Естественно, к нему постоянно обращались разные люди из разных городов, он охотно и пространно отвечал на письма, завязывались дружеские отношения — уважительные, ровные, «джентльменские», но на некотором удалении, во всем фонде Алданова нет ни одного письма на «ты».

Сначала вся переписка была связана с темой войны. Русские эмигранты в США с разными оттенками придерживались единой позиции: антифашизм, поддержка русского народа в его борьбе и одновременно неприятие сталинского режима, виновного в кровавых преступлениях.

После войны в прежде однородную среду тех, кто покинул Россию в первые послереволюционные годы, стали вливаться эмигранты второй волны, «перемещенные лица», часть из них составляли власовцы. В духе «холодной войны» перебежчиков к Гитлеру начали оправдывать: дескать, те надеялись, что Россия будет освобождена от большевизма немецкими руками. Алданов — сторонник «чистоты политических риз» русской эмиграции: гитлеровщина, доказывал он, была бы еще много хуже сталинщины.

Между тем «холодная война» угрожала перерасти в горячую, и блокада Берлина, война в Корее воспринимались на Западе как первые сражения третьей мировой войны. Старые люди, Алданов и его корреспонденты, мучились от раздвоенности: по-прежнему любя покинутую родину, считали, что угроза миру исходит из Москвы. В октябрьские дни 1956 года писатель выступает в защиту восставшей Венгрии.

Важность таких тем, как атомная бомба, суд над немецкими военными преступниками, перспективы России после Сталина; множество малоизвестных деталей, касающихся, например, положения русских во Франции в 1944—1945 годы, — думается, российскому читателю середины 90-х годов это все в переписке представится ценным и значительным. Особо хочется отметить суждения Алданова о трудностях, ожидающих нашу страну, когда она покончит с коммунизмом. Знарок истории, он не сомневался, что это рано или поздно произойдет, но предостерегал, что распад империи неизбежно приводит к долголетнему ряду войн за объединение, войн внутренних, которые, по его словам, легко могут перерасти в войны общие, гигантские. Переписка по-новому раскрывает позднего Алданова как крупного и проницательного политического мыслителя западнического направления.

Но идеи его и его корреспондентов оставались преимущественно «самочитательным писанием»: авторы писем не могли воздействовать на общественное мнение на Западе, не мечтали, что об их концепциях узнают на родине. Оставалось только работать для будущего в надежде, что придет черед и их идеи и программы будут востребованы. В письме В. А. Маклакову от 20 сентября 1956 г. Алданов — обоим осталось жить считанные месяцы — предлагает собрать друзей и запротоколировать выступления: «Мы все люди старые, и было бы хорошо оставить хоть некоторый след: что думали старые эмигранты о положении России в 1956 году — вдруг кому-либо, когда-либо пригодится». Старшее поколение уходило из жизни с горькой мыслью, что его идеалы не воплощены, оставалось только утешение: «Они служили своим идеям, и служили им с честью...» Это слова Алданова из статьи о политэмигрантах XIX века; несомненно, он относил их и к современникам.

Быть может, кому-то эти пожилые люди, прожившие нелегкую жизнь, представляются скучными чудаками, заикленными на политических вопросах. Нет ничего ошибочнее такого взгляда — они часто шутили, на старости лет влюблялись... Вот импрессарию, друг Бунина Александр Рогнедов, сообщает в приподнятых выражениях: он влюблен в очень юную испанскую журналистку, «редчайшее и благороднейшее существо»... Вот он же дает в письме юмористическое описание мучений в кресле стоматолога: «Никогда не думал, что анестезия действует столь решительно. Мой дантист ни разу не вскрикнул. Его выдержка произвела на меня столь сильное впечатление, что меня два раза выволакивали в обмороке...» Русские эмигранты не пытались казаться лучше, чем они на самом деле были; не кичились собственной значимостью, отличались высокой требовательностью и к окружающим, и к самим себе.

Письма даются в извлечениях. Фрагменты из них сопровождаются статьями, документами, чтобы продемонстрировать, как вырабатывалась общая точка зрения на текущие политические события, какими критериями руководствовались в спорах.

Выражаю сердечную признательность корпорации IREX и руководству Бахметовского архива Колумбийского университета за помощь.

*Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
профессор МГУ*

С первого дня войны гитлеровской Германии против Советского Союза практически вся русская колония в США (к ней принадлежал Алданов) выступила с патриотических позиций. И даже после войны, в пору резкого обострения отношений СССР с Западом, не жалела о своем выборе. Однако в пределах единой общей позиции имели место существенные различия в оттенках. «Сначала Победа, потом реформы», — декларировал А. Л. Казем-Бек¹. «Новый журнал» и Алданов подчеркивали, что они желают победы России и ее союзникам, но остаются противниками советской власти, настаивают на амнистии и хотя бы обещании демократизации режима после войны.

В фонде Алданова хранится листовка общества офицеров русской армии, выпущенная в 1941 году в Нью-Йорке, связанная с созданием комитета помощи и защиты России:

«Вековой враг России — немец на русской земле, а мы выброшены за ее пределы без прав и возможностей активно, как раньше, вложиться в новые за нее бои и новые страдания. Мы всегда были с народом, составляя его вооруженную защиту, — мы с ним и теперь. То, что произошло с нами лично, не определяет путей России и не изменяет нашей преданности ей».

¹ Александр Львович Казем-Бек издавал в Сан-Франциско русскоязычную газету «Новая заря». Вскоре после войны вернулся в Москву, умер в 1950 г.

А. Л. Казем-Бек — Алданову, 6 октября 1942 г.

Что же касается политических реформ и даже просто человеческих мероприятий, то это пока ускользает от компетенции народа и остается за пределами его возможностей. Но победа означала бы выдержанный экзамен на зрелость. И народ сумеет оформить свою «волю к воле». Вы — историк и великий русский писатель. От Вас русский народ вправе рассчитывать на кредит во времени. Сначала Победа, потом реформы.

Алданов — Казем-Беку (б/д; по-видимому, ответ на его письмо от 6 октября 1942 г.)

Охоты ругать большевиков у меня нет, но я не могу согласиться с Вами <...> Никакой руководящей роли русский народ в жизни России не имеет — если бы он ее имел в самом деле и не использовал ее хотя бы для амнистии миллионам людей, находящимся в советских концентрационных лагерях — не за измену, а, например, за лишнюю десятину земли в прошлом, — то пришлось бы сделать печальные выводы о русском народе. Что же касается философской основы, то, конечно, теперь Маркс и Ленин немного прикрыты «Александром Невским», но, право, из этого решительно ничего не следует <...> Я теперь и «советским кругам» не хочу вредить по понятным причинам и в статьях взвешиваю каждое слово. Но чем же нам быть, как не «оппозицией»?

Написанный Алдановым текст газетного объявления о выходе первого номера «Нового журнала», 1942 г.

Оставаясь такими же противниками советской власти, какими они не переставали быть с 1917 г., все сотрудники всячески желают России и ее союзникам полной победы над ордами Гитлера; они, однако, оставляют за собой право критиковать советскую власть и в первой же редакционной статье выразили пожелание, чтобы власть эта хоть теперь, когда так необходимо единение всех патриотов, объявила амнистию и начала или хотя бы лишь обещала демократизацию режима после окончания войны.

Большевики или близкие к ним по взглядам лица участвовать в «Новом журнале» по самому его заданию не могут и не участвуют. Не может быть и речи об участии в нем фашистов или лиц, сочувствующих фашистам. «Новый журнал» занимает весьма резкую антигитлеровскую позицию.

Алданов — в редакцию неназванной газеты в связи с варварствами гитлеровцев в Киеве, 1942 г.

Союзные правительства не раз грозили карами людям, ответственным за то, что теперь немцы делают в России. Не следовало ли бы добавить автори-

тетное заявление, что даже не в порядке кары и мести (для которых есть столько оснований), а просто в порядке компенсации и эквивалентного возмещения немцы должны будут отдать за то, что они уничтожают без всякой надобности, те сокровища чужого искусства, которые они собрали в музеях Мюнхена, Дрездена и Берлина. Может быть, такое заявление произвело бы хоть некоторое впечатление на невежественных людей?

В «Новом журнале» (1942, № 3) были напечатаны две небольшие, но важные статьи по вопросам текущей политики. В первой подводились итоги первых трех лет мировой войны, во второй шла речь о перспективах второго фронта. Они были подписаны инициалом «А». В Бахметевском архиве в Нью-Йорке хранятся рукописи этих статей, принадлежащих, как выяснилось, Алданову.

Три года войны

Без России, быть может, было бы потеряно все: теперь достаточно ясно, что если б Гитлер не совершил роковой, думаем, для него и совершенно бессмысленной ошибки 22 июня, если б он бросил свои 250 (по некоторым данным, 300) дивизий не в Россию, а против Англии (тогда не имевшей союзников), то положение последней было бы совершенно катастрофическим. Германские войска могли в 1941 г. почти беспрепятственно пройти через Турцию, они могли легко захватить Сирию, Палестину, Иран, Ирак, Египет; их потери при этом, без всякого сомнения, было бы просто невозможно сравнивать с потерями в России, и нефти у них теперь, без Баку, было бы достаточно. Удалась ли бы переправа через Ламанш — это другой вопрос. Но что случилось бы с Англией, если бы против нее теперь действовал **весь** германский воздушный флот? По признанию самих британских военных, Англия года полтора тому назад находилась на краю гибели.

Почему Гитлер напал на Россию — по сей день невозможно понять, если исходить из законов логики. Ни малейшая опасность ему с востока не грозила. Сталин предпочел остаться в стороне (и оказывать посильную помощь немцам) в 1939 г., когда французская армия считалась самой лучшей в мире, когда Япония и Италия сохраняли нейтралитет, когда ни у кого не было ясного представления о всей мощи Германии, — и лишь улыбку может вызвать предположение, что советское правительство по своей воле напало бы на Германию **после** разгрома Франции и Польши, после выступления Японии, после выяснения военной слабости Англии. Ненависть Гитлера к коммунистам ровно ничего не объясняет: он очень хорошо ее сдерживал почти два года, и счёты с СССР он мог бы свести по окончании счётов с Великобританией. Это была просто глупость — чудовищная по глупости ошибка, быть может, спасшая мир. Для того чтобы утверждать это, не надо быть военным авторитетом. К тому же теперь уже почти не подлежит сомнению, что нападение на Россию было произведено Гитлером **вопреки** мнению германских военных авторитетов и прежде всего фон Браухича. Мы прочтем когда-нибудь немало сенсационных сообщений в воспоминаниях германских фельдмаршалов — если война кончится победой союзников и если эти столь полезные человечеству фельдмаршалы останутся в живых.

Теперь соотношение сил понемногу меняется на наших глазах. Русский народ и русская армия проявили и проявляют совершенно исключительный героизм. О стратегии русского командования мы не можем судить. Но, во всяком случае, можно сказать, что она ничего не теряет от сравнения со стратегией Гамлэнов и Петэнов, которые ведь тоже считались крупными авторитетами (слово «grand» склонялось во всех падежах). Тем не менее мы не скрываем от себя, что положение России чрезвычайно тяжело и что оно ухудшается с каждым днем. Трудно представить себе, что произойдет с русской армией и русским народом, если они останутся без нефти, с малым числом заводов, с недостаточным количеством хлеба. Все возможно. В прошлую войну государственный строй в России развалился до того, как он развалился в Германии. Последствия всем известны. Не исключена возможность повторения истории — история повторяется довольно часто. Кто знает, что произойдет в этом случае? Прошлая война закончилась без России и отчасти против России. За это Европа дорого заплатила: демократическая Россия неизбежно оказалась бы в лагере союзников не 22 июня 1941 г., а 3 сентября 1939 г., и, конечно, тогда ход войны был бы совершенно иным. Материальная и моральная мощь русского народа при всяком строе теперь еще яснее, чем была прежде. В эту войну немцы захватили (по 10 сентября 1942 г.) 480 тысяч квадратных миль русской территории с населением 56 миллионов. Тем не менее Россия продолжает сопротивляться. Мало то-

го, ее воздушные эскадры бомбардируют (с весьма незначительным процентом потерь) Берлин, Кенигсберг, Вену, Будапешт. Между тем нельзя вообразить страдания, которые приходилось и приходится выносить русским людям на фронте и вблизи фронта, по обе его стороны. Газетные статьи не могут дать об этом никакого представления. Это мог бы описать один Толстой.

Будем надеяться, что наша родина избежит полного развала. Будем надеяться, что так или иначе, рано или поздно («рано или поздно!..») в ней установятся свободные формы жизни, для установления которых нынешняя власть не сделала ничего: она не сочла даже нужным обещать их. Но что бы дальше с Россией ни случилось, огромная, потрясающая роль русского народа в этой войне не должна быть забыта, как она была забыта 25 лет тому назад.

Второй фронт

Разумеется, не может идти речи о злой воле союзников. Клеветнические намеки в германской печати на то, будто Англия и Америка **нарочно** не создают второго фронта, чтобы истощить Россию и освободиться от опасного союзника к тому времени, когда в нем больше не будет надобности, не заслуживают ничего, кроме презрения. Такие намеки, такие слухи пускались и в прошлую войну — кто же не помнит милой шуточки: «Англия воюет до последней капли крови русского (вариант: французского) солдата». В действительности в ту войну, как и в эту, Англия готова была воевать до последней капли крови **английского** солдата. Из литературы, появившейся после 1918 г., ясно, что катастрофическая Дарданелльская операция была предпринята преимущественно в целях помощи России, для того чтобы обеспечить ей подвоз военного снаряжения, в котором она так нуждалась. — «Но тогда Россия не была большевистской!» — Мы отлично знаем, что многим британским государственным деятелям и в те времена не улыбалось ни чрезмерное увеличение русского могущества, ни переход к России проливов. Однако эти соображения отходили даже не на второй, а на десятый план в дни, когда шла отчаянная борьба, борьба на жизнь или смерть, с общим врагом: помощь России была делом собственного спасения. То же происходит и теперь. Вдобавок теперь еще труднее представить себе такое стратегическое положение, при котором Англия и Соединенные Штаты совершенно не будут больше нуждаться в помощи русского союзника.

Дело, конечно, и не в «трусости», не в «нерешительности», не в «вялости» английских и американских государственных людей, не в их «слепом преклонении перед авторитетом ничему не научившихся генералов». Менее всего можно обвинять в этих свойствах Черчилля, который Дарданелльскую экспедицию предпринял вопреки советам светочей британской военно-морской науки, в том числе знаменитого лорда Фишера. Великий князь Николай Николаевич в своем обращении к Китченеру 2 января 1915 г. настойчиво требовал «диверсии», и Черчилль тогда убедил английский кабинет в том, что нужно пойти на большой риск для спасения русской армии. Он даже стал жертвой Дарданелльского дела, в результате которого был заменен Бальфуrom. Нет ни малейших оснований обвинять его и в чрезмерной почтительности в отношении военных авторитетов: в течение всей государственной карьеры Черчилля его обвиняли как раз в обратном; да и теперь генералы и адмиралы сменяются им беспрепятственно. По-видимому, до сих пор он признавал высадку во Франции, в Бельгии, в Норвегии просто невозможной по той причине, о которой газеты говорили часто и которая достаточно понятна: благодаря «внутренним коммуникационным линиям» германское командование все еще имеет возможность быстро сбросить в море англо-американский экспедиционный корпус, почти не уменьшая темпа своего наступления в России. Военные, политические, моральные последствия такой катастрофы были бы, разумеется, огромны<...>

В виде ли высадки в Европе или присоединения больших англо-американских сил к русской армии или действительно беспрепятственных и колоссальных налетов союзных воздушных эскадр на немецкие города эта помощь необходима **сейчас** <...> Лишь бы не опоздать — все лучше, чем опоздать.

Алданов — В. А. Маклакову¹, 20 марта 1953 г.

Какие же могут быть сомнения в том, что мы были в 41—45 году правы, желая победы России, хотя бы большевистской? Я всей душой желал — хотя не очень надеялся — на изменение политики Москвы в случае победы. В случае же поражения России была бы гитлеровщина, то есть еще нечто много худшее, идиотское и не менее жестокое, чем большевистский строй.

¹ Василий Алексеевич Маклаков — юрист, посол Временного правительства во Франции. В эмигрантские годы видный редактор, публицист и мемуарист.

Нью-йоркский Литературный фонд, к которому присоединился Алданов, на протяжении всей войны занимался благотворительностью. В письме В. А. Маклакову от 5 ноября 1954 г. Алданов свидетельствовал: «В пору войны и голода в СССР мы посылали посылки в СССР по адресам университетов с просьбой разделить их между профессорами». В конце войны начали регулярно отправлять посылки русским деятелям культуры, оставшимся во Франции. «Американские русские» с волнением узнавали о драматических судьбах многих своих друзей в Европе.

Алданов — А. Ф. Керенскому, 10 сентября 1943 г.

Вчера непонятным чудом получил два письма от Полонского¹: от 23 марта и 1 января из южной Франции, места из конспирации не указывает. Информация о кончине (то есть о последних днях) Павла Николаевича, которую Вы прочтете в «Новом русском слове» исходит из письма П. Н. к Полонскому. Об Илье Исидоровиче² мой бофрэр сообщает, что он уехал «к Стенуну и находится поблизости от него». Т. е. сослан в немецкий лагерь, где-то находящийся около Дрездена.*

¹ Я. Б. Полонский — свояк Алданова.

² Павел Николаевич — Милоков, Илья Исидорович — Фондаминский (Бунаков), один из редакторов «Современных записок».

Алданов. Из выступления на вечере в Нью-Йорке в помощь русским писателям, журналистам, ученым, живущим в Европе, 1944 (?) г.

Не надо спрашивать, «как они живут». Они еще живут. Сегодня это полуголод. Завтра будет голод.

Мы можем облегчить материальные лишения оставшихся в Европе пишущих людей. Кто-то сказал: «Нет в мире такого дела, на которое нельзя было бы собрать деньги в Соединенных Штатах». Мы имеем право добавить: «И нет такого дела, которое больше этого заслуживало бы».

У голландцев, у чехов, у сербов, у бельгийцев есть свои эмигрантские правительства, которые могут оказывать им хоть некоторую помощь. У русских эмигрантов нет ничего. Эта помощь необходима немедленно <...> Громадное большинство живет с полным достоинством. Если помощь не придет, им останется с достоинством умирать. И это было бы не только виной Гитлера: это было бы и нашей виной.

В среде русской эмиграции во Франции после освобождения от гитлеровцев преобладали просоветские настроения. Многие считали, что в СССР начинается новая эпоха справедливости и гражданских прав, мечтали о скором возвращении на родину. Важным событием стало приглашение группы русских эмигрантов во главе с В. А. Маклаковым 12 февраля 1945 г. в советское посольство. Маклаков сделал запись некоторых выступлений. Она была опубликована в нью-йоркском «Новом журнале» (№ 100). Ниже приводятся отдельные отрывки.

Открывая встречу, посол А. Е. Богомолов сказал: «Мы должны к вам присмотреться, вас изучить, убедиться в вашей искренности». Он предложил эмигрантам путь к сближению — через организацию «Русский патриот». (Эту организацию, вскоре переименованную в «Советский патриот», комментирует «Новый журнал», контролировал советник советского посольства чекист А. А. Гузовский.) Богомолов поставил в заслугу эмиграции, что она не пошла с гитлеровской Германией, подчеркнул: «Эмигранты, любя Россию, должны принять все те коренные изменения, которые в ней произошли».

Из выступления Маклакова. «Эмиграция была разнородна, но сходилась в одном: в враждебном отношении к советской власти. Считала ее главным злом, помнила только вред, который она причинила, и ждала, когда она упадет. Примирение с ней она считала изменой и предпочитала здесь вымирать. Это общее явление

*От французского beau frère — свояк.

для эмиграции; таковы были отношения и революционной эмиграции к царской России. Тяжелое испытание наступило тогда, когда Германия Гитлера начала войну с демократиями, а советская Россия была с ней в союзе. Но если союз России с Германией и представил бы непреодолимую военную силу, он не мог быть бы прочным, и мы опасались, что за него позднее заплатит Россия. Потому первые успехи Германии над Европой уже казались нам ударами по России, в которых повинна советская власть». После нападения фашистов на СССР, продолжал Маклаков, в эмиграции произошел глубокий раскол. «Часть ее все-таки желала победы Германии, надеясь, что эта победа вернет России возможность собой располагать. Но большинство считало такую победу, даже на короткое время, величайшим злом для России <...> Мы указывали, что победа Германии была бы гибелью Великой России, что ее защищает советская власть и что в войне за Россию мы с ней на одной стороне баррикады. И из этого должно было сделать логический вывод: признать, что советская власть — национальная власть, и противодействие ей прекратить <...> Самого крушения советской власти мы уже не хотим. Мы знаем, чего стоит стране революция, и еще новой революции для России не пожелаем. Мы надеемся на дальнейшую ее эволюцию».

Бывший узник немецкого концлагеря в Компьене А. С. Альперин¹ говорил о планах многих эмигрантов по окончании войны вернуться в Советский Союз: «Само собой разумеется, большинство эмиграции стремится вернуться на родину хотя бы для того, чтобы умереть на родной земле, но не это нас двигает. Мы считаем, что занятие нами патриотических позиций и признание советского правительства национальной властью есть наш внутренний долг, долг односторонний, ни на что не претендующий и ничего не требующий».

А. А. Титов просил наладить присылку во Францию для русских эмигрантов советских газет и журналов. Д. Н. Вердеревский говорил: «Эмиграция живет, окруженная буржуазной стеной, заслонившей от ее сознания мировую значимость трансформации жизни в СССР». Е. Ф. Роговский, участник Сопrotивления, вспоминал, что в Сопrotивлении «не было разногласий между советскими пленными и эмигрантами». Адмирал М. А. Кедров говорил о том, что эмигранты верили в победу Советского Союза, «для нас он представлял русский народ».

Посол Богомолов в ходе приема брал слово еще трижды. Основные его темы: эмиграция должна сменить русский патриотизм на советский патриотизм, сущность которого в принятии всех изменений, которые произошли в России; всеобщей амнистии, на которую надеются эмигранты, не будет, но, возможно, что те, кто захочет вернуться на родину, смогут это сделать. Посол провозглашал тосты за советский народ, за Красную Армию, за маршала Сталина.

¹ Абрам Самойлович Альперин — общественный деятель, масон.

Патриотический подъем в среде русских эмигрантов во Франции «компетентные советские органы» стремились использовать в своих целях. Франция, казалось, была на пороге установления «народной демократии». Надежды «французских русских» на либерализацию режима в СССР не осуществились. Алданов в письме А. Ф. Керенскому от 6 мая 1945 г. дал такой прогноз: «Корыто будет разбито во второй раз — "красная мечта" вслед за "белой мечтой"».

В фонде Алданова в Бахметевском архиве хранится текст доклада А. С. Альперина, прочитанного 24 марта 1945 г. в учредительном собрании «Объединения русской эмиграции для сближения с Советской Россией» в Париже. Вот отдельные отрывки из этого доклада.

«Мы продолжали жить антибольшевиками, врагами режима. Мы не знали почти ничего о том, что делается в России. В этом незнании была не только наша вина. Но надо признать, что наши глаза воспринимали мрачные тона легче, чем светлые <...>

Но вот разразилась война. Нам всем стало ясно, что страшная опасность грозит России; что победа Германии — это не только военный разгром, но это — немецкая политика полного обессиления страны. Мы знали, что духовный вождь нацизма Альфред Розенберг говорил о том, что нужно уменьшить число славян на 25—30 миллионов <...>

Теперь говорят о двух патриотизмах: о патриотизме русском, о патриотизме советском; но тогда, в начале войны, никаких таких подразделений не было, как не было их во все тяжкие и ответственные моменты истории нашей страны. Патриотизм Минина и Пожарского был просто патриотизм, без прилагательных. В 1812 г.

русский народ пошел на француза не для того, чтобы защищать свой строй, рабовладельческий строй, а вопреки посулам Наполеона, обещавшего крестьянам свободу. Когда в 1915 г. русская армия, безоружная, голыми руками отбивала атаки немцев, русская интеллигенция, которая в значительном своем большинстве была враждебна государственному строю, самоотверженно вложилась в дело обороны, и в кратчайшее время страна покрылась сетью наскоро построенных заводов по производству оружия. Мы знаем также случаи патриотизма не родины, а только ее строя. В. А. Маклакову случилось недавно цитировать Константина Леонтьева: «На что мне Россия без самодержавия и православия?» <...>

Мне думается, что в каждом прилагательном, прибавляемом к слову «патриотизм», есть что-то ограничивающее. Как бы ни объяснять патриотизм, мы — патриоты <...>

Ужасен был первый удар неимоверно мощной немецкой военной машины. Россия погнулась, но удар выдержала <...> Мы увидели, что народ пошел за своей властью, за своими вождями. Народ проявил единодушие, а вожди мудрую предусмотрительность <...> И мы чувствовали, что надо отказаться от привычных графаретов оценки советского строя, от привычной критики действий советской власти. Трудно нам было. Ведь двадцать лет мы были в собственном процессе свидетелями и обвинителями. Мы были ими потому, что «мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего...» И вдруг нам же пришлось стать защитниками против собственных же обвинений! Мы не могли не стать защитниками, ибо мы, и когда были свидетелями и потерпевшими и обвинителями, были добросовестными, и эта же добросовестность заставляла нас стать защитниками <...> И мы почувствовали, что мы не можем оспаривать права быть российской национальной властью у той власти, за которой народ пошел, под руководством которой он отдает миллионы жизней для спасения родины <...>

Мы хотим сблизиться с советской властью, с советскими людьми, чтобы составить себе суждение о «завтра», надежду на «завтра». Мы будем помогать желающим возвращаться на родину. Когда-то Герцен сказал: «Как могло случиться, что я, русский по всему складу своей души, оказался эмигрантом?» И ответил: «Когда мне предстояло выбрать между отсутствием мысли и слова и пребыванием в эмиграции, я выбрал последнее!» Теперь положение другое. Каждый должен сам решить, стоит ли он на герценовской позиции или готов принести в жертву многое, что дорого свободному человеку, для того, чтобы со своим народом творить будущее России».

А. А. Титов¹ — Алданову, 23 апреля 1945 г.

«Советские патриоты» исполняют все указания посольства и ждут, когда их признают достойными советского гражданства. Мы², отказавшись от борьбы, жаждем узнать правду о России и надеемся, что там постепенно водворится свобода. Думаем, что постепенно к нам войдет большинство эмигрантов и непримиримых останется немного. Но, разумеется, все будет зависеть от поведения советской власти.

¹ Александр Андреевич Титов — химик по образованию, предреволюционный общественный деятель. В эмиграции публицист.

² Имеется в виду созданное Титовым и Альпериным в Париже в 1945 г. «Объединение русской эмиграции для сближения с советской Россией».

С. М. Соловейчик¹ — Алданову, 2 мая 1945 г.

Поскольку я страстно хочу, чтобы второстепенные персонажи — разные сс, гаулейтеры и прочие попали в русские руки («крови жажду»), постольку мне хотелось бы, чтобы главные оказались в американских или английских руках. Казни им все равно не избежать, а суд будет внушительнее и не сможет быть опорочен воспоминаниями о «процессах».

¹ Самсон Моисеевич Соловейчик — публицист, автор «Нового журнала».

Алданов — Керенскому, 6 мая 1945 г.

В Париже, по-моему, происходит и с каждым днем будет усиливаться развал политической эмиграции. Ее в самом деле уже больше нет: осталась только колония. За успех люди всегда всем прощали все. А теперь, по-видимому, и Бильянкур¹, и идейные вожди, вроде Одинца², окрылены надеждами: амнистия, служба, места, милости, тридцать пять тысяч курьеров в полпредство и обратно. Думаю, что для громадного большинства ни одна из этих надежд не оправдается и корыто будет разбито во второй раз — «красная мечта» вслед за «белой мечтой». Кроме того, отношения между де Голлем и коммунистами портятся. Идейные вожди могут немного испугаться: они ссориться с властями не любят. Коммунисты были бы во Франции всемогущи, если бы Сталин хотел и мог им помогать по-настоящему. Но в Ялте как будто принято решение, что Западную Германию будут занимать английские и американские войска. Если так, то «сосредоточение войск на границе» для подкрепления политических требований в данном случае в ближайшие годы окажется невозможным. Своими же силами французские коммунисты едва ли придут к власти. Это подает мне надежды, что, быть может, удастся закончить свои дни в Париже: на Петербург я больше, к большому своему горю, ни малейшей надежды не имею. Политика де Голля меня несколько разочаровала. Он, по-видимому, хочет восстановить Третью республику без больших в ней социальных перемен, именно это на руку коммунистам. Впрочем, его политика еще не ясна.

¹ Бильянкур — ближний пригород Парижа, где селились небогатые эмигранты.

² О Д. М. Одинце см. подробнее ниже, в письме А. А. Титова Алданову от 10 августа 1945 г.

Маклаков — Алданову, 25 мая 1945 г.

Если бы Вы ощутили весь ужас и разврат оккупации и перспективу немецкой победы, представляли себе, что это было бы для России, и понимали, что спасти от него может только советская власть, и одновременно видели наших германофилов, которые помогли немцам «для освобождения России», — то Вы бы не удивлялись, не хотели быть вместе с ними и в чем-то их поддерживать; отсюда мы естественно ощутили, что мы ближе к советам, чем к Германии и германофилам, и считали, что их победа была бы трагичнее для России, чем продолжение советских бесчинств, которые сами готовили себе противоядие <...>

После победы над Германией.

Мы заявили себя эмигрантами, в Россию не просились, но заявили, что после происшедшего мы больше не хотим их свержения, и хотели бы не личного, а массового примирения с эмиграцией, как символ установления нового строя <...>

После визита в советское посольство 12 февраля 1945 г.

Через несколько недель Богомолов меня одного вызвал и спрашивал, не хочу ли я поехать в Россию. Я ответил, что поставлю себе этот вопрос только тогда, когда все эмигранты получат возможность вернуться <...>

Эта позиция основана и на некоторых политических предпосылках. Они таковы:

- 1) Уверенность в том, что советский режим не только способен эволюционировать, но и действительно давно, хотя слишком медленно, эволюционирует.
- 2) Что путь к этой эволюции указан им самим в конституции 1936 г., которая не исполняется, но может быть исполнена при некотором исправлении.
- 3) Что главным и необходимым исправлением является превращение партии в простой аппарат государства.
- 4) Необходимость упразднить официальную кандидатуру, то есть преимущества партийных кандидатов.
- 5) Не нарушая основ конституции, можно увеличивать индивидуальный сектор, менять структуру колхозов, давать свободу прессы и слова, все это в рамках советской системы; от нее останется только одно — мелкая земская единица под заглавием «совет», но без его одиозных особенностей.

Но, конечно, советская власть и заинтересованные люди могут этого не желать и сопротивляться, как это делало самодержавие.

б) А это может означать, что для этих реформ необходимо предварительное свержение власти, т. е. новая Революция, против советов. И тут, по-видимому, главное, что нас разделяет. Еще недавно мы не только этого желали, но считали, что это непременно <одно слово нрзб.¹>. В этом отношении мы изменились; мы не верим, что это произойдет, раз Россия выдержала войну; но этого я лично и не хочу. Ибо только два исхода: либо либеральное правительство, как в Феврале, и Россию расчлениат и разбазарят соседи и союзники. Или такое же диктаторское правительство, но не коммунизм, а нечто вроде легитимистов, фашистов и вообще всех тех людей, которые здесь радовались победе Германии. Этого я не желаю и предпочитаю медленную эволюцию свержению власти. Вот здесь я, может быть, с Вами всерьез расхожусь — и от этого не откажусь.

¹ Может быть: произойдет.

Алданов — неизвестному лицу (Борису Исааковичу), 15 июля 1945 г.

Я писал Титову, что если бы Сталин дал амнистию, то мы приветствовали бы это (а не его), и добавил: не являясь с визитом в посольство. Так же мы приветствовали и победы русской армии <...> Абрам Самойлович¹ с довольно странной, чтобы не выразиться сильнее, шутливостью сообщает нам (для «петит истуар»*), что икра, рябиновка и портвейн были превосходные. Я очень этому рад, но боюсь, что хуже едят и пьют миллионы ни в чем не повинных людей, сидящие в ужасных лагерях по воле человека, за которого пили портвейн и рябиновку на рю Гренель («молчаливо», сообщает Василий Алексеевич², но он ничего не слышит: может быть, кое-кто и не совсем молчаливо). Я писал, что «эмиграция его величества» есть нечто совершенно бессмысленное, и остаюсь при этом мнении <...> Нельзя говорить: «Мы ни от чего не отказывались» и издавать лакейскую газету — или называть ее «нашим официозом».

¹ А. С. Альперин.

² В. А. Махлаков.

Г. П. Струве — Алданову, 23 июля Ф 1945 г.

Сообщает, что многие бывшие советские военнопленные и депортированные не хотят возвращаться в Россию, напротив, эмигранты первой волны осаждают советское генконсульство.

В связи с этим по Парижу ходит такой рассказ. По одному из бульваров идет пленный красноармеец и бывший свиты Его Величества генерал-майор, кавалергард князь такой-то. Отчаянно спорят и жестикулируют. Подходит к ним третий русский и спрашивает, о чем спор. Экс-князь и кавалергард с возмущением говорят: «Помилуйте, этот рядовой красноармеец смеет критиковать советский режим и ругать нашего высокочтимого Иосифа Виссарионовича и не желает возвращаться в Россию!»

Титов — Алданову, 10 августа 1945 г.

На Ваше предложение написать ответ на анкету в «Новом журнале» я должен ответить отрицательно; не потому, что я не разделяю общего направления журнала (наоборот, с очень многим в нем я согласен), но потому, что мы, живущие во Франции, об очень многом не можем высказываться свободно. Из дальнейшего Вы увидите, что я хочу этим сказать. Поэтому я, в свою очередь, просил бы Вас считать это письмо конфиденциальным и показать его только А. И. Коновалову, Ал. Ф. Керенскому и, может быть, если Вы найдете нужным, Вл. Мих. Зензинову. При этом условии я считаю возможным писать откровенно, и задачей моей является развеять последние недоразумения, которые могли создаться после нашумевшего нашего визита в посольство.

* От французского petite histoire — маленькая история.

Я вовсе не утверждаю, что наше различное отношение происходит от того, что Вы, живучие в Америке, потеряли чувство России, в то время как мы его сохранили. Конечно, не из французских газет, в которых, за исключением «Figaro» и «Le Monde», редко появляется серьезная статья, мы черпаем сведения о России. Здесь мы имеем также швейцарские газеты, имеем и экстракты из тех американских книг о России, о которых Вы пишете. Но, кроме того, у нас есть некоторые непосредственные отношения с советскими официальными представителями, которых, очевидно, у Вас не имеется. С другой стороны, сближение наше стало необходимым потому, что и здешнее Министерство иностранных дел, и представители Верховного комиссариата Лиги Наций, от которых русские беженцы во Франции непосредственно зависят, не решались сделать каких-либо шагов по признанию наших органов (беженского офиса и состоящих при нем благотворительных учреждений), прежде чем им не стало известно, что влиятельные круги русской эмиграции не находятся во враждебных отношениях со здешним советским представительством. Не знаю, писал ли я Вам, что в первые дни после освобождения Парижа нашей «инициативной группе» пришлось выдержать большую борьбу против произвольных арестов массы «русских белых», которые производились разными самочинными организациями и сопровождалась иногда ограблением имущества и разгромом учреждений. Мы явочным порядком открыли «офис» и стали сношаться с учреждениями, настаивая на быстром рассмотрении дел арестованных, организовали доставку им продовольствия и теплых вещей, посещение их нашим представителем, а также священником и т. д. Очень многие из рядовой эмиграции, испуганные арестами, бросились в «Союз патриотов», физиономию которого Вы, наверно, знаете по первым номерам их газеты. Среди деятелей которого очутились несколько темных личностей, в свое время работавших с немцами, и увя... наш партийный товарищ Д. М. Одинец, который одно время был председателем Союза, а потом, не выбранный в члены Правления, сделался редактором «Советского патриота». Союз при помощи своих сочленов, состоявших в «Resistance», рекувизировал прекрасное помещение Лиги Наций (которое немцы отдали Жеребкову) и еще одно помещение, собрал большую дань с разных русских спекулянтов, нажившихся при немцах, и стал на путь «безоговорочного признания Советов», сопровождавшегося покаянными статьями и лязганием инакомыслящей части эмиграции. Было устроено торжественное собрание в день годовщины Ноября с выступлением посла, телеграммами Сталину и Калинин, одним словом, «припадение к стопам». Одинец в это время носился с мыслью о ежедневной газете, на которую имел обеспеченные деньги и ближайшим сотрудником которой должен был стать Руманов.

Тогда и в нашей группе возник вопрос о необходимости своего, хотя бы еженедельного, органа. Члены правления «Последних новостей» (Ступницкий, Волков и Михельсон) фактически могли хлопотать о возобновлении органа, закрытого немцами. У Ступницкого есть хорошие связи в Мин. ин<остранных> дел, у Михельсона в Мин. информации. Принципиально им дали согласие, но дали понять, что желательно получить согласие Сов. посольства. Ступницкий состоит генеральным секретарем французского Общества изучения Сов. России, созданного некоторыми профессорами Haute Ecole des Sciences Politiques и несколькими французами-промышленниками. В этой роли он и проник к ген. консулу Гузовскому, а затем и к Богомолову. Однако несколько месяцев прошло, пока ему удалось получить разрешение на выход газеты. В одно из свиданий с Богомоловым тот спросил его, почему Маклаков не зайдет к нему, на что Ступницкий ответил, что не сомневается, что Маклаков зайдет, если получит приглашение. В это время — примерно в январе — ко мне обратился митрополит Евлогий со следующей просьбой: ген. консул Гузовский хочет-де с ним встретиться, но он, Евлогий, считает неудобным приглашать его к себе и не хочет первый к нему являться, поэтому просит моего разрешения встретиться с Гузовским у меня, то есть в нейтральном месте. На это я согласился, и свидание состоялось в моем рабочем кабинете в Биотер. Гузовский довольно продолжительно беседовал с митрополитом, рассказывал о положении церкви в России, передал некоторые номера «Патриаршего вестника». Он говорил, что правительство опирается не на партию, а на весь народ, не могут-де три миллиона партийцев предписывать 190 миллионам непартийных. Говорили и про патриарха и про восстановление церквей. В заключение Гузовский просил Владыку приехать в посольство, так как с ним хочет познакомиться посол, а Владыка просил его устроить пересылку его письма к местоблюстителю Патриарха. Вскоре после этого состоялось свидание митрополита с послом, а затем Гузовский по телефону передал Ступницкому, что посол просит

к себе Маклакова и членов его группы, в том числе Вердеревского, Кедрова и Роговского. Получив это предложение, мы решили пойти в составе «инициативной группы», у нас не возникало мысли, что мы становимся «богомольцами», как нас окрестил Мельгунов. Из протокола свидания Вы могли убедиться, что никаких покаянных слов произнесено не было и единственным неудобным моментом был знаменитый тост. Вы спрашиваете, «зачем мы пошли», и говорите: «Гора родила мышь». На это отвечаю, что мы пошли, чтобы продемонстрировать наше примирение с Сов. властью и создать возможность сотрудничества — оставаясь самими собой. Результаты же свидания выявились очень скоро. Как только о нем узнали в Мин. Ин. Д. и в Верх. комиссариате, так и Франц. правительство, и комиссар Лиги Наций признали наш офис и назначили Маклакова директором офиса. На содержание офиса правительство ассигновало средства согласно представленной нами сметы, которые выдаются Маклакову через Лигу Наций. Вы писали, что Маклаков мог бы пойти и один. Но нам казалось более целесообразным, чтоб свидание было в присутствии нескольких свидетелей и чтоб можно было затем огласить то, что было сказано обеими сторонами. Вышло лишь большое промедление с оглашением, так как нам казалось неудобным оглашать текст речи Богомолова, не показавши ему этот текст, а Гузовский, которому текст был передан, так и не вернул его нам.

Месяца два спустя Ступницкий сообщил нам, что получил разрешение на газету, а также контингент бумаги (теперь получение контингента является самым трудным моментом, и министерство может, сократив или совсем прекратив выдачу бумаги, этим фактически приостановить выход газеты). К этому времени относится и учредительное собрание «Объединения», на котором А. С. сделал известный Вам доклад.

Но вскоре произошло чрезвычайно возмущившее меня событие, а именно выход «Русских новостей» под единоличной редакцией Ступницкого. Я Вам за несколько дней до того писал, что у нас будет свой официоз, но, увы, я очень ошибся в своих предположениях. Ступницкий статью Маклакова «по техническим причинам» перенес во второй номер, вынудив у него некоторые поправки, а затем, совершенно не сообщив ни одному из нас, предположил редакционную заметку, которая чрезвычайно нас возмутила. Сделал он это потому, что боялся возможного закрытия газеты из-за этой статьи. В частном разговоре он передал одному близкому лицу, что статья вызвала большое возмущение в посольстве, что ему удалось предотвратить приостановку газеты, но что Маклаковым очень недовольны. Действительно, через одно лицо, знакомое с начальником информ. отдела Михайловым (око НКВД), мы узнали, что он страшно был возмущен статьей и заявил: «Маклаков всегда был нашим врагом и таким же остается». К несчастью, Ступницкий никогда ни в каких русских общественных организациях не участвовал и у него нет элементарных понятий об общественной солидарности. Он, будучи зависим от посольства в смысле возможности выпуска газеты, сразу испугался. Он приблизил к себе Роцина (он же Днепров'), который сначала писал в «Патриоте», а теперь появляется в каждом номере «Русских новостей». Роцин — человек беспринципный, имеет вход к Гузовскому (вероятно, в переднюю) и припугивает Ступницкого. А у последнего мужества никогда не было. Итак, на счет «Русских новостей» дело обстоит так: за исключением статьи Маклакова и статьи Бердяева там ничего не появилось, отражающего точку зрения «Объединения». Ступницкий совершенно определенно на наши заседания не является и никого из нас, кроме Маклакова и Татаринова, не видит, а в то же время жалуется, что мы его не поддерживаем и относимся к нему враждебно. Чтобы покончить с вопросом о газете, сообщу Вам, что Ступницкий предложил Вашему другу Бунину дать ему рассказ. Но милейший Иван Алексеевич загнул такую цену (8 или 10 тысяч франков), что пришлось отказаться от этой чести. Бунин откровенно говорит, что собирается ехать в Москву, что он продал Госиздату свои сочинения за крупную сумму, и к эмиграции относится очень презрительно. Был его вечер, где он читал отрывки из новых рассказов. Я слышал только второй отрывок довольно «альковского» характера, и вообще он, кажется, ударился в эту сторону и со вкусом описывает любовные сцены с большими подробностями. Возвращаясь к вопросу, был ли наш визит ошибкой и придется ли нам о нем жалеть.

Зачем Богомолову понадобилось нас приглашать? Гузовский, очевидно, не очень сочувствовал этому, его вполне удовлетворяло поведение Сов. Патриотов, которыми он командует и которые ползают на животе перед начальством. Но Богомолов, который гораздо образованнее Гузовского и который много лет жил в Париже, понял, что в Союз Патр., кроме Одица и младороссов, вошли только

серые личности из эмиграции или лица с подмоченной репутацией. Поэтому он обратился к нашей группе. Однако после визита прошло много времени, и Богомолов молчит. Очевидно, из Москвы получились другие инструкции (Гузовский туда ездил и мог сделать доклад кому следует). Одним словом, дальнейших шагов со стороны Богомолова не было, и для нас очевидно, что у него нет самостоятельности в этом вопросе и что он получает инструкции свыше.

Возможен ли либеральный курс совет. правительства? В прошлом году он нам казался возможным после окончания войны, и мы об этом говорили в п. 5, 6 и 8 нашей июньской декларации. Мы увидим, допустит ли Сов. власть сближение Сов. Союза с союзническими странами или опять отгородится от заграницы китайской стеной. Пока симптомы не очень благоприятные. Русских военнопленных старательно изолировали от местного населения, держали их в лагерях, не разрешали им браков с французами и француженками, и на этой почве было немало драматических случаев. Результаты английских выборов могут оказать влияние, и, как мне кажется, в благоприятном смысле. Московскому правительству меньше приходится опасаться империалистической политики Англии, чем при консервативном правительстве, а с другой стороны, захочется показать, что и у нас тоже демократия. И поэтому не исключается возможность ослабления «прижима» и освобождения граждан из концлагерей. Правда, первая амнистия была как будто довольно ограниченная, но за ней могут последовать и другие. Мне думается, что совет. правительство должно считаться с возвращающейся победоносной армией и как-то облегчить условия существования, не только материальные, но и в смысле гражданских свобод.

Мы, надеемся, скоро увидим, куда там дует ветер, и если ветер будет благоприятный, то Вы и близкие Вам станете на нашу точку зрения, если ветер будет обратный, то мы должны будем открыто об этом заявить и отмежеваться от «патриотов». Таким образом, мне кажется, что сожалеть нам о своем визите и в том, и в другом случае не придется.

Теперь относительно возвращения на родину. Есть целый ряд людей, которые никогда активной политикой не занимались и которых отсутствие свобод, за которые мы боролись, нисколько не тревожит. С другой стороны, большинство этих людей, работающих во французских предприятиях, все время отодвигаются назад как иностранцы и не могут поэтому завоевать себе положение, соответствующее их знаниям и способностям (например, та молодежь, которая получила высшее образование во Франции, но не натурализовалась, да и многих натурализованных только за их фамилию рассматривают как иностранцев). В Сов. России они, если их туда пустят, могут найти себе подобающее место и в научных учреждениях, и как специалисты в промышленности. Например, Тимофеев², которого Вы, наверное, встречали в Берлине, уже переехал в Россию со своими сотрудниками и получил там лабораторию. Другое дело — мы, которые активно боролись за свободу и для которых теперешний режим был бы трудно переносим, да и которых, если б и пустили в Россию, то держали бы там под неусыпным присмотром. Поэтому я понимаю А. Сам., который сам теперь не может ехать в Россию, но с чистой совестью может содействовать в этом другим. (В свое время он помог в денежном отношении И. Я. Билибину, когда тот решил возвратиться.)

Мне хотелось бы еще сказать Вам, как я объясняю себе то, что мы с Вами, будучи, по существу, одинаковых взглядов, разошлись по вопросу об отношении к совет. правительству. Эту разницу я объясняю не тем, что мы знаем больше, чем Вы, о происходящем в Сов. России. Но мы здесь поставлены в другие условия. Франция сама находится на распутье. Из всех партий наиболее энергично действует коммунистическая, которая овладела и национальным фронтом, и рабочими синдикатами. В большинстве мэрий Парижа коммунисты играют решающую роль. Низшее и среднее образование во Франции собираются перестраивать по советским образцам. Правительство все время оглядывается на Москву, и по вопросу, который не задевает непосредственно Францию, никогда не сделает ничего неприятного совет. правительству. При этих условиях эмиграция не могла оставаться на той позиции, которую она занимала до сих пор, то есть отрицания положительных достижений совет. правительства и отказа вступить с ним в личные сношения. У Вас положение совсем другое. Вопрос о помощи Соединенным Штатам со стороны Советской России не возникало. Коммунисты в Соединенных Штатах никакой политической роли не играют и никакого влияния на правительство не имеют. Советское посольство никаких шагов в смысле обще-

ния с политической эмиграцией не делало. У Вас, следовательно, и не было стимулов к какому-либо шагам об общении.

11 августа. В заключение несколько слов о ближайшем будущем. За эту неделю произошли два крупнейших события: атомная бомба и капитуляция Японии. Последнее событие поставит вопрос о дележе сфер влияния между тремя великими державами. Совет. правительству придется иметь против себя двух союзников, которые между собой сговорились и, кроме того, имеют в своем арсенале оружие, делающее их неизмеримо более сильными. Поэтому придется совет. правительству быть уступчивым в целом ряде вопросов, хотя бы о форме правления в европейских странах, даже таких, как Польша, Румыния и Болгария. Одним словом, о большевизации Европы думать не придется. Из чисто тактических соображений придется и у себя немного «отпустить тормоза», допустить какие-то гражданские свободы. Трудно будет также сохранить китайскую стену между Россией и остальным миром, тем более что скоро международный товарообмен должен усилиться, и в связи с этим будет взаимное проникновение людей и сведений, которое не может не повлиять на настроение умов той советской интеллигенции (включая офицерство), которая является теперь наиболее влиятельным классом в России. Благодаря распространению радиоаппаратов эта интеллигенция будет в курсе того, как остальной мир смотрит на все главные вопросы мировой политики, и составит себе мнение о том, что такое настоящая свобода. Ну, а там посмотрим, по какому пути пойдет совет. правительство, будет ли это мирная эволюция или полицейская борьба. Нам приходится, к сожалению, быть пока только зрителями, и те случаи, когда мы участвуем в этом деле, чрезвычайно редки и относятся к очень мелким фактам (к сношениям с отдельными советскими гражданами и выяснению им нашей точки зрения).

Мы попытаемся как-то развить деятельность «объединения», создать несколько отделений его. Может быть, если пресса станет свободнее во Франции, нам удастся выступить в печати.

На этом кончаю это затянувшееся письмо.

¹ Настоящее имя — Николай Яковлевич Федоров. В 1946 г. вернулся в СССР.

² Речь идет о биологе Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском.

Алданов — Я. Г. Фрумкину¹, 10 августа 1945 г.

События меня потрясли. Я совершенно растерян атомной бомбой. Никаких разъяснений дать не мог бы: это не моя область, и я совершенно не понимаю, как бомба изготовлена, — все думаю и не понимаю. Но, конечно, это величайшее событие в мировой истории. Ближайшее его действие благотворно, но дальше...

Алданов — С. П. Мельгунову², 14 сентября 1945 г.

Об атомной бомбе.

Кстати, она потрясла меня больше, чем война и революция 1917 года.

¹ Яков Григорьевич Фрумкин — публицист.

² Сергей Петрович Мельгунов — историк, журналист, писатель.

Алданов — в редакцию парижской газеты «Русские новости», 16 сентября 1945 г.

Отказывается в ней печататься.

Во избежание недоразумений скажу Вам, что я «большевикоедством» отнюдь не занимаюсь. С первого дня войны мы все, как и Вы, заняли абсолютно оборонческую позицию. Лично я в статьях на русском, английском и французском языках не раз говорил, что от всей души желаю победы России, каков бы ни был ее строй, что ее поражение считал бы катастрофой, что я признаю большие заслуги советской власти в деле обороны. Но отсюда до позиции Вашей газеты еще далеко. Вы меня поймете. Не сердитесь.

Неизвестный из Парнжа — Алданову, 21 апреля 1946 г.

Падение нравов неопишное. Бандитизм принял массовый характер. Кражи — явление почти нормальное. В метро надо беречь карманы, не разлучаться с мешками или сумками. Удач с плеч срезают модные теперь сумки через плечо, выходят из вагона и уносят не принадлежащий им багаж. Особенно тяжелую атмосферу создает сексуальная распушенность. В вагонах поезда или метро бывает противно сидеть <...> Политическая неразбериха не менее тяжелая. Партии занимаются теоретическими вопросами о конституции, не видя, как страна скатывается все ниже и ниже, и не понимая, что самая лучшая конституция не даст ни хлеба, ни масла, ни мяса, ни всего прочего, если страна не будет производить, а увь! страна не производит. Я все это наблюдаю, и получаю впечатление, словно происходит какой-то сознательный саботаж. Впрочем, тут много от рутины, от бюрократического головоуятства.

К. Р. Кровопусков¹ — Алданову, 16 мая 1949 г.

Об «ошибке». Я-то с Вами совершенно согласен, что она была «ошибкой». Но могу, однако, сказать Вам, что, если бы Вы лично были в Париже в 45 году, я не поручусь, что Вы не пошли бы вместе с В. А. в посольство. Сейчас очень легко видеть все насквозь, но в то время, когда через наши руки проходило большое количество советских людей, включая офицеров Красной Армии, которые сами были убеждены, что в России наступит крутой перелом, которые убеждали нас, что мы вскоре все встретимся на родной земле, не легко было предвидеть то, что случилось. Кроме того, необходимо учитывать и политическую атмосферу того времени.

¹ Константин Романович Кровопусков — политический деятель предреволюционной эпохи, знакомый Алданова с 1917 г. (см. очерк Алданова «Из воспоминаний секретаря одной делегации»).

Начало «холодной войны», опасность перерастания ее в войну горячую — вот главная тема, преобладающая в переписке эмигрантов послевоенных лет. Составляются даже сценарии третьей мировой войны. По поводу одного из них, сделанного А. Ф. Керенским, Алданов выступает с резкими возражениями, эта полемика — важная веха начала 1950-х годов. Спорит он с Керенским и по поводу «ди-пи», по-английски «displaced persons», «перемещенных лиц», многие из которых — вчерашние власовцы. Керенский выступает за единство действий всей эмиграции, Алданов же утверждает: «Важно не только то, что мы хотим делать, но и то, с кем мы готовы это делать».

Алданов — Керенскому, 15 января 1946 г.

Г. П. Федотова заставили в его статье для «Нового журнала» снять тезис, что Запад должен «угрожать войной» Советскому Союзу.

Для меня это совершенно неприемлемо: какие бы ошибки и преступления ни совершал один господин, мы не можем ставить на войну с Россией — в особенности на нынешнюю, с ее чудовищными, не поддающимися описанию последствиями. С моей стороны это было ультимативно. Г. П. от этой главы отказался. Но мне достаточно неприятно и то, что сказано в появившихся главах: призыв к мировой гегемонии Англии. Помимо того, что он совершенно нереален («Таймс» уже пишет о «Big Two», отмечая, что Англия не имеет мощи С. Штатов и мощи России, впрочем, теперь пониженной), помимо этого, я говорил и писал Федотову, что не вижу оснований, почему к гегемонии Англии должен призывать русский журнал, когда к этому не призывают даже английские издания. Он ответил, что от этой своей мысли отказаться не может. С его стороны это было ультиматумом. Лишиться столь талантливого сотрудника мы не хотим и не можем — сошлись на том, что редакция сделает оговорку.

Алданов — Керенскому, 27 марта 1946 г.

О том, как журналу освещать тему опасности новой войны.

Надо давать информацию и избегать другого. Можно и должно будет сказать, кто до этого довел, но радоваться, если на Петербург будут падать атомные бомбы, я, во всяком случае, не могу.

Алданов — А. С. Альперину, 23 мая 1948 г.

В этом письме с пометой «конфиденциально» Алданов сообщает о том, что в Нью-Йорке возникла мысль о создании комитета (или союза) борьбы за народную свободу. Инициатива принадлежала Б. И. Николаевскому. На первое заседание были приглашены, среди других, Керенский, Зензинов, Абрамович, Тимашев, Чернов, сам Алданов и шесть или семь «новых» эмигрантов, в том числе Кравченко.

Новые эмигранты на меня (и не на одного меня) произвели в политическом отношении впечатление совершенного примитива. В общем, это был приготовительный класс. Карпович, Абрамович, Тимашев, Керенский, Николаевский разъясняли им азбучные истины демократии, а они понимали туго. Один из них прямо сказал, что в освобожденной России никакого места эсэрам и эсдекам как «младшим братьям большевиков» не будет и быть не должно. Абрамович язвительно спросил его, предполагает ли он в освобожденной России посадить его, Абрамовича, в концентрационный лагерь — и прямого ответа не получил. Другие новые эмигранты так далеко не шли и соглашались не сажать Абрамовича в концентрационный лагерь, но в общем впечатление у меня осталось от их суждений в значительной степени комическое. Добавлю, что как люди они, напротив, в большинстве производят благоприятное впечатление. Николаевский надеется, что они здесь многому научатся и многое пересмотрят. Но пока это так.

Дело, однако, не в этом. Действительно, с Божьей помощью научатся и перейдут из приготовительного класса в старшие. Я вполне сочувствую общей работе с ди-ни — тем более что подбор был, конечно, случайный и в дальнейшем в работе могли бы принять участие и более образованные в политическом отношении ди-ни. Для меня решающий вопрос в том, будут ли в составе союза привлечены люди, о которых известно, что они в самом деле участвовали во власовском движении или хотя бы сочувствовали ему. Если да, то я ни в каком случае в образующийся (но еще не образованный) союз не войду <...> Важно не только то, что мы хотим делать, но и то, с кем мы готовы это делать.

М. М. Карпович¹ — Алданову, 22 июня 1948 г.

По-видимому, власовское движение было достаточно спорным явлением, и мне надо больше знать и больше о нем думать для того, чтобы прийти к какому-нибудь категорическому заключению.

Вполне возможно, что весь план Власова был построен на предположении, что сначала немцы разобьют Сталина, а потом западные страны разобьют немцев. Оставим моральную сторону в стороне, с точки зрения политической это может показаться расчетом фантастическим. Но ведь на совершенно таком же расчете была построена вся политика Пилсудского в первой мировой войне (он прямо об этом говорил в замечательно интересном докладе, который он читал в Париже в начале 1914 г.), и в его случае «фантастика» себя оправдала — по крайней мере в смысле непосредственных результатов.

¹ Михаил Михайлович Карпович — историк, редактор «Нового журнала».

А. П. Семенцов¹ — Алданову, 27 июня 1948 г.

Вы спрашиваете мое мнение о войне. Конечно, война означала бы для нас медленную гибель. Если предполагать, что все будут рассуждать логически, то войны не должно быть. Демократии должны подвергнуться нападению, чтобы воевать, а Сталин не готов к войне. Но ведь Гитлер не был готов к войне! Однако это не помешало ему напасть. Тоталитарные режимы могут пасть жертвой собственной пропаганды.

¹ Анатолий Петрович Семенцов — химик, профессор, учился с Алдановым в Киевском университете.

Алданов — Маклакову, 7 сентября 1948 г.

В связи со спором о власовцах.

Во имя чего человек принимает несвойственную человеческой природе поразительную позицию? Если во имя свободного человеческого существования — это одно; если во имя гитлеризма — это совершенно другое. Человек, воевавший на стороне Гитлера, мог надеяться только на то, что в России ужасающий строй будет заменен другим, еще более ужасным. Некоторые бывшие друзья гитлеровцев теперь совершенно серьезно утверждают, будто они рассчитывали сначала с помощью Гитлера уничтожить большевизм, а затем освободить Россию от гитлеризма уже каким-то другим, очевидно, им известным способом. Я не сомневаюсь, что у 99 из 100 никакого такого расчета не было и быть не могло. Если же такой расчет был, то он в лучшем случае свидетельствует о бесконечной политической простоте и наивности.

Однако, поскольку дело идет обо мне лично, скажу еще раз, что я в мыслях не имел «травить» или «клеить» бывших друзей гитлеровцев. Я отлично знаю, что как люди они (те, что жили в России) могли бы сослаться на «смягчающие обстоятельства».

Алданов сообщает, что Керенский и Николаевский выступали в поддержку власовцев. По его мнению, если бы шла речь о расклевывавшихся власовцах, тогда были бы для этого основания.

Существует выражение, над которым принято насмехаться: «чистота политических риз». Никогда не видел и не вижу, что в нем смешного. Будущее темно, но пока «чистота политических риз» — это наш единственный морально-политический капитал.

Семенцов — Алданову, 20 февраля 1949 г.

Дорогой Марк Александрович! Против Вашей альтернативы: или война, или вечная власть коммунистов в России — могут быть существенные возражения: 1) Такой альтернативы не существует, так как когда Сталин — или его преемник — будет достаточно силен (или будет думать, что он достаточно силен), он во что бы то ни стало начнет войну, и таким образом война неизбежна и предстоит в момент, наиболее благоприятный для большевиков. Поэтому понятна психология людей, не желающих ждать этого момента. 2) По мнению многих Д.Р. (на этой точке зрения стоит солидаристская печать), войну можно предупредить, свергнув большевиков в России. Это, по их мнению, возможно, если западные демократии немедленно начнут помогать антибольшевикам в Союзе и за границей. Они утверждают, что всемогущество и всеведение МВД являются в значительной степени мифом. Относительно всеведения нельзя с ними не согласиться, так как МВД хватается людей почти без разбора, «пришивая» сплошь да рядом дела совершенно невинным и лояльным людям. С другой стороны, хорошая осведомленность немцев о советских делах позволяет думать, что много настоящих шпионов обманули НКВД.

У меня самого нет определенного мнения по этому вопросу. Я просто не знаю, возможно ли свергнуть коммунистов в СССР без войны <...> Я уже писал Вам в одном из писем о психологии Д.Р., жаждущих войны. Это или «храбрые за чужой счет», или полагающие, что должно быть «хоть гірше, та інше».

Семенцов — Алданову, 24 июня 1950 г.

Сталин уже упустил момент, когда он мог выиграть наверняка. Но, конечно, нельзя переоценивать благоразумие большевиков.

Алданов — Г. Д. Гребенщикову¹, 3 июня 1949 г.

Я ненавижу «практику» большинства революций, но идеям февраля 1917 года или 1789 года сочувствовал всегда и сочувствую.

¹ Георгий Дмитриевич Гребенщиков — писатель-эмигрант, профессор университета штата Флорида.

Алданов — Маклакову, 21 ноября 1949 г.

Обсуждает один из сценариев войны между СССР и США.

Если вся русская нефть будет быстро уничтожена атомными бомбами, то сталинское правительство может пойти на новый Брест: все отдаст, а в Москве свою власть сохранит. В некоторых кругах Вашингтона такое предложение, наверно, могло бы очень понравиться. Коминтерн при слабом советском государстве Америке не страшен, а большевистское правительство в Москве в некоторых отношениях даже удобнее Западу, чем меньшевистское.

А. П. Рогнедов¹ — Алданову, 11 января 1950 г.

Он вернулся во Францию из Испании.

Для меня Франко (как и Корнилов) — временный тормоз, пусть резкий, пусть ненадежный, но все же тормоз, который может удержать машину от скатывания в пропасть до того момента, когда можно будет остановиться и заняться приведением мотора в порядок <...> От всех фашистских режимов (всякая диктатура есть «фашизм», красный, белый, голубой или коричневый — все равно) меня прежде всего отталкивает зажим прессы. Я чувствую себя несчастным в странах, где нет газеты, свободы мнения, так же, как чувствую себя стесненным, когда врач лишает меня права курить. Но что поделаешь, если состояние моего сердца таково, что курить сегодня мне нельзя? Год-два правильного режима, отказ от люкса в еде могут вернуть мне право жить по-прежнему. Надо подтянуться и переждать. Вот и все.

По-моему, положение сейчас таково, что надо выбирать между диктатурой людей, разрушающих собственность и религию, и защищающих их. А еще яснее и циничнее — без религии: тех, кто за сохранение или отмену собственности. Я не собственник, у меня ничего отнять не могут, кроме моей свободы, но на русском примере я убедился в том, что «пролетариат» ее отнимает прочно и навсегда.

¹ Александр Павлович Рогнедов — публицист, исполнительный директор комитета по празднованию 80-летия Бунина.

Алданов — Ю. А. Семенцову¹, 26 января 1950 г.

Как каждый эмигрант, я не раз себя спрашивал, правильно ли поступил, что уехал из России тридцать лет назад. Всегда приходил к выводу, что поступил правильно. Знаю, что так же думает, например, Бунин. Между тем если бы он остался в Москве и «приспособился», то у него, как, скажем, у Алексея Толстого, были бы автомобили, вилла и т. д. (тогда как здесь он еле живет). Тридцать лет тому назад я, как Вы теперь, надеялся, что скоро мы вернемся. Теперь я не вернусь — не доживу, — но Вы, верно, вернетесь.

¹ Юрий Анатольевич Семенцов — сын А. П. Семенцова, историк.

Ю. А. Семенцов — Алданову, 5 февраля 1950 г.

Из лагеря для перемещенных лиц Энгероде.

Начинают снабжать реакционными трафаретами, главный лейтмотив которых — что во всем виновата интеллигенция, которая-де испортила народ и вызвала революцию. В то время, как корни октябрьской революции лежат в татарском иже и в Иване Грозном.

Личностью Маклакова я интересуюсь потому, что в нашей эмиграции почти нет либерально-демократического сектора (того, что называют центром), или, вернее, он не активен. Активен левый сектор, в котором преобладают социалисты. Активны правые, между которыми почти нет консерваторов европейского типа. Чрезвычайно активны солидаристы, которые сами не знают, правые они или левые, и плохи уже тем, что они считают, что только они имеют рецепт на спасение и, значит, подсознательно, а может быть, и сознательно, стремятся к однопартийному режиму. Наконец, Освободительное движение, то есть бывшие власовцы, которые плохи не столько тем, что сотрудничали с немцами (искренне Гитлеру почти никто из них не сочувствовал), сколько тем, что очень многие из них не прочь признать октябрьскую революцию и выбросить лозунг «Назад, к Ленину!», не понимая, что Сталин — логическое продолжение Ленина.

Наш центр (то есть либеральные демократы) не проявляет никакой активности, а в России они, пожалуй, имели бы наибольший успех. Во всяком случае, среди интеллигенции, а, вероятно, при умелой пропаганде и среди всего народа. Так как русский народ хочет только спокойствия, а спокойствие могут дать только умеренные.

Соловейчик — Алданову, 2 апреля 1950 г.

О США.

*Должен сказать, что мне **никогда** не приходилось встречаться с проявлением вражды к русскому **народу**. Наоборот, почти всегда вражда к сталинскому **правительству** сопровождается оговоркой о необходимости проводить различие между правительством и народом.*

Алданов — Маклакову, 9 августа 1950 г.

Отклик на войну в Корее.

*В нефтяных странах никаких «северных корейцев» для успешного похода нет: там поэтому пришлось бы посылать собственные войска, то есть начать мировую войну. В Корее же можно было попробовать: нельзя ли еще продвинуться, не рискуя мировой войной. Из этого **как будто** следует, что они **пока** мировой войны не хотят. Однако это не очень надежное рассуждение.*

Алданов — Маклакову, 23 августа 1951 г.

Я отлично знаю, что если война начнется, то наше положение будет безвыходное и трагическое: мы все-таки должны всей душой желать победы демократиям.

Алданов — Фрумкину, 2 октября 1951 г.

Керенский заявляет, что после падения советской власти демократы осуществят лозунг коммунистов о праве народов на самоопределение вплоть до отделения. Алданов возмущен.

Пять лет тому назад он в частном разговоре одобрял все территориальные достижения Сталина. Таким образом, тогда ему были нужны Константинополь и Кенигсберг, а теперь он дарит желающим Киев, Харьков, Дон — все, что угодно!

Алданов — Фрумкину, 26 октября 1951 г.

*По-моему, обязанность русских политических деятелей была, есть и будет — говорить американским политическим деятелям: «Мы дальше **федерации** не пойдем ни на один шаг; если Вы начнете «самоопределять» земли, входившие в состав империи, то Вы сами положите начало длинному, долголетнему ряду войн за объединение России — войн внутренних, которые могут перейти и в войны общие, гигантские. Вам придется держать огромные армии для того, чтобы защитить ваше собственное создание. Между тем создание федеративной Российской республики обеспечит вечный мир». Этот довод **может** подействовать на американцев. Но если им люди взглядов А. Ф. заранее говорят, что мы **согласны** на расчленение России, то нет сомнения в том, что Россию, в случае победы над ней, под самым демократическим соусом расчленят так, что от нее останется одна **пятая** территории <...> А. Ф. оказал, увы, огромную услугу Сталину, но никак не России. Мне странно (и, боюсь, это может показаться кое-кому и смешным), что я, человек нерусской крови, говорю это против Керенского и Мельгунова. Но я утешаюсь тем, что **точно так же** думают — по крайней мере во Франции — **все** русские либералы и демократы, чисто русские по происхождению, от Маклакова до Вырубова, от Титова до Татарина — **все**.*

Алданов просит своего корреспондента показать это письмо Керенскому, но никому другому не показывать.

Не имею ни малейшей надежды повлиять на него, хотя Плюшкин и говорил, что «против душещепательного слова никто не устоит».

Алданов — Фрумкину, 6 ноября 1951 г.

<...> дело не только в личном подкупе будущих президентов Украины и т. д., а и в тех экономических выгодах, которые Соединенные Штаты Украине и другим отделившимся землям предоставят, начиная с займов, тогда как «Московия» будет нищей и голодной. Когда Англия и Франция отдадут, под давлением Америки, Шотландию и Бретань, А. Ф. будет реабилитирован, но этого никогда не будет <...> Если Соединенные Штаты отделят Украину и Кавказ, то они должны будут отделять все, что можно, — иначе Великороссия все-таки будет сильнее отделившихся земель и будет пытаться их вернуть. Тогда Америке будет необходима именно «Московия» — одна пятая часть российской территории.

Роман Алданова «Бред», писавшийся по горячим следам событий начала 1950-х годов, был опубликован единственный раз в «Новом журнале» в сокращенном виде. В архиве Алданова в Российском фонде культуры хранится полный текст, включающий, в частности, главу, где немецкий военачальник-реваншист рассуждает о том, как покончить с Россией как с великой державой:

«— Все умные и порядочные люди не могут не хотеть расчленения России, хотя пока не говорят. Помилуйте, как же можно допустить, чтобы в центре двух частей света стояло такое колоссальное государство? Это опасность для всего света. Русские эмигранты говорят, что, когда большевики падут, новое русское правительство будет жить в мире со всеми. Мы, однако, не можем положиться на честное слово русских эмигрантов, даже если они не врут. Да и с какой стати Россия должна остаться единой? Демократические принципы повелительно требуют, чтоб были самостоятельны Украина, Грузия, Армения».

В ответ на естественный вопрос собеседника: «И балтийские земли?» — он не колеблется: «Нет, балтийские земли должны отойти к нам...» — и снова возвращается к любимому коньку: «Зачем говорить «расчленение»? Надо говорить «освобождение народов России», и этого повелительно требуют демократические принципы». Снова его собеседник возражает: «Русские, кажется, так не думают». И снова он парирует: «Если б так думали и русские, то их следовало бы повесить. Но кто же с ними будет считаться? Может быть, они хотят, чтоб мы, люди Запада, потеряли несколько миллионов людей, освободили их от большевиков, затем крепко им пожали руку и ушли домой, оставив им империю в двести миллионов жителей? Тогда они просто дураки. Нет, граф, с их разрешения или без их разрешения мы отберем все, что будет только можно. Мы везде произведем плебисциты. У нас даже будет учебное заведение по производству плебисцитов. Все это детали, и говорить об этом преждевременно».

Соловейчик — Алданову, 9 февраля (б/г).

Мне продолжает казаться, что единственно возможная политика для демократий — политика маневрирования с целью оттягивания до последней возможности shooting war. В сущности, это ставка на Случай (смерть Сталина или что-либо в этом роде). Жажда добиться соглашения с Москвой для «действительно международного контроля над производством атомной бомбы» становится одной из основных мотиваций многих политических деятелей. Я очень опасаясь, что Сталин использует эту жажду для получения новых уступок и милостиво согласится на контроль. После этого Соединенные Штаты уничтожат свой запас атомных бомб — то есть уничтожат главное препятствие на пути к войне — и прекратят производство водородной бомбы, а Сталин будет издеваться над дурачками, надеющимися что-то «контролировать» в СССР.*

Маклаков — Алданову, 22 декабря (б/г).

Мой пессимистический взгляд, что все человечество пройдет сквозь полосу коммунизма.

Маклаков — Алданову, 23 ноября (б/г).

Он против борьбы с советской властью.

Одни звери заменят других. Мои мысли всегда идут в русле «оздоровления власти», а не крушения. Этим когда-то объяснялся <...> наш визит к Богомолу.

* Горячая война (англ.).

Алданов — Маклакову, 7 февраля 1952 г.

Обсуждает доклад Маклакова о перспективах Советского Союза.

Согласен я с вами и в том, что война была бы самым худшим и невообразимо страшным «выходом». Относительно выхода революционного я с Вами согласиться не могу при всем своем общем отвращении от революций. Вы говорите, что тогда установится новая диктатура. Может быть. Но она все-таки будет несравненно лучше нынешней прежде всего потому, что она-то к социальной революции во всем мире, к войнам, к корейским штучкам стремиться, наверное, никак не будет. У нее не будет и пятых колонн во всех странах мира. И бороться с ней будет много легче, чем с диктатурой большевистской. Беда, по-моему, в том, что на этот выход (без войны) никакой надежды нет. Не верю я и в эволюцию нынешней власти. Я некоторые надежды возлагаю на борьбу диалогов после смерти Сталина. В том же, что громадное большинство русского населения ненавидит власть, я не сомневаюсь.

Алданов — Маклакову, 21 июня 1952 г.

Влиятельный сенатор Мак-Магон заявил, что

...оба лагеря зашли в тупик и что есть выход: надо создать две комиссии, в Вашингтоне и Москве, состоящие из умных, выдающихся и независимых людей, для обсуждения и разрешения конфликта между этими лагерями. Он слов «трест мозгов» не произнес, но это приблизительно то же самое, что я предлагал и в «Нувель литерэр» (в интервью), и в своей речи на конгрессе «Эвр дю венгьем сиекль». Очень горжусь — и пишу, чтобы похвастаться. Идея носится в воздухе.

В книге диалогов «Ульмская ночь», которую Алданов закончил в сентябре 1952 г., одна из глав посвящена «тресту мозгов» и его роли в предотвращении войны.

Разоблачение Сталина и сталинизма, начавшееся сразу после смерти диктатора весной 1953 г., а затем получившее новое развитие в секретном докладе Хрущева на XX партийном съезде в 1956 г., было воспринято Алдановым и его корреспондентами как событие колоссального значения, но развернутых комментариев к нему в архивных материалах нет. Причину, возможно, объясняет публикуемый ниже фрагмент из письма Е. Д. Кусковой от 11 июля 1953 г.

Алданов — Маклакову, 8 апреля 1953 г.

Читает в «Правде»:

Признания при «чистках» достигались «совершенно недопустимыми методами» (то есть пыткой). Статьи «Правды» — это прямо пощечины Сталину. Что, если в самом деле Маленков и Берия решили отречься от Сталина? Все это немного напоминает Термидор (пока бескровный) <...> Может быть, Маленков и, почти наверное, Берия были тоже до сих пор еще хуже Сталина, и это им не мешает (или, вернее, может не помешать) от него отречься <...> Возможно, что злодей переменял политику — тогда слава Богу: в мире всегда гуляли и теперь гуляют тысячи непокаренных злодеев, как, например, почти все бывшие деятели гестапо — будет одним больше.

Алданов — Маклакову, 9 апреля 1953 г.

По поводу прекращения «дела врачей».

Для того, чтобы удержаться и укрепиться, надо было отречься от Сталина и сталинизма, хоть обманно, хоть на короткое время. А это значит, что между страной и режимом пропасть.

Е. Д. Кускова — Алданову, 11 июля 1953 г.

Совсем захирела культурная жизнь в эмиграции. Ди-ни оказались пустоцветом, а остальные — уж кончают свой путь. Лафа большевикам. Нет у них сильных противников. Погрязают они в мещанстве, и некому их свалить.

Алданов — Кусковой, 20 апреля 1956 г.

Развенчание Сталина, конечно, имеет колоссальное значение. Помимо многочисленных других последствий, оно будет еще иметь то значение, что теперь все Молотовы, Ворошиловы, Кагановичи да и мелкая сошка начнут писать мемуары (конечно, только для потомства): при жизни Сталина и писать, верно, боялись.

В переписке Алданова последних лет его жизни большое место занимают воспоминания о выдающихся современниках. Писатель не только сообщает важные сведения, касающиеся Горького, Тарле, Милюкова, но и дает сжатую оценку их деятельности.

Алданов — Кусковой, 26 ноября 1954 г.

В связи со статьей Кусковой о Горьком в «Новом журнале».

Познакомился я с ним сорок лет тому назад. Вышла в Петербурге моя первая книга «Толстой и Роллан» (забавно, что я напечатал ее на свои деньги, так как боялся искать издателя: откажет — позор!). Литературного мира я тогда почти не знал, хотя жил то в Петербурге, то в Москве. Совершенно для меня неожиданно в «Речи» появилась чрезвычайно лестная статья об этой книге покойного Ю. О. Айхенвальда, с которым я тоже не был знаком. Большую радость он мне тогда доставил — я ему об этом говорил впоследствии в Берлине, когда познакомился. Так вот, Горький прочел эту статью, затем книгу и написал мне лестное письмо, отправил его по адресу типографии «Энергия», которая значилась на обложке. Просил зайти к нему. Разумеется, я зашел, и завязалось знакомство. Но и при всей моей неопытности молодого человека он был мне неприятен (хотя всегда бывал в высшей степени со мной любезен — эта черта благожелательности в нем была). Не нравилась мне его манера разговора, повторение одних и тех же красноречивых слов, беспрестанные цитаты и ссылки, в которых чувствовался самоучка (помню, он слова «Берлин», «Жорес» произносил с ударением на первом слоге и т. п.). Но это были, конечно, не худшие его недостатки. Знаю, что в 1918 году и позднее он делал немало добра людям, которых спас, обращаясь к Ленину, — он его любил, кажется, искренно. Помню, в 1918 году я зашел к нему днем. Он с лукавой улыбкой сказал мне: «Жаль, М. А., что Вы не зашли на полчаса раньше: познакомились бы с Ильичом». Я был изумлен: Горький тогда был в крайне антибольшевистской своей стадии и грошил большевиков в своей тогда еще выходившей газете. Были у него тогда Суханов и, помнится, Базаров, тоже враги большевиков. Так я и пропустил случай вблизи увидеть Ленина.

Алданов — Кусковой, 13 января 1955 г.

По поводу смерти академика Тарле.

А Тарле я тоже знал. Лет двадцать пять тому назад он не побоялся подойти ко мне в зале Национальной библиотеки (в присутствии трехсот человек, среди которых могли быть советские). Наговорил мне комплиментов. Я его спросил: «Как же Вы подходите к «белобандиту»?» Он рассмеялся и ответил: «Я не только Вас не боюсь, но буду с визитом у П. Н. Милюкова». И, кажется, действительно зашел к П. Н-чу.

Алданов — Маклакову, 5 марта 1956 г.

О той части Вашего письма, где Вы возвращаетесь к Милюкову, письменно спорить трудно. Эта часть у Вас была последней, верно, Ваша рука утомилась, и я половины не разобрал. Поговорим в Париже. Мне только кажется, что Вы не совсем правильно поняли мои слова «по воле истории». Я хотел сказать лишь то, что Милюков родился не в то время, когда ему было нужно родиться. Он жил в царствование двух последних императоров, затем в революционное время, затем в эмиграции. Всегда бесполезны вариации на тему поговорки, кажется, существующей у поляков: «Если б у тети были усы, то был бы дядя». Но предположим на минуту, что Павел Николаевич родился бы в девятнадцатом веке в Англии, англичанином. Для Англии он был бы почти идеальным государственным человеком. Оставим в стороне Черчилля — он вне конкурса. Но у какого британского премьера (не исключая и Гладстона) были качества и дарования, превышающие качества и дарования Милюкова (добавлю: или Ваши)? А какого-нибудь Асквита или Идена с ним и сравнивать нельзя. Не говорю уже о невежественном и чуть ли не жуликоватом Ллойд-Джордже. Не может быть сомнения в том, что у Милюкова были тяжкие ошибки: Дарданеллы или столь неожиданная перемена ориента-

ции в 1918 году в Киеве, с визитом к германскому послу. Вы список его ошибок увеличите, и об этом, повторяю, трудно спорить. Если бы Павел Николаевич принял предложения Трепова (или, еще раньше, почти такое же предложение Плеве), то от него все либералы отшатнулись бы и за ним не было бы уж ровно никого. Ведь и Гучков, и Трубецкой отклонили сходное приглашение в правительство, хотя им его делали не Плеве и не Трепов, а Витте. В значительно меньшей степени то же можно отнести и к политике Павла Николаевича в Думах, но все же можно отнести. Кто, собственно, хотел наверху соглашения с либералами? Допустим, Столыпин, хотя и об этом можно сказать многое. Вот ведь и Гучкову оказалось с ним по пути недолго: не выдержал. Однако ведь сам Столыпин чудом продержался у власти несколько лет. Накануне его убийства он уже был, как известно, политическим трупом — и не потому, что с ним не пошли либералы с Миллюковым, а потому, что его ненавидели правые, которым он, после усмирения революционного движения, уже казался ненужным. И пойти на соглашение со Столыпиным, это, как-никак, означало покрыть, хотя бы задним числом, бесчисленные казни. Да тогда и позднее уже никто, собственно, Миллюкова больше сверху не звал и не приглашал — если слишком левыми стали Столыпин или Коковцев. Вы, боюсь, скажете: «Понес общице места левых, не хватает только распутищины!» Не знаю, будет ли это верно. По-моему, левые, меньшевики и эсеры, «виноваты» во всем случившемся в России не меньше, чем октябристы и правые. Но центр, то есть кадеты и энэсы¹, виноваты все же значительно меньше.

6 марта. Не успел вчера кончить письмо.

В последних своих словах я имею в виду кадетов всех оттенков, то есть и Вашего, и миллюковского. Что и говорить, разница между ними есть, Вы обосновали ее в ценнейших книгах — но только в книгах, с тонким подробным анализом разных значительных и незначительных фактов, и можно обсуждать эту разницу — а в письме почти невозможно. В самом основном оба оттенка сходились. И Вы, и Миллюков одинаково не хотели революции, одинаково стояли за эволюцию, за глубокие реформы. И Вы тоже не стали министром Столыпина, хотя при желании могли бы стать. Что же еще? Роль Павла Николаевича в 1917 году? Он, странной волей случая — он, старый радикал, ненавистный всей правой России, — оказался последним защитником монархии: на заседании 1 марта с великим князем его не поддержали Шульгин и Родзянко и еле поддержал Гучков. Что сказали Вы, если б были на том заседании? Я когда-то писал в «Последних новостях» об этом заседании (в день 70-летия Миллюкова). — Керенский на меня тогда сердился и ругал меня: «Нашли чему удивляться! Если бы план Вашего Павла Николаевича был тогда, 1 марта, принят, то великий князь не доехал бы до вокзала. Его разорвали бы на улице» (как Вы помните, Павел Николаевич предлагал Михаилу Александровичу тотчас переехать в Москву, где еще был надежный, не разложившийся гарнизон). Я тогда Керенскому ответил: «Что было бы, если б план Миллюкова был принят, этого мы не можем знать, ни Вы, ни он, ни я. Зато мы знаем, что было после отклонения этого плана» (я не имел в виду сказать: «вследствие отклонения»). Был октябрь. К этому я и теперь ничего добавить не могу. Потом Миллюков ушел. Позднее стал поддерживать Добровольческую армию. По-моему, уж тут (несмотря ни на что) был совершенно прав. Не прав, по-моему, был в том, что стал ее в «Последних новостях» ругать тотчас после ее крушения. Но большого политического значения это уже не имело: она была кончена.

Еще раз скажу: я очень плохо разобрал всю последнюю часть Вашего письма и, быть может, пишу не о том, что Вы сказали. Мне показалось также, что Вы хвалите культурные заслуги Миллюкова несколько в ущерб его политическим делам? Думаю, что если б были только культурные заслуги, то Миллюков в истории места занял бы много меньше. Очень преходяща и слава историков, она скоро становится мертвой, остается чуть ли не одно имя. Пушкин называл карамзинскую историю «бессмертной», но ее теперь и читать нельзя (она у меня есть, я пробовал и не дочитал). А о политических делах говорят и пишут те же историки и через тысячелетия. Будут писать столько же времени и о русском освободительном движении, будут всегда вспоминать и Ваши книги, и Ваши речи.

Простите, что написал столь длинно и несколько сумбурно<...> Еще несколько слов о «по воле истории». Зачем говорить об Англии? Если бы Миллюков жил в начале царствования Александра I или Александра II, его судьба была бы иной. Было бы не два месяца власти (и то не на вершинах власти).

¹ Народные социалисты; Алданов до революции был членом этой партии.

Последнее крупное политическое событие, свидетелем которого довелось стать Алданову, было восстание в октябре 1956 г. в Венгрии, подавленное советскими войсками. Алданов выступил с радиообращением к русскому народу, текст его публикуется ниже. С Е. Д. Кусковой он обменивается письмами, и вывод его «Советский строй трещит <...>, но не смею надеяться, что конец близок».

О венгерском восстании 1956 г.

«Венгерское восстание — дело фашистов и реакционеров?» — пишут в России и на Западе одни коммунистические газеты, «Дело бывших помещиков!» — пишут другие. Не стоит говорить о той морали, согласно которой реакционеров и бывших помещиков можно и необходимо физически истреблять. Но эти утверждения — вдобавок совершенная ложь, хорошо нам известная по делам в самой России, где фашистами немедленно признавались все неугодные сталинцам люди. Разве не объявлялись «гитлеровцами» или «агентами японского империализма» сами создатели большевистской партии Рыков, Зиновьев, Бухарин, Каменев, другие? И так их назвало правительство Сталина — то самое правительство, которое вскоре затем завело с Гитлером «дружбу, скрепленную кровью». Сколько же было в Венгрии бывших помещиков, если для их усмирения пришлось отправить девятнадцать советских дивизий? Венгерские заводы и железные дороги забастовали — неужели на них работали все бывшие помещики? Венгерская армия (как и венгерская интеллигенция) перешла на сторону повстанцев и снабжала их оружием. Между тем даже при всевозможных Ракоши армия неизменно представляет **все** классы населения. Теперь из Венгрии бежали десятки тысяч людей — и оказалось, что они в громадном большинстве люди труда, пролетарии, бедняки-интеллигенты.

Телеграммы из Будапешта, последние телеграммы перед окончательным подавлением восстания, просто нельзя читать без мучительной душевной боли: «Мы боремся, мы еще боремся!..», «Нам приходит конец!..», «Помогите! Умоляем, помогите!..», «Остались часы... Остались минуты!..» — телеграфировали люди, виноватые только в том, что хотели независимости и свободы. Вероятно, они уже догадывались, что им помочь нельзя, понимали, что одного желания, одного сочувствия мало: ведь что если бы возникла мировая война? Тогда погибли бы ведь не десятки тысяч, а десятки миллионов людей, тоже ни в чем не повинных!

Но такие телеграммы действовали на всех. У людей, находившихся в безопасности, комок подступал к горлу и сжимались кулаки. Трудно вам себе представить ту ненависть к советскому правительству, которая теперь широко льется по западному миру. За 37 лет моего пребывания за границей я такого не видел! К несчастью, к великому несчастью, эта ненависть у мало осведомленных масс населения распространяется, по-видимому, на русский **народ!** Мы, эмигранты, в статьях и разговорах отвечаем, что русский народ не виноват, он сам — первая жертва большевистской власти. Мы-то не сомневаемся, что вы в этом деле ни при чем. Чем вы могли бы доказать, что вы не сочувствуете страшным делам, происходящим в Венгрии?

Трудно представить себе, что может твориться в уме и сердце русского солдата или офицера, поневоле участвующего в подавлении венгерского восстания. Он понимает, что если он не будет расстреливать, то расстреляют его самого. И корить его мы поэтому не имеем права — не позволяет совесть: каждый из нас мог бы оказаться в его трагическом положении, и никто не может с уверенностью сказать, как себя в этом положении вел бы. Совершенно верно сказал президент Эйзенхауэр, что он население стран за железным занавесом не призывал и не призывает ни к каким восстаниям. Людям в советской России виднее, что им надо делать. Мы же их призываем подумать — подумать о том, кто виноват в творящихся в мире делах.

В начале Крымской войны в России гастролировала знаменитая французская артистка Рашель — тогда нравы были другие. На прощальном банкете в ее честь русский генерал сказал: «Мы скоро увидимся в Париже и выпьем в вашу честь!» Она ответила: «Генерал, Франция недостаточно богата, чтобы угощать шампанским своих военнопленных!» Это было довольно обычное шутивное бахвальство; вероятно, было выпито немало. Но люди, стоявшие на вершинах власти, тогда бахвальством не занимались. Не строили своей политики и на шантаже, на надежде, что «эти господа струсят», что «они уйдут в кусты», что «демократы все стерпят».

Теперь, когда мировой войны, слава Богу, нет, глава советского правительства грозит Англии и Франции «ракетами более могущественных держав», а глава большевистской партии на банкете осыпает бранью иностранные государства в присутствии их послов!

Мы никакой войны не желаем, считаем ее чистым безумием. Но если она возникнет, кто будет в ней виноват? Нужна ли вам, советские граждане, русские люди, власть над Венгрией? Нужно ли вам порабощение десятка чужих государств? Нужно ли вам, чтобы с ненавистью произносили имя России во всем свободном мире?

Это вопрос риторический. Разумеется, совершенно не нужно. Разумеется, вы этого не хотите. Мы, эмигранты, это и говорим за вас, так как мы можем говорить свободно.

Кускова — Алданову, 14 ноября 1956 г.

Назрел вопрос о полной изоляции России. А теперь зреет другой: о том, как выгнать их из ОНУ. Просто выгнать, как людей, полностью игнорирующих главные принципы международных учреждений. Со всем этим нельзя не согласиться: люди, полностью прогнившие.*

Что за люди правят Россией? Они вовсе не глупы. Правда, подлы. Но ведь подлые люди тоже нуждаются в правильном поведении. А их поведение сейчас — гибельно для них самих. Откуда же этот азарт? До сих пор история им ворожила. После Венгрии ворожить откажется, это не подлежит сомнению. Но они все же хотят куда-то лезть и, кажется, ползут.

Алданов — Кусковой, 19 декабря 1956 г.

Советский строй трещит, я с этим совершенно согласен, но не смею надеяться, что конец близок. Они выходили и из гораздо более трудных положений, и все тридцать семь лет им дьявольски везло.

*Подготовка текстов, примечания
и публикация А. ЧЕРНЫШЕВА*

* ООН (франц.).

В. ШЕРДАКОВ

По законам нравственности

Общество основывается на началах нравственных: на мясе, на экономической идее, на претворении камней в хлебы — ничего не основывается, и деятель надувает пока одних дураков.

Ф. М. Достоевский

О социальном реформаторстве

В наше время проекты социальных реформ обосновываются теоретическими выкладками и практическими расчетами, выдаются за единственно правильные и подтвержденные историческим опытом. Если эти проекты не ограничиваются узкими, конкретными целями, но имеют в виду ширококомасштабные преобразования различных сфер жизни общества, то под них подводится общая концептуальная база. Основными компонентами концепций наших нынешних реформаторов являются, по всей видимости: возвращение (вступление) на столбовую дорожку «мировой цивилизации», «рыночная демократия», «утверждение прав человека»...

Историческое прошлое убеждает, однако, в том, что революции и крупные реформы чаще всего приводили не к тем результатам, которые были обещаны и ожидалось. Жизнь не подчиняется научным проектам. Вычислить будущее практически никому не удавалось: ход истории и большой, и малой страны складывается из действия множества факторов, столкновения человеческих волей, случайностей. Перестроить жизнь «по науке» представляется делом невозможным, слишком значительна сила иррационального фактора, который часто именуют «промыслом». При этом, заметим, мы отвлекаемся здесь от вопроса: желательно ли вообще устройство жизни на научных, рациональных началах? Бисмарк, которому, как мало кому в XX веке, удалось сделать (для Германии), постоянно говорил о том, что истории бессмысленно навязывать свою волю, можно лишь помогать ходу событий в том направлении, в каком они движутся, способствовать осуществлению того, что уже требует воплощения.

Сказанное не означает того, что следует отказаться от желаемых целей и идеалов вообще. Люди могут если не определять, то воздействовать на то, как сложится будущее. Следует отказаться, однако, от замыслов и намерений посредством реформ переделать общество по избранному образцу.

В этой связи напрашивается вывод о теоретической и практической несостоятельности главной концептуальной идеи о «мировой цивилизации», сообразно которой нужно переустраивать Россию. Под «мировой цивилизацией» подразумевается западная, современная европейско-американская цивилизация. Этот тип общества, истоки которого находятся в новоевропейской культуре, не может быть единственным образцом для всего мира и нашей страны ни в экономическом, ни в политическом, ни в духовно-нравственном планах. Самые убежденные его пропагандисты находятся не на Западе, а у нас, в Прибалтике, на Украине, в Молдавии, в бывших соц-

странах Восточной Европы. Основы западной цивилизации подверглись серьезнейшей критике со стороны виднейших деятелей русской культуры, начиная с Пушкина, Гоголя, Герцена, Достоевского, Толстого и кончая теми, кто вынужден был эмигрировать из страны после революции. Отечественных мыслителей могут заподозрить в предвзятости. Возьмем в таком случае крупнейших западных мыслителей, скажем, М. Хайдеггера, которого считают наиболее значительным философом XX века, Тейяра де Шардена, А. Швейцера. Все они давали резко отрицательные оценки самой направленности современной европейско-американской цивилизации. Думаю, что нельзя назвать и вообще сколь-нибудь крупного западного мыслителя, который бы считал, что эта цивилизация является столбовой дорогой для всех стран мира. Какие черты благополучных ныне западных стран могут претендовать на место в будущей искомой цивилизации? Ясно, что такая экономика не может существовать во всем мире. Так же ясно, что власть денег — это признают американские политологи — самый страшный враг демократических институтов. О духовном мире среднего европейца, а также американца, очень много верного высказано М. Хайдеггером, еще раньше — нашим соотечественником К. Леонтьевым. Если нынешняя западная цивилизация завоюет с нашей помощью весь мир, то это приведет к духовной энтропии...

Проблему человеческой цивилизации наиболее глубоко, по общему признанию, осмыслил один из самых авторитетных мыслителей XX века, занимавшихся философией истории, английский исследователь А. Тойнби. А он решительно отвергал мысль о существовании единой человеческой цивилизации, якобы найденной Западом. «Западная постхристианская светская цивилизация в лучшем случае представляет собой ненужное повторение дохристианской эллинской цивилизации, а в худшем — печальный уход с пути духовного прогресса»¹. Особого внимания заслуживают исследования Тойнби процессов заимствования чужой цивилизации. Он приходит к выводу о неизбежности сопротивления болезненному процессу внедрения чужой культуры в социальное тело, о неизбежности конечного поражения даже и при замедлении процесса реинтеграции. Замедление обычно не останавливает агонии собственной культуры. Вполне безвредные и благотворные элементы культуры на родной почве могут оказаться опасными и разрушительными в чужом социальном контексте².

Разумеется, Тойнби не выступал против всякого использования достижений другой культуры, европейской науки и техники и т. п., он вел речь о пагубности переделки социального организма по чужому образцу, по «научному плану». Из его рассуждений не вытекает также и вывода о необходимости сохранения самобытной культуры. Как заметил В. Соловьев, охранение самобытности как цель — это вид поклонения своему изображению. Стремиться каждому народу нужно к высшей цели, к общечеловеческой истине. Это стремление должно быть стержневым в любой культуре. Тойнби много раз подчеркивал мысль о том, что как не парадоксально, но важнейший принцип жизни состоит в следующем: чтобы достичь какой-либо определенной цели, следует стремиться не к самой этой цели, а к чему-то более возвышенному, находящемуся за пределами этой цели. Это следовало бы помнить нашим реформаторам, «научно», с экономической и правовой точек зрения подходящих к рассмотрению любой нашей проблемы. По Тойнби, мирские цели лучше всего достигаются религиозным обществом. На Западе же наблюдается регресс относительно высших религий. Новый Свет не создал ни одной высшей религии. А истинный земной прогресс, по Тойнби, определяется озарением душ светом великих религий.

Эти рассуждения могут показаться слишком оторванными от злободневных вопросов и насущных нужд. Практические же шаги по реформированию экономики в сторону рынка являются более трезвыми, деловыми. Но прагматизм, как правило, терпит крах, поскольку ограничивается близкими и конкретными целями и не понимает, что на чем держится. Ближайшее свидетельство: я не думаю, что, когда вручали каждому ваучер и обещали за него не менее, чем две легковые машины, реформаторы шли на сознательный обман. Но приватизировали большую часть промышленности: небольшой процент населения стал владеть тем, что считалось общенародной собственностью, остальные не получили ничего, и, главное, ничего не завертелось по западному образцу. Реформаторы, как водится, рекомендуют подождать светлого будущего или же сваливают вину на не зависящие от них обстоятельства.

Об аграрных преобразованиях

Сколь-либо определенной программы реформирования сельского хозяйства властью не выработано, хотя этот вопрос является наиважнейшим для любой стра-

¹ А. Дж. Тойнби. Постигание истории. М., 1991, с. 527.

² Там же, с. 581.

ны, даже наиболее промышленно развитой. Позволю себе вновь привести слова Ф. М. Достоевского: «Весь порядок в каждой стране — политический, гражданский, всякий — всегда связан с почвой и с характером землевладения в стране. В каком характере сложилось землевладение, в таком характере сложилось и все остальное»³.

Практические шаги и высказывания отдельных руководителей позволяют думать, что основными ориентирами их политики в отношении села являются: роспуск колхозов и совхозов как хозяйств нерентабельных или малоэффективных, передача земли в частную собственность, формирование фермерских хозяйств по западному образцу. Осенью 1993 года в Нижегородской области был проведен первый аукцион по проекту, составленному с участием бывших наших, а ныне американских граждан. Каждому работнику и пенсионеру совхоза «Правдинский» были выданы своего рода ваучеры на земельный и имущественный пай. Старые структуры, связь различных служб распались, появились товарищеские объединения и фермерские хозяйства. Не дожидаясь результатов этого эксперимента, не принимая во внимание пословицу «цыплят по осени считают», премьер-министр и вице-премьер, посетив в июне 1994 года это бывшее коллективное хозяйство, заявили о том, что реорганизовывать по этому образцу нужно сельское хозяйство по всей стране. Осенью выяснилось, что объем произведенной продукции резко снизился, реальных оснований рассчитывать на крутой подъем производства в будущем нет.

Курс на фермерские хозяйства в нынешних условиях несостоятелен по множеству причин. То, что на Западе складывалось исторически, в течение длительного времени, не может быть введено у нас враз административным путем. Колхознику нечего делать с земельным паем, для ведения индивидуального хозяйства нужен целый ряд условий, нужны техника, налаженные службы сбыта и обеспечения, ремонта и транспортировки, ветеринарная помощь, склады для длительного хранения продукции и многое другое. Крестьянину нечего делать со своими паями. Образование новых хозяйств по типу акционерного общества мало что изменяет по существу дела и создает множество новых трудностей.

Одной из главных причин падения сельскохозяйственного производства явилась государственная политика цен. Стремясь приблизить цены на энергоресурсы к мировым, отпуская цены на технику, удобрения и т. д. на усмотрение производителей, предоставляя возможность закупающим и перерабатывающим продукты сельского хозяйства предприятиям диктовать крестьянам свои условия, государство создало ситуацию, в которой стало невыгодным производить продукцию. При отсутствии сколь-либо нормального механизма ценообразования понятие нерентабельности хозяйств теряет свой подлинный смысл. Нужно прибавить также, что при всем этом государство позволяет себе не платить селу за взятую продукцию. В частной практике такое считается уголовным преступлением.

В тех странах, которые берутся нашими реформаторами за образец, государство дотирует сельское хозяйство. Само по себе дотирование сельского хозяйства является, несомненно, одной из аномалий свободного рынка. Цены на продукты питания, являющиеся первым из необходимых условий физического существования людей, должны были бы быть исходной, отправной точкой ценообразования вообще. В наших же, современных, условиях государство является главным виновником бедственного положения сельского хозяйства. «Не мы не любим (употреблено было другое выражение. — В. Ш.), а нам не дают», — целью выразил главную мысль один из рабочих бывшего совхоза «Правдинский».

Образовавшиеся в последние годы фермерские хозяйства находятся в трудном положении, их перспективы во многом неясны и зависят в основном от политики правительства. Заявления о том, что чуть ли не половину товарной продукции дают ныне фермерские хозяйства, грешат недобросовестностью или в лучшем случае некомпетентностью. Резкий спад производства крупных хозяйств, переключение сил крестьян на подворье, большой импорт продуктов питания поясняют, что стоит за этой половиной товарной продукции. К тому же, надо заметить, в условиях, в которых производится ныне торговля, практически невозможно подсчитать объемы товарной продукции, тем более доли индивидуальных и коллективных хозяйств.

К введению частной собственности на землю и превращению ее в товар реформаторов толкает сама логика движения к рыночной экономике. Немаловажное значение имеет и тот фактор, что в руках немногих людей накопились большие деньги, которые в значительной мере переводятся в иностранные банки. Вложение этих средств в земельную собственность — таково желание этой небольшой, но влиятельной части общества. Государственный бюджет может поправить свои дела за счет операций по продаже земли. Обычно фигурирует и такой мотив: став собственником земельного участка, хозяин будет больше заботиться о земле и лучше работать.

Существуют, однако, и соображения, которые мешают правительству перейти к решительным действиям в этом направлении. Вложение денег в земельную собст-

³ Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 30 т. Л., 1981, т. 23, с. 98.

венность не гарантирует того, что владельцы захотят и смогут быстро организовать ведение хозяйства. Сдерживает угроза голода, которая вырисовывается уже и сейчас при не столь решительных преобразованиях. Вопрос о собственности на землю еще более существенен и жизненно важен, чем приватизация промышленности, сферы обслуживания и торговли. Решать его одними указами представляется недостаточным правомочным. Нужна законодательная база. Более того, как никакой другой вопрос, этот требует волеизъявления народа, он должен был бы решаться референдумом после широкого обсуждения. В противном случае неизбежно социальное обострение.

Часто приводят аргументы, смысл которых сводится к тому, что именно из нерешенности земельного вопроса и традиций общинного землепользования вытекали многие беды России и что именно эти традиции сделали возможной коллективизацию, отучили от самостоятельности и ответственности крестьян. Известно, как проходила коллективизация и какое сопротивление она вызвала. Колхозы не имеют ничего общего с общинным землевладением. Индивидуальное крестьянское хозяйство всегда и всюду существовало и до и после отмены крепостного права.

Основная беда заключается в том, что село всегда управлялось бюрократическими, административными способами. Это сохраняется и по сию пору. Беседы с крестьянами Нижегородской и Орловской области, республики Крым, проведенные во время экспедиций Центра гуманитарных исследований при Институте философии РАН, убеждают в том, что большинство работников села против проводимого ныне раздела земли и имущества, что с мнением этих работников не считаются так же, как не считались и раньше. Идеологи реформы ссылаются на то, что существуют непреложные экономические законы и опыт развитых стран. Не надо, мол, изобретать велосипед, искать новый свой путь, не следует руководствоваться мнениями крестьян, которые все хотят получить от государства, не давая ничего взамен. Руководствоваться нужно наукой. Не следует же проводить референдум по вопросу о законе всемирного притяжения! Но есть и другие точки зрения. Нельзя не прислушаться к таким мыслителям, как Л. Н. Толстой, Эмерсон, Карлейль, Лавеле, Спенсер. Карлейль, к примеру: «Земля — общая нам мать; она кормит нас, дает нам приют, радуется и любовно обогревает нас; с минуты рождения и пока мы не успокоимся вечным сном на ее материнской груди, она постоянно своими нежными объятиями лелеет нас. И вот, несмотря на это, люди толкуют об ее продаже, и действительно, в наш продажный век земля представляется на рынок для оценки и для так называемой продажи. Но продажа земли, созданной небесным творцом, является дикой нелепостью. Земля может принадлежать только всемогущему Богу и всем сынам человеческим, работающим на ней, или тем, кто будет на ней работать. Она представляет собственность не одного какого-либо поколения, но всех прошлых, настоящих и будущих поколений, работающих на ней»⁴.

Что можно возразить на это? Но обычно возражают: экономика, мол, диктует свое, не надо путать нравственность и экономику.

Нравственность и экономика

Утверждение, согласно которому экономика, политика, право развиваются по своим законам, а поэтому не следует навязывать им мировоззренческие, идеологические рамки, широко пропагандируется с начала перестройки. Нельзя-де подходить к экономике с нравственными критериями, у нее свой критерий — эффективность. Это утверждение противоречит всей традиции историко-культурной и философской мысли, согласно которой именно нравственное начало является автономным по своей природе, и, более того, требует себе подчинения всех видов деятельности. Утверждение о том, что есть какие-то непреложные экономические законы, которые неподвластны нравственным требованиям, — это выдумка для оправдания существования рабов и господ, богатых и бедных. Появилось новое объяснение в виде науки политической экономики, открывшей законы, по которым выходит, что распределение труда и пользование им зависит от спроса и предложения, от капитала и ренты, заработной платы, ценности, прибыли и т. д. «Вывод из этой науки тот, что если в обществе развилось много разбойников и воров, отнимающих у трудящихся людей произведения их труда, то это происходит не потому, что разбойники и воры дурно поступают, а потому, что таковы неизменные экономические законы... Ученые, умные люди продолжают доказывать, что теперешний порядок вещей таков, каким он и должен быть, и что поэтому можно спокойно жить в этом порядке вещей, не стараясь изменить его»⁵.

Нет экономических законов, которые были бы обязательны для людей и в том случае, когда они противоречат нравственности. Конечно, существующие экономи-

⁴ Цитата приведена Л. Н. Толстым. «Путь жизни». М., 1993, с. 122.

⁵ Там же, с. 128.

ческие системы могут принудить человека пренебречь велениями совести. Но это зависит от того, какая система, какая модель экономики создана. Отсюда следует, что не нужно ни мириться, ни создавать такие системы экономики, которые вынуждали бы человека поступаться велениями нравственности ради прибыли или наживы в любой ее форме. Ссылки на то, что ничего другого, лучшего человечество не придумало и принципиально невозможно ничто другое, голословны и рассчитаны на простаков. В. С. Соловьев писал, что есть только один «самостоятельный и безусловный закон для человека как такового» — нравственный. Никаких самостоятельных экономических законов нет и быть не может, потому что экономическая сфера — это область деятельности существа нравственного, способного подчинять все свои силы и действия мотивам добра. С этих позиций, которые невозможно серьезно оспаривать, Соловьев оценивает и социалистические учения, которые на первый взгляд становятся будто бы на точку зрения нравственного начала, выступая против своекорыстия богатых классов, но, по существу, и они являются лишь «крайним выражением, последним заключением односторонней буржуазной цивилизации»: социализм ставит нравственное совершенство в зависимость от экономического строя и хочет достигнуть нравственного перерождения исключительно путем экономического переворота. Безнравственность состоит в «возведении низшей и служебной области — экономической — на ступень высшей и господствующей»⁶.

Нетрудно предвидеть возникающий в сознании многих людей вопрос: а что может сделать обращение к нравственности? Можно ли условить жулика, насильника, всех, кто живет за чужой счет? Способна ли нравственная проповедь изменить мир? Классическая буржуазная политэкономия и многие социалистические идеологи, революционеры давали на этот вопрос ответ отрицательный. Кажется, что и простой здравый смысл подтверждает такой ответ. Памятна критика Лениным Л. Н. Толстого, считавшего, что спасти этот безумный мир может только духовно-нравственное обновление человека. Эти воззрения великого писателя он именовал «жалкими», «ничтожными», «бессильными» и т. д. Чтобы разобраться в том, кто же смотрел на вещи более трезво, необходимо уяснить, что мы понимаем под нравственностью.

Надо заметить, что марксизм, признавая зависимость духовной жизни людей от экономики, все же считал такое положение не вечным, не обязательным. Человечество должно прорваться в царство свободы и подчинить экономике и все социальные силы высшим целям, которые оно само и определит. Идеологи нынешних реформ уверены, что экономика западного типа является нормальным положением дел, соответствующим природе человека и законам этой сферы деятельности. Подобную точку зрения не защищают даже и в промышленно развитых странах. Ясно, что экономика типа американской или японской, распространившись по миру, приведет очень быстро к истощению земных ресурсов. О необходимости решительных изменений такого типа экономики говорят западные политики, руководствуясь при этом не нравственными мотивами, но чисто деловыми, рациональными соображениями.

В сознание ряда поколений внедрялись извращенные представления о нравственности как начале относительном, условном, как о своде правил поведения людей в обществе, их отношений между собой. Эти нормы и ценности сложились в ходе исторического развития, менялись от века к веку и зависели от практических условий жизни того или иного народа. Ясно, что при таком понимании нравственности человек как мыслящее и свободное существо обязан подвергать веления нравственного чувства анализу и критике. Если на страже нравственных требований стоит общественное мнение, то слепое подчинение им будет конформизмом. Отрицая безусловность морального закона, его абсолютность, его автономность, не видя других оснований его, кроме сложившихся традиций и общественного мнения, мы можем найти для себя причины, по которым следует придерживаться этого закона, но не можем найти таких причин, по которым его надо **читать**, исчезает понятие святости, безусловной ценности. Ницше, предсказавший приход нигилизма в Европу, объяснял это тем, что высшие ценности теряют свое значение. Руководствоваться в таком случае надо практическими соображениями, целесообразностью, а не идеей служения добру ради самого добра. Нормы и ценности должны найти разумное, научное обоснование. Ясно, однако, что рациональное обоснование нравственных норм практической целесообразностью устраняет и заменяет нравственные мотивы, лишаящиеся в таком случае высшей санкции. С утверждением прав человека и верой в безграничные возможности науки и основанной на науке техники начался сдвиг от теоцентризма в сторону антропоцентризма и гуманизма новой европейской культуры. Антропоцентризм в своем последовательном развитии приводит к тому, что человек считает себя вправе жить так, как он полагает нужным, и распоряжаться всем по своему усмотрению. «Человек есть мера всех вещей». Он занимает то место, которое раньше отводилось Богу. Право на «свомерие» и «своеволие», претензия стать «как боги», стремление пересоздавать все вокруг «по образу своему и

⁶ В. С. Соловьев. Соч. в 2-х т., М., 1988, т. 1, с. 412—415.

подобию» и в прошлом вызывали тревогу. В наше же время накопилось слишком много оснований для того, чтобы отказаться от этих губельных для человека и природы умонастроений и действий.

Именно здесь, а не в формах собственности скрываются самые глубокие корни нынешнего неблагоприятного состояния человечества. М. Борн, один из крупнейших физиков XX столетия, в конце жизни пришел к выводу о том, что источник бед западной цивилизации не в ненормальности социально-политической организации общества, не в неумелом использовании достижений научно-технической революции, а в самой направленности развития естественных наук. «Ход развития естественных наук противостоит всей истории и традиции человечества... Нынешние политические и милитаристские ужасы, полный распад этики — всему этому я был свидетелем на протяжении своей жизни. Эти ужасы можно объяснить не как симптом эфемерной социальной слабости, а как необходимое следствие роста науки»⁷.

Принято считать, что научный подход характеризует объективным рассмотрением проблем, что наука сама по себе ценностно нейтральна, а вот ее открытия могут быть использованы на пользу или во вред, могут служить как добру, так и злу. Но такова лишь видимость дела. М. Борн и некоторые другие ученые (в частности, Эйнштейн, Пригожин) поняли это. Характер и направленность познания не являются нейтральными по отношению к добру и злу, они так или иначе нравственно сориентированы, хотя познающие могут и не постигать этой направленности. Так же обстоит дело со всяким мастерством и профессионализмом, столь превозносимыми ныне нашими реформаторами. Мы направленное на добро мастерство, профессионализм, познание уводят человека от выполнения им своего назначения. Да и само назначение ставится под вопрос, а нередко и отрицается вообще: человек — случайное явление, и прожить свою жизнь нужно как можно приятнее, на радость себе.

Есть, однако, серьезные основания считать, что человек отнюдь не случайное явление природы. Он единственная универсальная сила природы, выражение высших потенций и возможностей Вселенной, точка роста всего космического процесса. Рождаясь как существо незаконченное, незавершенное (как свидетельствует антропология, не доношенное по сравнению с другими животными), человеческое дитя обладает и физическими предпосылками для совершенствования, и духовными, творческими способностями, которые ранее не были востребованы в ходе биологической эволюции и истории собственно человеческого рода, а стало быть, и не были выработаны ни биологической, ни социальной эволюцией. Из этого вытекает не право на своеволие, а, напротив, вывод о неслучайности человека в мире. Следует говорить о месте человека в мире и о его назначении, от которых он в отличие от животных может и уклониться, избрав ложные пути. Есть параметры биологического его существования, есть норма его психического бытия и есть норма его существования как нравственной личности, то есть человека в его главном измерении. Иными словами, есть рамки, внутри которых человек остается человеком. Нравственность выступает не как простое ограничение свободы, а как истинная свобода и истинная жизнь, как единственный способ духовного бытия человека. Не случайно из нашей этики и философии выпало понятие истинной жизни, подлинного существования. Всевозможные способы ухода от подлинности, достижение которой требуют полного внутреннего напряжения, роста, выхода за пределы наличного, ведут к духовной смерти или же самоутверждению в злом бытии, если зло имеет все же онтологическую основу.

Нравственность не является средством достижения других более высоких целей, не сводится вообще к обеспечению каких-либо конкретных результатов. Она трансцендентна по своей природе. То же самое можно сказать и о теоретическом познании мира, и о подлинном художественном творчестве, искусстве. В конечном духовный поиск ищет бесконечное. Поэтому истина, добро и красота — различные способы уловления одной и той же сути — сути бытия, смысла жизни и творчества. От этого высшего смысла бытия, от определения своего назначения, от понимания истинного существования и необходимо отправляться, строя свои отношения к миру, к другим людям и к самому себе.

Иначе говоря, нужно составить представление о жизни, какой она должна быть, и исходя из этого определять хозяйственную, политическую и всякую другую деятельность. Обычно же дело происходит прямо противоположным образом: вовлекаясь в водоворот жизненных событий, человек находит свою «нишу» и смысл существования. Экономика, политика, искусство и другие сферы жизнедеятельности определяют жизнь общества и отдельного человека. Нравственность отодвигается на второй план как нечто производное, дополняющее то основное, из чего складывается жизнь общества. Представляется очевидным, что решение проблем обеспечения людей всем необходимым для их благополучного существования, устранения войн, угрозы экологической катастрофы и т. д. лежит в области экономической, политической, правовой сфер деятельности, которую нужно осуществлять

⁷ М. Борн. Моя жизнь и взгляды. М., 1973, с. 45.

на основе науки и новейшей технологии. Упование на нравственность наивно, утопично. Однако при более глубоком рассмотрении характера этих проблем и их причин становится ясно, что решение острейших проблем современности может дать лишь общая духовно-нравственная переориентация. Лев Толстой судил более трезво, чем Ленин и нынешние реформаторы.

Человек и земля

Почти двадцать пять веков назад родились необычайно глубокие строки Софокла:

Страшны и могучи силы природы,
Но нет человека страшней...
Он поднимает плугом
Гею — богов праматерь,
Вечную, неутомимую вечно...
Сверх меры искусен и мудр,
Он равно душою склонен
И к добру, и ко злу по природе своей.
«Антигона».

В самой природной незащищенности человека, в его «биологической недостаточности» скрывалась предпосылка развития его и творческой, и разрушительной мощи. Добившись потрясающих успехов в науке и технике, человек одновременно создал угрозу для всего живущего на Земле. Он стал опасностью для самого себя! Помимо угрозы всеобщей смерти от ядерной или экологической катастрофы, существует реальная возможность индивидуального саморазрушения — физического и духовного. Много способов самоумертвления придумали люди. Корень дела в растущем внутреннем, моральном неблагополучии, которое и получает различные формы внешнего выражения.

Претерпевает изменение и отношение человека к земле. Мы не находим уже оснований чтить Землю как Гею — «богов праматерь». Старое отношение вытесняется новым, сугубо практическим. Как сделать, чтобы земля давала больше и вместе с тем не истощалась бы? — в таких рамках замыкается ныне обсуждение вопроса о земле. Нам уже мало понятно обращение наших предков — «мать сыра земля». Мы видим в нем лишь отзвук былых времен, лишь поэзию. Н. Ф. Федоров писал, что за один только стих из народных причитаний: «Расступись, мать сыра земля» — он отдал бы всю светскую литературу. Но мы не выносим причитаний, перестали их чувствовать. Стихи стихами, но прежде всего — дело, говорит наш век, век науки.

Отношение к земле — для нас проблема прежде всего хозяйственная. В перечне философских и нравственных проблем она не числится. Мы, конечно, готовы признать отвлеченно «родство с природою и миром», способны по временам и остро почувствовать эту близость. Но и это свидетельствует лишь о нашей глубокой оторванности от природы, хотя каким-то полузадавленным, заглушенным инстинктом мы чувствуем целительную силу природы, ищем у нее отдохновения. Скажут: ну не на этом же инстинкте строить наши отношения с природой! Это так, но все же есть повод задать себе вопрос: а не является ли причиной многих зол современной жизни наша оторванность от природы? Стоит задуматься над тем фактом, что многие болезни нынешнего человека — психотропного происхождения, как говорят — «от нервов», иначе — от неправильной психической жизни. Могут заметить: это все философия. Но бывает нужен вырвет и предельно широкий взгляд на вещи, выходящий за рамки неотложных забот и дел. Нужен разговор о решении неотложных задач, но нужно установить, при каких условиях эти задачи возникают.

К практическому подходу вынуждает сама жизнь. Наша страна, обладая громадными возможностями, не может обеспечить себя продуктами питания. Быстрыми темпами тает пашня, эрозия охватывает все больше земель. Стремительный и все убыстряющийся темп разрушения почвы идет в глобальном масштабе. И нет никакого преувеличения в словах, что отношение к земле — это, как и вопрос о войне и мире, ныне определяет, выживет ли человечество физически. «Неутомимая вечно» Гея проявляет признаки смертельной усталости. Очевидно, нужно принимать срочные меры правового, экономического и технологического порядка, чтобы охранить почву от умирания. И все же не является ли законодательство об охране природы и, в частности, почвы борьбой не с причинами, а со следствиями? Когда вступает в противоречие экономический интерес с законодательством, поражение часто терпит закон. Неотвратимость наказания — это лишь мечта законодателей. Действительным разрешением вопроса было бы такое изменение отношений между человеком и природой, при котором посягательство на природу было бы немислимо, природу не надо было бы охранять вообще. Саморегулирующаяся экономи-

ка, которую стараются создать радикал-либеральные наши реформаторы, такого результата не даст. Его может дать только саморегулирующееся общество, контролирующее экономику и политику.

Рациональное хозяйствование, выросшее на почве рыночных отношений, не ориентированное нравственно, может быть высоко эффективным, но оно не может гарантировать заботы о сохранении природы, почвы, более того, оно может вынуждать человека забыть обо всем, чтобы ему только удержаться на плаву сегодня и завтра. Все это уже проверено.

Те страшные жертвы и испытания, которые прошел наш народ, требуют поисков путей к обществу, основывающемуся на иных нравственных и экономических началах. Кто может сказать, что изведаны уже все пути? Изведаны возможности капиталистического хозяйствования. Они оказались гораздо большими, чем это представлялось сто или пятьдесят лет назад. Запад вопреки предсказаниям и ожиданиям в XX веке достиг потрясающих результатов во многих сферах жизни. Обладая значительно лучшей организацией труда и технологией, развитые страны могут скорее нас найти средства, предохраняющие, скажем, землю от эрозии или водоемы от загрязнения. Они опережают нас и в учете «человеческого фактора», ибо понимают всю выгоду такого учета. У них, например, не считается образцом тип руководителя, который строг, требователен, умеет заставить подчиненных работать. У нас прощаются хамство, грубость, матерщина, лишь бы шло дело. Конечно, наиболее эффективен в работе такой руководитель, который умеет дать развернуться инициативе, творчеству, соучастию в общем деле, кто создает хорошее и спокойное настроение. И все же слова К. Маркса о том, что капитализм развивает технику и общественное производство лишь таким путем, что оно подрывает в то же самое время источники всякого богатства, землю и рабочего, остаются в силе, оправдываются.

Деятели Римского клуба определяют западного человека как «человека экономического» и в этом видят причину и источник опасностей, в том числе и глобальных, грозящих всему человечеству. «Человек экономический» теряет духовно-нравственное измерение и с ним саму способность изменять себя и свою деятельность в нужном направлении. Человек остается человеком настолько, насколько он не определяется экономической необходимостью и может сам определить цели и смысл своей деятельности, исходя из высших целей. В той степени, в какой человек не подчинился деформирующей силе рыночной экономики, в такой и остаются надежды на коренное преобразование условий жизни, которые нельзя признать нормальными.

Экономика во многом определяет вкусы и потребности, сам образ жизни людей. Необузданный рост потребностей — явление современное и глубоко порочное. Можно создавать все новые и новые марки аудио- и видеотехники, автомобилей, виды женских украшений и не думать о том, что ежедневно на Земле погибают от голода тысячи детей. Можно отмахнуться от этого факта: это, мол, вещи несвязанные. А что предлагаете — отказаться от благ цивилизации и всем перейти к аскетическому образу жизни? На это можно было бы ответить: нельзя снимать ни с себя, ни со своего общества вины за голод и страдания одновременно с нами живущих людей. Не следует также считать, что постоянно растущие потребности «цивилизованного человека» должны быть удовлетворены. Есть много потребностей, которые удовлетворять не следует. Самообманом нужно считать убеждение, что от тебя ничего не зависит, что все развивается объективно, само собой. К сожалению, общепринятое мнение может так повлиять на человека, что он будет называть белое черным, а черное белым.

«Идиотизм» городской жизни значительно превосходит ныне «идиотизм деревенской жизни», о которой позволил себе высказаться так основоположник теории «научного коммунизма».

Индустриализм, урбанизм, техницизм свели проблему отношения к земле к проблеме рационального землепользования. Однако и эта проблема ни в одной «цивилизованной стране» не решена, нет образца, которому можно было бы следовать.

Рациональное и нравственное

Современный западный рационализм как начало, доминирующее в отношении человека к миру, другим людям и к самому себе, складывался в течение нескольких последних столетий и ныне, по всей видимости, подошел к своей заключительной стадии. Дух рационального хозяйствования и, в частности, землепользования, соответствующий рыночным отношениям, господствует над всеми иными мотивами поведения. Рачительность, расчетливость, разумеется, нужны, но если они ставятся во главу угла, то человек неизбежно многое утрачивает. Духовная связь с природой представляется в этом случае через призму холодного расчета чем-то второстепенным — «лирикой», «романтикой», «сантиментами». В этом свете здравомыслящим и полноценным человеком выглядит Рокфеллер, а не А. Швейцер.

Переживаемый нашей страной этап преобразований часто сравнивают с периодом первоначального накопления капитала. В действительности сходства здесь очень мало как в экономическом, так и в духовном плане. Сравнение это предпринимается главным образом для того, чтобы оправдать ограбление и обнищание основной массы населения и сосредоточение богатств в руках тех, кто сразу стал владельцем созданной многими поколениями индустрии, торговли и т. д. Развернулась небывалая в истории пропаганда наживы, обогащения. В странах Запада в период первоначального накопления официально пропагандировался отнюдь не культ денег, а католическая или протестантская интерпретации евангельского нравственного учения, которое осуждало служение мамоне. Католицизм запрещал ростовщичество; протестантизм, хотя и не осуждал обогащение путем честного труда, предпринимательства, но зато сосредоточивал внимание на том, как используются деньги, куда и на кого они тратятся. Самодовлеющий смысл обретал труд, а не потребление. Аскетическое жизнепонимание в протестантизме выразилось не в меньшей степени, чем в католицизме.

Стремление к материальному обогащению может иметь разную мотивировку, оно производно от желания состояться и, стало быть, зависит от представлений о том, что значит «хорошо жить». С обогащением надежду на счастье человек связывает далеко не всегда, а лишь при известных условиях. Работа исключительно ради денег — отнюдь не гарантия хорошего и даже добросовестного отношения к делу. Этим способом не может быть привита любовь к труду. Работа ради денег — это один из видов неволи, принуждения. Убеждение, будто все достижения Запада достигнуты лишь путем погони за наживой, что людьми двигала лишь одна корысть, характерно как для тех, кто не видит в рыночной экономике ничего хорошего, так и для тех, кто считает этот порядок образцом.

Мотив труда не должен сводиться к одной лишь материальной заинтересованности. Нужно, чтобы человек, выполняя ту или иную работу, чувствовал, что он не только зарабатывает, но и выполняет свое призвание, делает то, что позволяет ему уважать себя, осуществлять себя, быть полезным людям. В недавнем прошлом социологи, опрашивавшие молодых рабочих об их главных требованиях к труду, показывали, что для большинства на первом месте стоял не заработок, а характер труда, заинтересованность в самом деле, возможность творческого отношения к работе. Если говорить точнее, рабочие имели в виду не творческие возможности, заключенные в той или иной профессии, а возможность творческого отношения к любому труду. Самый тяжелый труд может дать нравственное удовлетворение и сознание того, что ты делаешь нужное дело, ты — на месте, и, напротив, самые творческие задачи могут выполняться рутинно, с нежеланием, во тренней тяжести. Творчески можно относиться к любой работе. Но работа только ради оплаты, ради дохода убивает любовь к труду. Источник жизненного удовлетворения переносится тогда на потребление: когда работаю — не живу, живу — когда потребляю.

Потребительская психология, однако, далеко не всегда признак иждивенческих, паразитических настроений. Она рождается как необходимое следствие отношения к труду лишь как к средству заработать деньги. Потребительская психология — это компенсация за труд, не способный давать удовлетворения. Мать, отдающая все силы ребенку, не рассчитывает на компенсацию, она живет. Человек, поглощенный своим делом, в котором находит призвание, не променяет его на другое, если его не вынудят обстоятельства. Нельзя и в политекономии вычислять поведение и работу человека по одному лишь параметру — стремления к выгоде и удобствам жизни. Ошибки многих реформаторов проистекали из убеждения в том, что людьми управляют только корысть и страх, кнут и пряник.

Дух потребительства развился в западных странах на почве индустриального труда, техницизма, урбанизма, отрыва человека от природы. Сельское хозяйство не превратилось в разновидность индустриального производства и в самых развитых странах. Оно имеет дело с живыми объектами, с выращиванием живых организмов, с заботой о хлебе насущном — источнике жизни. Уже давно обратила на себя внимание психологов, социологов, искусствоведов связь технологизма и жестокости. И связь эта немаловажная: возрастает угроза нечувствительности к чужой боли, потери благоговения перед жизнью, если технологическое отношение к неживому объекту распространяется на все.

Наука и основывающаяся на науке техника превратились в самую мощную силу современной действительности, с которой связываются надежды на разрешение всех вопросов человеческого бытия. Опасность, заключенную в таком подходе к жизни, исподволь растущую и созревающую, можно было увидеть уже давно. Вот одна из итоговых мыслей «Ювенильного моря» А. Платонова: «А что, Мавруш, когда... начнут делать из дневного света свое электричество, что, Мавруш, не наступит ли на земле сумрак?.. Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, провода, Мавруш, темные, они же чугунные, Мавруш!»⁸ При определенном развитии техника и наука могут погасить в человеке тот свет, который освещает внутренний его мир и

⁸ А. Платонов. Ювенильное море. «Знамя». 1986, № 7, с. 98.

называется духовной просвещенностью, нравственностью. Платонова никак нельзя обвинить в отрицательном отношении к научно-техническому прогрессу вообще. Его герои (механики, машинисты) любят технику, чувствуют ее, то есть переносят отношение к живому на машины, но не наоборот. Вчерашний крестьянин, органически воспринимавший жизнь окружающей его природы, земли, животных, еще не терял этого отношения и в общении с машиной. Чувство органического родства, близости к природе породилось именно сельскохозяйственным трудом и было глубинным источником духовности. Во многом на этом строилось и чувство Родины. Родина и родная земля — почти синонимы.

Иной горожанин высказывает сомнение: разве крестьяне так чувствуют красоту природы, как мы, разве любят ее? Они и не замечают ничего, поскольку привыкли к этому фону. В подобных рассуждениях слышна боль оторванного от земли человека. Но, конечно, можно и, живя в деревне, оторваться от земли, а живя в городе, сохранять и беречь в себе то отношение к миру, природе, земле, которое было выработано тысячелетиями земледельческого труда. Но такие случаи не выражают общей тенденции, действующей в рамках «цивилизованного мира», они существуют, как говорится, не благодаря, а вопреки.

Л. Н. Толстой замечал, что образованные, интеллигентные люди много рассуждают о смысле жизни, ищут его, но не находят, тогда как крестьяне не рассуждают и не ищут, но ведают, в чем высший смысл жизни.

Человек и земля. Нравственное начало

Отношение к земле — проблема не только экономическая, но прежде всего нравственная. Нравственная сторона дела не сводится к обязанности заботиться о земле, рационально хозяйствовать, не допускать ее истощения и порчи, думать о будущих поколениях. Есть более широкий ракурс этой проблемы, касающийся каждого из нас. В этом ракурсе земля непосредственно связана с жизнью и смертью, отношением к Родине, к «отеческим гробам», «родному пепелищу», с представлениями о месте и назначении человека в мире. Именно нравственная ориентация должна быть исходной точкой, от которой следует отправляться экономической науке и практике.

Отношение к земле — один из коренных вопросов человеческого бытия. Земледелие было одной из основ человеческой цивилизации в широком и положительном смысле этого слова. Становление человека как нравственной личности связано с изменением отношения наших далеких предков к матери-природе: они стали брать то, что природа не давала им в готовом виде. Акт воздействия на нее с целью получить то, что природа не предлагает, явился тем рубежом, который означал выделение человека из животного мира. Библейское повествование о грехопадении первых людей, съевших запретный плод и познавших добро и зло, отразило этот момент социальной практики. Всю дальнейшую историю человечества можно рассматривать под углом зрения развивающегося, меняющегося отношения человека к природе. Человека справедливо называют вольноотпущенником природы. С его появлением творческий процесс, совершаемый природой, продолжается с активным и сознательным участием людей.

«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Таково предопределение миссии человека, данное Господом Богом Адаму, познавшему добро и зло. Первый сын Адама Каин был земледельцем. За убийство своего брата он был «проклят от земли». Каин — скиталец и изгнанник на земле, но Господь положил также: кто убьет Каина, отмстится всемеро. Сын Ламеха Тувалкаин был ковачом всех орудий. За убийство же Ламеха определено было: отмстится в семьдесят раз всемеро... Таковы, по Библии, завязка истории, смысл земледельческого и индустриального труда.

Возделывать землю и ковать орудия — веления Бога. Возделывание земли — это не охранение ее, не благоговение перед нею и всем живым. Сохранение природы в первозданном виде — задача не только неосуществимая, но и неверная по своему смыслу. Н. Ф. Федоров, называвший землю «прахом отцов», правильно, на наш взгляд, говорил о том, что задача заключается в регулировании слепых сил природы, во внесении разумного начала в окружающий мир. Необходимость законов об охране природы возникает тогда, когда воздействие человека на природу носит неразумный характер, когда человек вместо того, чтобы возделывать сад, как хищник, уродует все вокруг и самого себя. Современные попытки предотвратить экологическую катастрофу — это борьба со следствиями, а не с причинами. Коренная причина, как уже говорилось, скрывается в том особом отношении к миру, которое сложилось в новоевропейской культуре и выразилось во всех сторонах общественной и личной жизни — в экономическом рационализме, в науке, в политике и семейно-бытовых взаимоотношениях. Можно признавать природу матерью и проявлять о ней заботу, бороться за охрану природы, заботиться о животных и т. д. Но и к родной матери можно относиться с заботой, вниманием, сознавая свой сыновний долг,

оплачивая его, руководствуясь в таком случае не чувством родства и не нравственными мотивами. Есть различные типы рациональности: рационализм нужен и в хозяйствовании, и в заботе о матери. Но он должен быть нравственно ориентирован, не заменяя и не деформируя нравственное чувство.

Известный писатель Ф. Абрамов рассказывал о своем посещении сельскохозяйственных ферм в США. Он спросил хозяина средней фермы, знает ли тот по именам своих коров, и получил ответ: «Ну, что за глупости, конечно же, не знаю... Коров я знаю только больных, которые заболели и перестали давать мне молоко. Я сразу принимаю меры... И этим отношения человеческие с коровой кончаются». Этот американский чуждый всяким сантиментам, экономный подход к делу Абрамов принять не хотел. Могут сказать: «А лечат ли у нас так хорошо, как там, а кормят ли так? Не важнее ли хороший уход, чем сантименты, названия по именам, почесывания и поглаживания?» Однако не так уж наивен и сентиментален был Абрамов, рационализма в его рассуждениях хватало. Бесхозяйственности, жестокости он повидал немало. Но вот что он писал: «Деревня русская — это ландшафты, наша Родина, мать и прародина всего. Дело в том, что исчезновение связей, утрата связей человека с животным, с землей, с природой, она может обернуться очень серьезными последствиями. И в Америке эти последствия еще не изучены. Они еще не знают, что дадут полная механизация, машинизация. Они могут обернуться очень серьезной стороной для человеческой природы. Потому что земля, животное, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность в человеке. Исчезнут эти отношения хватолю, доброты к животным и к земле — повторяю, неизвестно, чем это кончится. Не отразится ли это вообще на самой природе человеческой и не приведет ли к какому-то очень серьезным непредвиденным изменениям национального характера?»⁹

Вопрос чисто риторический. Изменения идут, самые серьезные, и многое вызывает озабоченность. К тому же, глядя на экономические успехи США, мы не можем, не должны забывать, что у этой страны и России, помимо часто отмечаемых черт сходства, есть много различий. У нас иная история, иные истоки, несравненно более значима для нас деревня в культурно-психологическом плане. Все это играет большую роль в развитии и промышленности, и сельского хозяйства. В экономике переплетаются все особенности национальной культуры. Американский путь развития как альтернатива российскому осмысленся у нас, можно сказать, традиционно. В художественной литературе Америки с ее достижениями и недостатками выступала в основном как символ чужбины, иной судьбы. Италия, Англия, Франция, Германия, Швейцария не были для русских столь далекими, и дело тут не только в географической отдаленности. Тем не менее нет никакого неуважительного отношения к Америке в истории нашей общественно-политической мысли, всегда признавались большие заслуги этой страны, понималось ее большое историческое предназначение. С сочувствием относились к борьбе американского народа за независимость, за демократические основы государственности, даже и участвовали в этой борьбе с оружием в руках. Вместе с тем многое считалось и неприемлемым для нас. Об этом писали и Пушкин, и Есенин. Здесь не проявлялось никакой национальной чванливости, всегда болезненной и, в общем, не свойственной нашей культуре. Преобладающим было другое уmonoстроение: мы признаем достоинство, имеющееся у других стран, признаем их право на свое жизнепонимание и будем учиться хорошему, но и за собой оставляем право следовать по своему пути.

Народ — носитель нравственного начала

Нравственность не привносится в народ наукой или образованной частью общества, знакомой с наукой. Она в известном смысле субстанциальнее науки и образования, коренится глубже, чем логические рассуждения и доводы (то же самое можно сказать и об эстетическом чувстве). Закодированное в нашем нравственном чувстве (основе совести) содержание значительно превосходит уровень понимания, достигнутый наукой. Наука мало что еще может объяснить нам по части поведенческих инстинктов животных, человек же во многом остается и, вероятно, останется тайной. И не только потому, что еще недостаточно изучен, исследован, но и потому, что его внутренний мир бесконечен и открыт в будущее. Возможности рационального познания велики, но не безграничны. Принцип рационализма вообще имеет свои пределы. Тип человека-рационалиста не может быть образцом, рационалист убивает, умерщвляет в себе «живую жизнь». Далеко не во всем люди следуют разумным соображениям. Нельзя на рациональных основах строить отношение к земле, к Родине, к матери, вообще к человеку.

«Одна истина свята на земле: материнство, рождающее жизнь, и труд землепашца, вскармливающий ее. Все остальное — вымыслы дармоедов», — к такому выводу приходят солдаты в повести В. Астафьева «Пастух и пастушка»¹⁰. Много

⁹ Ф. Абрамов. Чем живем, кормимся. Л., 1984, с. 222—223.

¹⁰ В. Астафьев. Где-то гремит война. Рига, 1986, с. 39.

правды в этих словах. Человек, не имеющий ничего святого,— не человек. Он и к матери будет относиться в пределах одного только разума: «Что ж, что мать. Если она того заслуживает, буду уважать. Если же нет, то нет». Стремление освободиться от всяческих табу, от стеснительности и стыдливости, мешающих жить («комплекс»), сорвать покровы с того, что испокон веков считалось запретным (с тайны половой любви), некогда осуждалось с нравственной точки зрения, но ныне образованные, современные люди знают, что все это одни предрассудки: нужно держаться разумной целесообразности, пользы, выгоды. Рыночные отношения простираются далеко за сферы экономики.

Нельзя сказать, что мораль, нравственность определяли жизнь людей, были действительно регуляторами их взаимоотношений. Для регуляции всегда требовались более жесткие способы воздействия — закон, обычай. Но сила нравственного начала в другом. Это главное измерение человека, это его родовое свойство, отличающее от всех животных. Так, между прочим, считал и Дарвин, доказывавший происхождение человека от обезьяны...

Носителем нравственного начала является народ. В России до недавнего прошлого это было крестьянство, составлявшее большинство населения. Сравнимая образованную часть общества с крестьянством, Ф. М. Достоевский отдавал полное предпочтение крестьянам в нравственном отношении. И не потому, что в жизни крестьян меньше пороков, грязи, безобразий, а потому, что народ при всем том не потерял способности различения добра и зла. Он не назовет дурное хорошим. Поэтому задача состоит не в том, чтобы поднять народ до уровня интеллигенции, а напротив, образованному слою общества преклониться перед народной правдой. Этой же точки зрения придерживались и Пушкин, и Гоголь, и Толстой, и Федоров... Их творчество было выражением внутренней культуры народа. Музыка создает народ, мы ее лишь аранжируем,— эти слова справедливы и в отношении всего так называемого профессионального искусства. Так же дело обстоит и с нравственностью.

Деревня, крестьянство — колыбель, основа основ нашей культуры. «Шалунщиками» назвал Достоевский тех журналистов, которые выдвигали задачу после реформы 1861 года «научить народ правам и обязанностям»; Лев Толстой заметил как-то по поводу того, что его называют великим: ничего великого во мне нет, но если что и есть, то это то, что я стараюсь думать и говорить, как простой русский мужик.

Большинство людей, в особенности в политизированном и находящемся в кризисном состоянии обществе, выход видит в приходе к власти разумных политиков, которые будут думать прежде всего об общем благе и проведут нужные преобразования. Такие надежды стары как мир, было время их проверить. Правители, желавшие быть благодетелями для своего народа, конечно, бывали, совершали нередко крутые преобразования, заботились о благосостоянии людей и т. д. Но в этих расчетах на хорошего царя или всенародно избранного президента отсутствует главное — ответ на вопрос: что и как нужно делать правителям и подданным для устроения нормального и справедливого общества? Обычно считают: правители и найдут этот путь, опираясь на мировой опыт и на научные исследования. Реформаторы и революционеры, в свою очередь, уверены в том, что они знают, какие экономические и политические преобразования нужно провести, чтобы достигнуть всеми желаемых результатов.

Исторический опыт показывает, что ошибаются и те, и другие. Сама убежденность в том, что такой-то комплекс мероприятий, реформ нужно осуществить, не выдерживает практической проверки. Дело не в экономических, политических, правовых преобразованиях. Самые, казалось бы, разумные шаги не достигают цели. Причи-на — в оторванности от земли, от народа. Благих намерений недостаточно, отправной точкой должно быть нравственное согласие народа.

Более ста лет назад либеральный профессор А. Д. Градовский упрекал Ф. М. Достоевского по поводу его «Пушкинской речи» в том, что его мощная проповедь личной нравственности не отвечает на главный вопрос об идеалах общественных. По его мнению, общественное совершенствование не может быть достигнуто только через улучшение личных качеств; необходимо совершенствование общественных учреждений, которые и воспитывают в человеке если не христианские, то гражданские доблести. «Здесь, на наш взгляд,— самый главный, вековечный пункт разногласий. Нужны политические, экономические, правовые реформы, только тогда общество изменится к лучшему»,— говорят одни. Величайшие же мыслители с древнейших времен говорили другое: необходимо вначале установить высшие нравственные ориентиры, необходимы духовно-нравственные предпосылки, опираясь на которые можно сдвинуть дело. Достоевский спрашивает: «Откуда же... взятая идеалу гражданского устройства в обществе человеческом? А следите исторически, и тотчас увидите, из чего он берется. Увидите, что он единственно только продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается, и что было так спокон века и пребудет во веки веков. При начале всякого наро-

да, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, **ибо она же и создает а ее**. И как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться... Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что, несомненно, из них только одних и выходят. **Сами же по себе** никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нравственного стремления данной национальности... Когда же утрачивается в национальности потребность общего единичного самосовершенствования **в том духе, который зародил ее**, тогда постепенно исчезают все «гражданские учреждения», ибо нечего больше охранять»¹¹. По Достоевскому, суть дела сводится к следующему: должна быть в народе великая идея (не формулируемая, не сознаваемая, не головная, не научная — идея высшей правды, правильного пути жизни). Только из этой идеи вырастает великое дело, дело, объединяющее людей, — «общее дело». И только в работе по осуществлению этой идеи, в общем деле может развиваться нравственность. Иначе ей, нравственности, не на чем держаться. Иначе только будут благие порывы и благие намерения. Великая же идея не придумывается и не привносится в народ. Народ может носить ее, а может и потерять. Потеряв, превращается в «этнографический материал».

Единственно правильный путь и выход из кризиса лежат, следовательно, не в той или иной концепции политической или экономической реформы, а в следовании в народе заключающемуся чувству правды. На этом пути возможны нравственное согласие и «общее дело». На корысти нормального общества не построишь. Более того, не разрешишь и экономических проблем.

Что же нужно? Не просто учет, а опора на народное нравственно-психологическое начало является главным условием успешных преобразований, необходимость которых сознается большинством. Нравственность не нужно противопоставлять практической деятельности как некое идеальное начало или прекраснотушечные мечтания. Нравственность как раз и требует преобразований и реформ, исходя, однако, не из таких идей, как «рынок», «права человека», но из представлений о должном образе жизни и общественном устройстве. Экономика, право, политические институты выступают здесь не как цель, а как средство обеспечения высших целей. Конечно, объединить все общество при нынешних условиях невозможно. Но согласие в наиболее важном возможно и необходимо. Существует старый христианский принцип: в главном — единство, в неглавном — различие и во всем — любовь.

Генеральный секретарь Международного совета философии и гуманитарных наук при ЮНЕСКО, член Французской академии Жан де Ормессон, обсуждая ход событий в нашей стране в годы перестройки, заметил: «Я считаю, что в настоящее время Советский Союз — это центр мира, где решается судьба человечества... Мы многое сейчас ждем от России. И прежде всего веры... Что мы имеем на Западе? Хлеб, вино, возможность путешествовать, пенсионное обеспечение, деньги... Но мы оскудели, разрушились духовно... Мы как духовная сущность разрушились, ни во что не верим»¹².

Последующий ход событий не оправдал высказанных надежд, и трудно сказать, что ожидает нас в ближайшем будущем. Но есть все основания считать, что народ не примет тех форм жизни, которые ему были навязаны сверху.

Корни кризиса современной «мировой цивилизации» лежат в мировоззренческой сфере; в потере высших ценностей и ориентиров. Более всего человечество нуждается ныне в духовном преображении, в «духовной мутации», как выразился Тойнби. Решение глобальных и острейших проблем (экономических, межнациональных, экологических и т. д.) лежит в области решительной ценностной переориентации, в изменении отношения человека к миру, к земле, к труду. Прагматический подход к насущным заботам, как это обычно и бывает, дает какие-то быстрые улучшения, но в целом оборачивается иллюзией и утопией, а то, что представлялось иллюзией и утопией, — самым практичным и более того единственно возможным способом решения человеческих проблем. Речь идет о спасении, а спасение — категория нравственная. О нем сказано: узок путь, и тесны врата.

¹¹ Ф. М. Достоевский. Соч. в 30 т., Л., 1984, т. 26, с 165—166.

¹² «Литературная газета». 8 ноября 1988 г., с. 14.

Тень забывает свое место

Создатели и поставщики

Это литературе даровано ощущение самодостаточности. Это она не смела пожаловаться на безучастность читателей и режима, который, по собственному разумению, казнил и миновал ее создателей. Они так гордо и именовались — создатели. В отличие от поставщиков чтива. Пускай граница между ними никогда не была на замке.

Сейчас литература и чтиво словно бы поменялись местами. Наступил час чтива. Телевизионный его вариант — «мыльные оперы», криминальные сериалы — пользуется популярностью, какая не снится сегодня литературе. Чтиво, не взыскав душевных затрат, позволяя хоть мысленно, хоть на часок-другой оторваться, забытья, по-своему облегчает человеческое существование. Так что не надо плевать в колодец, и когда в нем необязательно родниковая вода.

Чтиво — упрощенная литература, добывающаяся своего при посредстве крутой интриги, сногшибательных сюжетных сюрпризов, раскрытия ошеломляющих тайн. Если само искусство не брезгливо, если истинная поэзия способна рождаться из сора, несложно представить себе многообразие источников, питающих чтиво. Пользуясь тайм-аутом, взятым настоящей литературой, чтиво старается отвоювать новое пространство. С одинаковой отвагой задирает подолы и срывает одеяла, проникает на засекреченные объекты, в строго охраняемые кабинеты; ему нет преград на суше и на море. Представление о чтиве как своего рода тени литературы от этого не теряет смысла, однако настаивает на уточнении, детализации. Бесплотная, как всякая тень, она лишена того, что составляет суть словесного искусства. Эта тень не отбрасывается литературой, она следует по пятам и, пытаясь притвориться литературой, перехватывает какие-то тенденции, адаптируя их. Не создавая в отличие от литературы собственной художественной реальности, чтиво — хуже ли, лучше — имитирует жизнь, быт и сравнительно легко добивается успеха, нередко принимаемого самими поставщиками, а то и поклонниками за победы.

Это чтиво (я бы назвал его публицистическим) беспардонно вторгается в сферы, где и литературе-то нелегко обрести свое слово. Да, у писателя есть право на собственную версию исторических событий. Но такое право не безгранично. Автор-документалист присягает на верность фактам. Когда перед нами, скажем, историческое повествование, претендующее одновременно на согласие с достоверными архивными материалами и на сенсационные открытия, когда жанр обозначается как «нефантастическая повесть-документ», всплывают вопросы, авторские ответы на которые могут покоробить. Даже делая на многое скидку — на нее намеренно или безотчетно рассчитывает поставщик, привыкнув к читательской благосклонности и менее всего ожидая разговора, скажем, о символе веры, исходных мотивах, особенно неизбежного, когда доходит до истории.

Крах большевистской идеологии, навязанной и читателям, и писателям, — великое благо. Подобно всякому избавлению от лжи, насилия, искусственных канонов. Благо и тогда, когда поиски идеала для многих потеснены поисками хлеба насущного. Зависимость литературы от повседневности настолько велика, что и ее поразила эта сумятица, зачастую лишая критериев и ориентиров. Энергия сопротивления догмам, питавшая неконформистскую литературу, иссякла. Ю. Трифонов сейчас бы, видимо, написал иначе о Желябове, Ю. Давыдов — о Лопатине, Н. Эйдельман — о Лунине, А. Лебедев — о Чадаеве. Но их прежние книги не покрылись патиной. Авторы имели кое-что за душой, позволявшее им вопреки официальным заслонам и запретам прорываться к правде истории.

Нынешний внутренний сумбур на руку поставщикам чтива. Равно как принижено положение литературы, развал издательского дела, тяжкое молчание, а то и кризис, охвативший иных талантливых писателей.

Чтиво избавлено от подобных проблем, поставщики — от внутренних терзаний. Высокая эластичность позволяет им обеспечивать книжный рынок «Золотом партией», «Кейсами президента» и прочим ширпотребом. И все же не до конца снимает сакраментальный вопрос. Особенно когда делается попытка сказать о народных трагедиях.

Разобразившись с «Золотом партии» и «Кейсом президента», И. Бунич, сочиняя «Операцию «Гроза», или Ошибку в третьем знаке», провозглашает: «...Резня, устроенная Сталиным, практически свела самую большую армию в мире к огромному стаду баранов». И чуть ниже: «Огромная армия развернута вдоль границы, как стадо у загородки загона».

Ключевая метафора будет слегка варьироваться, предопределяя движение авторской мысли, и когда оно уподобляется броуновскому. Книга в тысячу с чем-то страниц написана за весну и лето 1993 года. Всего же, по неполным подсчетам, И. Бунич выпустил один за другим семь бестселлеров, не считая еще трех, которые мне не удалось раздобыть. Космическая скорость творческого процесса интригует не меньше, чем тайны истории, походя разгадываемые И. Буничем.

Отстраняясь от подлинных событий, чтиво уподобляет отечественную историю истории какой-нибудь далекой или мифической страны, когда более извинительны выдумки и несообразности. Развесистая клякwa в американских фильмах о Советском Союзе вызывает у нас скорее усмешку, чем негодование. Но И. Бунич балуется с отечественной историей, с недавними событиями, составляющими ее. На одной странице утверждается, будто все поручики, ротмистры и капитаны после революции «были перебиты до единого человека или бежали за границу». А через несколько страниц идут разглагольствования о «недорезанных поручиках». (В действительности в Красную Армию добровольно и по мобилизации вступило свыше 22 тысяч генералов и офицеров.) На странице 182 раскрываются мысли Гейдриха в середине 40-х годов, а на 183-й констатируется его смерть в 1942 году. Автор запросто сообщает, будто Сталин на довоенном параде созерцал самоходки, которые начнут выпускать в 1942 году, что в мирное время военных округ не может быть фронтом. (Однако Дальневосточный фронт образован еще в 1939 году.)

Автор не знает элементарных вещей и не хочет их знать, дабы не мешали собственным построениям в стиле «и так сойдет».

С упорством жюльверновского капитана Гаттераса, стремившегося на север, И. Бунич возвращается к «нашим баранам». Вдруг выясняется, что это миф коммунистических идеологов о советской элите, представители которой, «как и положено рабам, обожали Хозяина, а злой Сталин, охваченный мнительностью и впад в теоретические ошибки, их взял и перерезал, как баранов». И. Буничу доподлинно известно: «С 1930-го по 1941 г. в СССР имели место по меньшей мере три серьезные попытки государственного переворота». Почему не пять или восемь, если автор не в состоянии подтвердить и одну?

Сталину всего лишь недоставало последовательности. Вот и поплатился. «Его безжалостно убили собственные ученики». В другом месте убийцей отца народов назван Берия.

Зато, если верить И. Буничу, Сталин «ловко втянул своего нового друга Гитлера» в мировую войну. Использовал «романтика» и «доверчивого», «простака», «любившего с союзниками прямоту и честность». Слабости и ошибки фюрера должны искупаться его благородной ненавистью к западным демократиям, мировому еврейству. Гитлер в определенном смысле совпадает с автором, по чьей версии именно европейские демократии и США повинны во второй мировой войне. Простая душа Гитлер и перехитривший его Сталин — всего лишь пешки в их ловких руках. Версия эта не отличается оригинальностью. Англия, Франция, США преследовали свои цели и не прочь были воевать чужими руками. Но воевали все-таки и сами, щедро снабжали союзников.

Однако окончательно отказать И. Буничу в оригинальности рука не поднимается. Лично им установлено: «История отношений Гитлера и Сталина — это история трагической любви. Любви. Любви, в которой страшно было признаться, но сильной и чувственной».

Отдающая в голубизну страсть, по акушерским наблюдениям Бунича, «дала общее потомство: красно-коричневых».

«Гроза» переливается едва ли не всеми цветами радуги. Преобладает желтый. Чтиво такого типа, обращаясь к политическим проблемам, предлагает решения на специфическом уровне. И не все сводится к мужеложству. В ход идут архивные и мнимоархивные бумаги. Естественно, без указания источников. Среди таких бумаг — и секретнейшие донесения всевозможных разведок. Некоторые из них даются в переводе, убийственно напоминающем язык и стиль автора, приверженного к штампам, лексике, которую допустимо обозначить любимым оборотом И. Бунича — «по большому счету».

Один из источников его сведений — советская печать предвоенных лет. Источник правомерный. Однако И. Бунич не идет дальше поверхностного комментария. Убийственно красноречиво совпадение приемов вчерашних «правдивост» и сегодняшнего автора.

Надрывное расчетливо-истеричное обличение И. Буничем недавнего прошлого, его уверенность, будто все, жившие тогда, составляли баранье стадо, боюсь, подпитывается комплексом неполноценности. Читиву такого стилистического уровня прежде трудно было пробиться к ротационным машинам; карандаш квалифицированного редактора возводил преграду.

Поражает и авторское безразличие к людям, павшим в боях, расстрелянным в лубянских подвалах. Интерес к ним чисто потребительский — годятся для украшения полотна или нет, пригодны для авторской версии или не слишком. Подробно рассказав о смелой, рискованной деятельности подполковника Новобранца (вопреки уверениям Бунича Новобранец никогда не был членом Военного совета Дальневосточного фронта и не мог им быть по должности, штабным обязанностям, воинскому званию), который самоотверженно пошел против своего начальника — генерала Голикова, возглавлявшего Главное разведуправление, автор «Грозы» не сослался на источники, откуда брал сведения, и умолчал о том, что Новобранца, предупреждавшего Сталина о концентрации гитлеровских войск, вскоре арестовали, бросили в лагерь. Новобранец нарушает буничевскую концепцию о сплошных «баранах» и «рабах», о поголовной продажности советских разведчиков, служивших двум, а то и трем хозяевам.

Все на продажу

Главный принцип этого читива — ошарашить. Ошарашив, отвлечь внимание от сомнительности открытий и примитивности текста. Сталин набивает трубку, курит, снова набивает, разжигает, грызет черенок, сосывает трубку, бросает в пепельницу, опять набивает, исчезает в клубах дыма. Говорит он с сильным грузинским акцентом (транскрипция воспроизводит акцент: «Маладэц Гитлер!»). Берия, разумеется, зловеще поблескивает пенсне. С Черчиллем тоже все ясно — сыплет пепел от сигары, вынимает ее изо рта лишь затем, чтобы отхлебнуть виски с содовой. С англичанами вообще просто. У них у всех, как тонко подмечено И. Буничем, «бульдожь лица». Исключение составляют британские адмиралы — у тех «бульдожь морды». И ничего удивительного: англичанам как нации свойственны «наглость и бесцеремонность».

У Гитлера, природы более сложной, лицо искажается одновременно «от злости, жажды мести и переживаемого триумфа». Он комкает бумагу, рвет галстук, расстегивает ворот рубахи, откидывается в кресле. Но и это не все.

Сталин, подобно Гитлеру, состоял в связи с потусторонними силами. Посвятив нас в тайну многочисленных попыток покушения на вождя и учителя, сообщив о загадочном ночном бое 1939 года на подступах к кунцевской даче, И. Бунич достоверно уведомляет, что в туруханской ссылке туземцы научили Сталина «подключаться к великой энергии Неба». С помощью великой энергии Лучший Друг Туземцев обратал двести миллионов человек.

Очередное подключение имело быть 19 июля 1940 года, когда Иосиф Виссарионович прибыл на «объект 17», где современный антураж (огнетушители, телефоны) дополнялся пузырьками с заветным зельем, а также иконами. Седобородый старик просит Господа благословить Сталина, но отговаривает от намерения овладеть Европой: «С нашей низкой культурой и вековой отсталостью мы не сможем господствовать над миром».

Сталина раздражает политическая ограниченность старика, — так и не поднялся «до высот пролетарского интернационализма».

Источник сих сокровенных сведений — уже умерший полковник, который в бытность сержантом НКВД нес охрану «объекта 17». Там, в «спецтюрьме», содержался важный узник. Имена на выбор: Ленин, Керенский, великий князь Михаил, патриарх Тихон, Троцкий, а может стать, родной отец отца и учителя.

Зачем автору сочинения, претендующего на историзм, пользоваться любой дребеденью? Но, прежде чем ответить, поставлю еще один вопрос: для чего в таком сочинении одну из глав называть «Политическая мастурбация», другую «Стратегическая мастурбация»?

Все, что сегодня в ходу, все, что «носят», подлежит использованию. Надо соответствовать моде и потакать любым вкусам. Прежде всего низкопробным.

Чтиву необязательно разбираться в психологии персонажей. Надо разбираться в читательской психологии. Позволяя себе экскурсы в различные и далеко не обязательные сейчас области, оно приманивает собственным универсализмом, специфическим всеведением.

О любовницах Сталина создана целая, пожалуй, литература. Не беда. Бунич назовет еще одно имя. Передает сплетню о пассии Молотова. Разоблачит Анжелику Барабанову — общую любовницу Ленина и Муссолини.

Читатель должен заглотить наживку. Если же она с гнильцой, тем лучше. Будет покладистее. Главное орудие заманивания и сокрушения — сенсация.

Держинский — вор и взяточник. «Говорили, чуть ли не за 400 тысяч фунтов» переправил кого-то из великих князей за границу. Говорил, между прочим, Ленин,

требовавший расстрела князей. Соглашаться с Лениным? Защищать Дзержинского? Смешно. Да и все равно ничего доказать нельзя. В том-то и сила сенсации.

Квислинг был завербован советской разведкой, и родная сестра Геринга, и еще множество лиц в разных странах. Ежов осуществлял репрессии, дабы затормозить путь к войне. Генерал Власов — «детище Тимошенко и Жукова». Массовая сдача в плен советских бойцов летом 1941 года — стихийное восстание. И такая дребедень целый день...

О бесконечных заговорах против Сталина и Гитлера можно не упоминать. Как и о суицидных наклонностях того и другого.

Сенсация призвана внушить доверие к автору, его идеям. Хотя вообще-то в чтиве идея не обязательна, но, коли автор обрел нечто идее подобное, он должен оглушить читателя. Мир, творимый чтивом, настаивающим на исторических откровениях, открытиях, — мир сенсации.

В литературе своеобразная трактовка пусть и известных событий, знакомых лиц отличается не сенсационностью, а новизной постижения, силой проникновения. О Наполеоне сложены стихи и написана превосходная проза. В том числе и Вальтером Скоттом, создавшим многогранную «Жизнь Наполеона Бонапарта». Но ни государственных интриги, ни военные виктории и провалы, ни любовные похождения, ни обстоятельства смерти не подавались в духе сенсации.

В чтиве же, какое имеется в виду сейчас, необходима суперсенсация. На любовницах вождей в конце концов далеко не уедешь. Потребна такая сенсация, которая одновременно служит и целью автора, и средством превращения довольно бессмысленной мозаики в некое подобие эпохального полотна.

В аннотации к двухтомной книге «Операция «Гроза», или Ошибка в третьем знаке» скромно сказано: «известный публицист Игорь Львович Бунич», им «дается совершенно новая трактовка событий, произошедших с момента заключения альянса Гитлер — Сталин до 22 июля 1941 года».

Не отрицая своей известности и «совершенно новой трактовки», сам Игорь Львович вынужденно признает, что следует в фарватере уже на шумевшего шедевра, называя «замечательную книгу „Ледокол“» и «выдающегося исследователя» Виктора Суворова. В другом месте отмечается «замечательная книга „День М“» того же автора. (Повторение эпитета не должно смущать, «известный публицист» наслышан о богатстве языка, но не злоупотребляет своим знанием.)

Сотрудник ГРУ, профессиональный разведчик, резидент в Женеве В. Суворов (В. Резун) в конце 70-х «выбрал свободу» и осел в Англии. Судя по «Ледоколу», интерес к проблеме пробудился у него еще в советский период жизни, когда он начал исподволь собирать сведения для будущего открытия. Но и ему не дарована пальма первенства. Подсудимые на Нюрнбергском процессе, их адвокаты отстаивали превентивность гитлеровского удара по Советскому Союзу. Международный трибунал отверг эту версию, оправдывающую нацистскую агрессию. Однако в разгромленной Германии кое-кто до сих пор за нее цепляется, выгораживая Гитлера, **вынужденно** напавшего на нашу страну. Это так же неизбежно, как и возвеличение у нас Сталина-полководца, замазывающее правду о войне.

Владеющее немцами чувство вины и раскаяния глушило голоса адвокатов фюрера. У нас же с годами официальные версии амортизировались, их лживость все сильнее била в глаза, и когда В. Суворов произнес новое — по крайней мере для наших читателей — слово, оно срезонировало с неадекватной силой. Лавры «выдающегося исследователя» воодушевили «известного публициста» на его безбрежное сочинение. Когда одна сенсация на двоих, тут не до жиру, только лишь сплетнями и очевидной туфтой не отделаешься. Остается расцвечивать «совершенно новую трактовку», давно утратившую первую свежесть, повторяя при этом излюбленные мотивы советской пропаганды ждановского периода (бесчисленные антисталинские заговоры, разоблаченные на знаменитых процессах) и нацистской (надзвездный романтизм фюрера). Презрение к народу — своему и чужому — свойственно одной пропаганде и другой. И. Бунич, словно ласковое теля, двух маток сосет. В чем не слишком отличается от В. Суворова, тоже озабоченного собственной популярностью и почему-то измеряющего читательскую почту в кубометрах. Будто дрова. «После выхода «Ледокола» в Германии получил три кубометра почты от бывших германских солдат и офицеров».

Вполне естественно. Немецким ветеранам несладко доживать свой век с клеймом захватчиков. Версия В. Суворова — в недавнем прошлом советского офицера! — как-то скрашивала их закатные годы. Они пошли за Гитлером, а тот, дабы не стать жертвой Сталина, двинулся войной на Советский Союз.

После выхода «Ледокола» в России поступило еще больше писем. «Это тысячи свидетельств, и каждое опровергает официальную версию войны». Тоже поддается объяснению. Официальная картина, к тому же бездарно подмалеванная, давно приелась и не отвечала на вопросы, терзавшие годами. Суворов предложил ответы, подкупающие своей простотой. Но не всех, судя даже по горделивому авторскому предисловию. «Были письма ругательные. Их авторам я более всего благодарен. Мне вдруг пришла мысль стать самым главным критиком своих книг». Резидент кокетничает. В «Дне М» он старается сообщить своей версии абсолютность, исклю-

чающую какие-либо иные. Следом за «Днем "М"» поточным методом пекутся новые сочинения, отнюдь не свидетельствующие о склонности автора к самокритике. Ему недостаточно нагнетания событий. Нужна неотразимая их интерпретация. В. Суворов прибегает к апробированному методу советской — и всякой тенденциозной — историографии. А бывает ли она, может ли быть не тенденциозной? Следовательно, надо говорить о степени тенденциозности, допустимости или недопустимости методов трактовки фактов. Даже безусловных. Ведь самый очевидный факт поддается минимум двоякому истолкованию.

Утром 20 августа 1991 года возле метро «Сокол» я наблюдал, как одна колонна бронетехники двигалась от Волоколамского шоссе к центру города, другая — из центра по Ленинградскому шоссе. Напрашивались два противоположных вывода: бронетехника уходит из Москвы, бронетехника стягивается к ее центру.

Еще мимолетное воспоминание — более далекое по времени, но более близкое предмету этих заметок. Летом 1944 года в освобожденной белорусской деревне бабка недоумевала: два года назад по ее сельской улице брел солдатик и на веревке тащил пулемет. После него бесконечной лавиной потянулись немецкие автомашины и танки. Нынешней ночью через деревню — но уже в противоположном направлении — опять двинулся поток танков с крестами, автомашин. А утром — снова наш солдатик с пулеметом на веревочке. И то и другое было одинаково необъяснимо для бабки.

Вопрос не только в числе фактов, а и в их взаимосвязи, в доподлинном знании обстоятельств, подчас не менее противоречивых, чем факты, которых можно подобрать сколько угодно и которые можно выстроить как угодно. Вопрос в жизненной обстановке, упрямо игнорируемой чтивом.

Суворов приводит свидетельство Константина Симонова: летом 1940 года собрали группу литераторов и начали готовить к войне. Сам К. Симонов попал во взвод поэтов. 15 июня 1941 года всем присвоили воинские звания. Симонову — интенданта 2 ранга, что соответствовало подполковнику.

Звание, полученное Симоновым — «любимцем Сталина, Хрущева и Брежнева» — по высшей проницательности В. Суворова, должно было ввести в заблуждение вражескую разведку, она решила бы, что поэты переквалифицировались в «специалистов по снабжению сапогами и шинелями» и не догадались бы о подготовке к войне.

Едиственный разведчик, введенный в заблуждение, — сам В. Суворов, перепутавший все, что можно перепутать. Тем более что из подготовки к войне секрета не делали. Летом 1940 года писателей собрали на обычные лагерные сборы. Как периодически собирали врачей, инженеров, учителей, числившихся командирами запаса. Продолжались такие сборы сравнительно недолго. Литераторы, находившиеся в запасе, имея соответствующую военно-учетную специальность (ВУС), шли как поллитсостав и носили звания политруков, комиссаров. Но только состоявшие в ВКП(б). Беспартийным полагались интендантские чины. После вступления в партию их автоматически аттестовали в политруков и комиссаров.

«После упреждающего удара Гитлера необходимость маскарада отпала и всем писателям интендантские ранги поменяли на стандартные армейские», — замечает В. Суворов, следуя заветам наставников из спецвуза ГРУ, где учили обращать внимание на мелкие подробности.

Учили неважно. Никакого маскарада не было. Когда все разьедающий советский бюрократизм выдают за изощренную хитрость, во всем усматривают потайной смысл, то таким способом тоже идеализируют систему.

Кутерьма со званиями длилась до 1942—1943 годов, когда наконец были установлены единые звания. Политруки сподобились стать капитанами, батальонные комиссары — майорами и т. д.

Война понуждала Сталина изворачиваться, поступаться какими-то принципами и догмами, суетливо менять вехи. Только не изменяла природу сталинизма, напротив, должна была его упрочить.

В. Суворов полагает: если спланировано, так тому и быть. Но часто бывало совсем по-другому. Прав был и товарищ Сталин, напоминавший: «Реальность наших планов — это мы с вами». Реальность пятилеток такова, что ни один пятилетний план не был выполнен.

Это касается и планов приготовления к войне, когда правая рука делала одно, левая — другое, а сверхсекретность уживалась с громогласным бахвальством. Надо хотя бы видеть не одни лишь решения, распоряжения, но и их последствия. Бредовые постановления, драконовские меры усиливали смятение на производстве, в армии, в народной жизни. В умах замороченных людей, которым сперва внушали, что Гитлер — злодей, потом — что миротворец и что борьба с нацистской идеологией неуместна.

Из сборника «Начальный период войны», вышедшего под редакцией начальника Академии Генштаба генерала армии С. П. Иванова, автор «Ледокола» выхватывает слова: «Немецко-фашистскому командованию буквально в последние две недели удалось упредить наши войска». Но речь идет не об упреждающем ударе (слово «удар» просто-напросто отсутствует), а об упреждении «в завершении раз-

вертывания». Оно необходимо в обороне не меньше, чем в наступлении. Однако Суворов опустил конец фразы, из которого ясно, что имеется в виду, и установил точную дату планируемого наступления Красной Армии.

Или такой фокус с датами. В 1939 году, через 19 дней после постановления о призыве номенклатуры в РККА, Красная Армия пошла в наступление против польских дивизий. 17 июня 1941 года политбюро вынесло постановление «Об отборе 3700 коммунистов на политическую работу в РККА». Суворов отсчитывает 19 мистических дней и определяет день запланированного удара по немецким войскам — 6 июля 1941 года.

Сроки наступления осенью 1939 года диктовались не постановлением о номенклатурном призыве, а темпами немецкого продвижения по Польше, уже разделенной между собой Гитлером и Сталиным.

Цена пристрастие В. Суворова к судьбоносным дням, замечу: ровно за 18 дней до войны Г. Маленков, всегда выражавший мнение Сталина, на заседании Главного Военного совета раздраконил директиву о политработе в армии. Она составлена так, «как будто мы завтра будем воевать».

«22 июня все разговоры о неожиданности прекратились...» — уверяет В. Суворов, имея в виду разговоры о неожиданности германского наступления. Бывший резидент забыл о своей бывшей родине. Да с этого дня такие разговоры лишь начались и тянулись годами.

Трогательное упорство, с каким В. Суворов, за ним И. Бунич цепляются за смехотворный аргумент, якобы свидетельствующий о неготовности германской армии к войне против Советского Союза. Некогда этот аргумент использовал начальник ГРУ генерал Ф. Голиков, снабжая Сталина информацией, какую тот хотел иметь.

Вермахт, видите ли, не собираясь воевать против Красной Армии, не позаботился о зимнем обмундировании, о тулупах. Иначе советская разведка прослышала бы о массовом забое баранов и падении цен на баранину.

Принятый в декабре 1940 года план «Барбаросса» исходил из завершения войны до зимы. А как же караульная служба, оккупационная? — вопрошают защитники несчастного вермахта.

Осуществив «Барбаросса», немецкая армия обеспечила бы себя тулупами с советских складов, конфисковала бы у населения.

Если и Бунич, и Суворов так свято верят в неизбежность советского плана агрессии против Германии, им надо было бы утрясти между собой вопрос о сроках. Суворов датирует день «М» 6 июля, Бунич — 10-м. И почему Бунич присваивает плану название «Гроза», а Суворов его утаивает? Разногласия ставят под сомнение ее величество Сенсацию. Одну на двоих.

Наступательная военная доктрина вытекала из большевистской идеологии с такой же непреложностью, с какой аналогичная доктрина вытекала из идеологии нацизма. Нынешние большевики надеются, если подфартит, восстановить «Союз нерушимый республик свободных».

В предвоенные годы у нас сочинялись повести, поэмы, снимались фильмы о молниеносно-сокрушительном наступлении. Но молодые поэты, мечтавшие дойти до Ганга, уже предрекали свою смерть в боях. Молодых, правда, не печатали. Строчка, выхваченная Буничем у одного из них, обреченных: «Пусть от Японии до Англии сияет Родина моя!» — никогда не была популярной комсомольской песней. Не могла ей быть — в стихотворении говорилось о неизбежной скорой гибели. Неужто даже этого не понимает «известный публицист»?

Официальное шапкозакидательство успешно входило в общую систему одурачивания. А тянуть человека вниз, замечено еще Сократом, легче, чем вверх.

Грех шапкозакидательства на совести предвоенной литературы. Однако он не оправдывает сегодняшних поставщиков публицистического чтива; они не желают видеть, что шло от действительных попыток сообщить Красной Армии наступательность, что — от политического блефа. Стремятся, обновив, продолжить былое оболванивание.

Судьба наступательной доктрины не менее противоречива, нежели судьбы многих планов, проектов и теорий межвоенных лет. М. Фрунзе, например, предпочитал «стратегию истощения», выдающийся теоретик А. Свечин — «теорию измора». М. Тухачевский громил «измористов». В начале 30-х годов А. Свечина и его сторонников арестовали, состряпали «Дело военных». Но расправу перенесли на 1937-й. Как и над Тухачевским, постепенно склонявшимся к взглядам Свечина. После прихода Гитлера к власти он настаивал на создании мощной оборонительной системы. Командовавший Киевским военным округом И. Якир закладывал тайные базы оружия и продовольствия в предвидении партизанской войны.

«Пораженчество» — одно из обвинений, предъявленных Тухачевскому, Якиру и другим военачальникам, поставленным к стенке. Уж не это ли имеет в виду И. Бунич, походя говоря о «заговоре Тухачевского» и не сознавая, возможно, что его слова — не просто треп, но и еще одна попытка оправдать кровавую вакханалию внутри страны, во многом предопределившую кровавую вакханалию на фронте?

В обстановке террора, смены лиц и установок, искоренения «вражеских» идей то Свечина, то Тухачевского достигим ли был скрупулезно разработанный и цельный план наступления? Но даже предположив, будто у Красной Армии был план наступления, приуроченного к середине 1941 года, он не мог исключить оборонительного варианта и позиционных форм войны. Это элементарно. И коль боеприпасы складировались под открытым небом, а войска не имели укрытий от артобстрела и бомбежки, то это подтверждает не наступательную боеготовность, а хаос и безответственность командования, сбиваемого с толку взаимоисключающими друг друга приказами, политическим шараханьем. Надо было быть последними болванами, чтобы не воспользоваться такой ситуацией. К великому сожалению, в немецких штабах, как правило, сидели не болваны.

Еще один суворовско-буничевский довод: безобидные гитлеровские войска довольствовались уже имевшимся оружием, а Советский Союз неумоимо изобретал, изготавливал новое. Изготавливал и будет изготавливать. Прежние и наспех выпущенные новые образцы зачастую не отвечали боевым потребностям. В отличие от немецких, апробированных в Испании, Франции, Польше.

В индустриализации нашей страны с самого начала брался курс на «оборонку». На безмерные жертвы народа во имя армии и победы в будущей войне. Сверхмилитаризация пронизывала все сферы жизни. Вечно недоедающим детям со школьной скамьи внушали любовь к стрельбе, то есть к убийству.

Литература за редким исключением романтизировала жертвы, аномалии в экономике и человеческой психологии. Такую вину не стоит преувеличивать, но и списывать не стоит. Воздействие литературы на человека не столь безусловно, как полагалось считать, объяснив ее «частицей общепролетарского дела». В «частицы» скорее годилась публицистика. Особенно выдающая себя за документ или в очередной раз открывающая Америку.

Фантазия в стиле блеф

Сегодня литература все дальше уходит от навязанной ей грубо пропагандистской роли. Зато читво с готовностью подхватывает вакантное амплуа. В духе довоенной советской публицистики, упрямо доказывая могущество Красной Армии, авторы «Ледокола» и «Грозы», несмотря на оговорки и гневные возгласы, выгораживают преступную политику, где демагогия преобладала над здравым смыслом, жизненными потребностями страны и людей. В Суворов, взяв громкий псевдоним, наладив поточное производство бестселлеров, не разъясняет своему последователю, что Ленин не мог находиться у истоков операции «Гроза», становящейся, таким образом, ровесницей нэпа, что дезинформация противника не должна вести к деморализации собственных войск, как произошло в июне сорок первого. (Это само по себе преступление, оставшееся безнаказанным, если не считать того, что отыгрались на «стрелочниках».)

Неготовность СССР к войне — не миф, как утверждает «известный публицист», но роковая действительность. А превосходство немецкой армии достигнуто не без советской помощи. Во времена Веймарской республики Гудериан и некоторые его коллеги проходили подготовку на секретных учебных базах в СССР. После пакта Молотов — Риббентроп щедрая подкормка из Советского Союза обеспечивала бурную жизнедеятельность индустрии и армии третьего рейха.

«Выдающийся исследователь» и «известный публицист» приняли позу, сбивающую читателя с толку; коленопреклоненно взирая на Сталина, они позволяют себе дерзить на его счет.

Это тоже отличает их от писателей. Особенно тех, кто, как А. Солженицын, В. Гроссман, В. Дудинцев, А. Рыбаков, изобличает преступления Сталина.

Непривычная поза — восторг сквозь возмущение — призвана убедить в наивысшей объективности.

Купеческий размах, с каким Кремль умасливал Гитлера, снабжая его в канун нападения горючим, продовольствием, стратегическим сырьем, — не жалкая попытка задобрить фюрера, но, кто бы подумал, хитроумно спланированная акция, парализующая железнодорожные узлы в районе Франкфурта.

Где вы, разведчики со своими легендарными подвигами, где «шпионы», вернувшиеся с холода», где рыцарь печального образа Штирлиц? Нам гонят заурядную «дезу», сдобриваемую подобострастием, вошедшим в плоть и кровь бывшего резидента.

«Все просто и гениально!» — восторгается В. Суворов, обнаружив локальный паралич на железной дороге, который должен был помешать германскому командованию перебросить свои войска к нашей границе. Но, увы, не помешал.

Однако и открытое сосредоточение наших частей — тоже торжество высшего разума, принимаемого непосвященными за идиотизм. Они, непосвященные, воображают, будто полки разумнее формировать за Днепром, Волгой, на Урале, а не в приграничных зонах. «Все это кажется сплошным идиотизмом!» Каюсь, кажется.

«Но если вспомнить, что это подготовка к наступлению, — менторски толковывает Суворов, — то те же действия воспринимаются иначе. Все разумно».

Итак, отныне установлено: самое разумное — сосредоточивать и сколачивать части чуть ли не на глазах у вероятного противника, стягивая к самой границе дивизии с солдатами, проходящими курс подготовки одиночного бойца. Недопустимо предполагать в действиях и решениях Сталина идиотизм.

Мудрость, уверяют китайцы, подобно черепаховому супу, не каждому доступна. «Выдающийся исследователь» и «известный публицист» из тех, кому доступна сталинская мудрость. Что должно отличать их от «баранов». Те придерживались другого мнения о предвоенной политике:

Товарищ Ворошилов, война уж на носу,
А конница Буденного пошла на колбасу.

За это расхожее двустышие легко было схлопотать срок. Но «стадо» стояло на своем и по-своему оценивало боевых сподвижников вождя:

Все у нас в большом порядке,
И красиво, как во сне.
Ворошилов на лошадке,
И Буденный на коне.

Готовиться к походу и, едва он начался, поручить все три стратегических направления трем богатырям (к частушечным героям прибавился Тимошенко), подтвердившим свою профнепригодность, значило не иметь представления даже о них. Или о войне. Или то и другое.

Боюсь, авторы «Ледокола» и «Грозы» на свою голову поставили вопрос о «мудрости» и «баранах»...

Избавь Бог от упрощений. От карикатурного болвана либо картинного злодея. Но такое историческое, психологическое явление, как Сталин, не поддается осмыслению на уровне чтива. И не поддежит. Поставщики, чувствующие это, предпочитают нехитрые детективные, любовные и житейски-скандальные сюжеты. Испогать!

Постичь «гениальную посредственность» (одно из относительно удачных, пожалуй, определений Сталина) совсем непросто. Слишком много сделано, продолжает делаться — и апологетами, и недалекими обличителями, — чтобы затруднить понимание личности. Но истолковать ее в духе Суворова — Бунича, когда прилагательное раздувается, а существительное теряется из виду, значит, в новых исторических условиях варьировать давнюю песню, начатую еще в 20-е годы, не оборвавшуюся окончательно со смертью Сталина. С ней начинали жить и сходили в могилу.

История знает примеры массового психоза. Наш уникален: ничтожная личность — и стойкость наваждения. Ничтожность — да не покажется странным — содействовала стойкости. Примитивность способна подкупать. Дающих простые ответы делается настолько близким, что ты уже не хочешь думать о «простоте хуже воровства». Да и зачем? В полуанекдотической формуле «Сталин думает за нас» — одно из объяснений благодарности, испытываемой к Сталину многими его современниками да и людьми последующих поколений, попавших в обстановку непредсказуемости, сумбура, под власть руководителей, не способных внятно обосновать намерения и начинания. Вместе с тем — одно из объяснений успеха коммунистов на декабрьских выборах в Госдуму. И родственному ему успеху публицистического чтива, возвеличивающего посредственность, укоряя, однако, ее за отдельные просчеты.

Коварная игра ведется достаточно ловко. Отмеренная критичность не мешает авторам пользоваться аргументацией Сталина в оправдание-объяснение своих преступлений. В. Суворов убеждает в благоверности для страны и армии Большого террора: «В тридцатых партия процветала: кровопускания шли ей на пользу». «Разгромив командный состав Красной Армии, Сталин дает «второе дыхание» неизвестному, но огромному количеству командиров, осужденных на быструю или медленную смерть». (На самом деле «огромное количество» — менее десяти процентов арестованного перед войной командного состава.) «Постоянная, волна за волной, кровавая чистка военной разведки не ослабила ее мощи. Напротив...»

Неясно только, насколько укрепляют ее перебежчики. Ясно лишь — до такого покамест не договариваются Анпилов с Зюгановым. Покамест.

Неотвратимо всплывают имена неокommунитических лидеров, агитпроповцев. Различие между ними и поставщиками публицистического чтива, такими вроде бы неангажированными сочинителями, свободными художниками, относительно. Пеструю компанию (лидеры, горланы-главари, газетчики определенного сорта, поставщики-публицисты) объединяет неутолимая жажда получать дивиденды — политические и прочие, выдавая ложь за правду, преступления за благодеяния. На-

дежда — чем черт не шутит, — сочтя прошлое всего лишь генеральной репетицией, модернизировать спектакль — «и повторится все, как встарь».

Начав лукаво славословить, поругивая Сталина, поставщики достаточно ловко выбрали момент. Отсутствие новых кумиров по-своему содействовало реставрации старого.

Если Сталин в чем-то и был велик, то в безграничном цинизме, если в чем-то достиг вершин, то в вероломстве, помогавшем иной раз скрывать ограниченность, человеконенавистничество.

И. Бунич, с придыханием говоря о гениальности Сталина, однако, упрекает его в безграмотности; за нее «страна и народ заплатили новую страшную цену» с началом войны. Только ли за нее!..

Энциклопедиста И. Бунича шокирует безграмотность вождя и учителя, слышшего, впрочем, не последним среди энциклопедистов. Он и в истории был докой, и по части языкознания, политэкономии и, конечно же, литературы, искусства. Если словарный запас первого энциклопедиста превышает запас второго, то лишь за счет «мастурбации». Недоучка-семинарист таких вершин не достиг. Зато свои нехитрые мыслишки излагал менее беспомощно и коряво, нежели автор «Грозы».

В наши дни вульгарность, развязность вкупе с цинизмом перестают быть лишь вопросом вкуса или этики. С их помощью норовят втягивать в политическую интригу. Будь то в действительности, или на газетных столбцах, или на страницах публицистического чтива. Это — краска времени, одна из красок. Юристов сын, развязно призывая то к «броску на Юг», то к «плевку на Запад», действует в знакомом духе. И не всегда безуспешно.

Изготовители чтива схватывают какие-то веяния в социальной психологии и куют железо пока горячо. Это тоже сближает их с политиками вполне определенного склада, умеющими играть на маргинальных настроениях. Да и не на одних лишь маргинальных.

Негативный отбор — до конца не оцененное (и не преодоленное) достижение Сталина, едва ли не основное условие его безграничной власти. Он и команду свою комплектовал по принципу максимальной личной заурядности, выбрав ближайшим наперсником деятеля по кличке «Вячек — бараний лоб» или «Вячек — каменная задница». «Великий дипломат» (по Суворову) Молотов возглавлял зрительный зал.

О месте страха, запугивания в политике и идеологии большевика еще предстоит писать и думать. Горький в «Несвоевременных мыслях», в статье, напечатанной между февралем и октябрём 1917 года, провидчески заметил: «Количество людей, обезумевших от страха, будет расти и расти». В 1930 году драматург А. Афиногенов назвал свою пьесу «Страх». Одна из ее реплик: «Мы живем в эпоху великого страха».

Жрецы двуликого Януса

Литература чаще констатировала этот страх верхов перед низами и низов перед верхами, чем исследовала его. Она сама находилась в зоне облучения страхом, сковывающим писателей. И все-таки избавлялась от него, настойчиво смещая границы дозволенного и вступая в сферу запретного.

Преодолевая вечный страх, Сталин вынужден был сохранять какой-то процент специалистов. Иногда их принуждали работать в тюремных шарашках. Иногда нависшая угроза Лубянки ломала человека.

Об этом и запрещенный в брежневские времена роман А. Бека «Новое назначение». Талантливый организатор Онисимов, запуганный Сталиным, подчиняется его воле. Противоречия между исполнительностью и собственными побуждениями специалиста приводят к «сшибке». Так писатель обозначает душевный надлом Онисимова.

Но и надломленные, такие работники старались, лавируя, вести свою линию. Благодаря им развивалась и оборонная промышленность. Несмотря на авантюриственно-наступательную доктрину, военное производство налаживалось подалеже от границы, на Урале, где находились главные гиганты. А если такие заводы строились в западных регионах, на что нападает Суворов, то аналоги и близнецы создавались в восточных, о чем Суворов умалчивает.

В эпоху перестройки роман Бека посмертно увидел свет. Спустя несколько лет после зарубежного издания...

21 декабря 1995 года, в день рождения Сталина, бывший (может быть, и будущий) центральный орган скомандовал: «Пора прекратить споры о Сталине...»

Словно бы в развитие этой команды, Г. Зюганов объявил Сталина фигурой шекспировского масштаба. Следовательно, и художники необходимы соответствующие.

Но с Шекспирами у нас не густо. Остается довольствоваться кистью И. Глазунова да перьями калибра И. Бунича, В. Суворова, А. Проханова. Где он, новый Алексей Толстой, угодливо готовый к обеду спечь еще один «Хлеб»?

Пока хлебулочные изделия такого рода пекут газетчики бессмертной «Правды» и «Советской России», воспрянувшие духом после сталинского юбилея и выборов в Госдуму.

«Культ Сталина создавался не на пустом месте...» Святые слова — на костях и крови. О чем, разумеется, речь не идет. Зато воздается должное способности Сталина «к самостоятельному мышлению» и — подумать только — «самокритике».

Но ежели Сталин допускал самокритичность (в том смысле, что за свои ошибки снимал чужие головы), то критичность, какую позволяют себе Бунич и Суворов, «в масть». Будто предчувствуя такой оборот, они рационально соотнесли плюсы и минусы «гения всех времен и народов». Предвосхитили нынешних авторов «Правды» и «Советской России».

Эта специфическая интуиция имеет мало общего с писательской. Там, где художник видит человеческую драму, землю, разверзшуюся под ногами, поставщик чтива находит повод для убогих баек. Вроде тех, какими «выдающийся исследователь» и «известный публицист» прославляют свои сочинения.

Создатели и поставщики вообще редко совпадают в живневосприятии. Даже когда литература сближается с публицистикой, когда что-то упрощает — невольно или из-за цензурных рогаток. Чем добротнее публицистика, чем глубже пашет («С фронтовым приветом» и «Районные будни» В. Овечкина, лучшие очерки А. Аграновского и Ю. Черниченко), тем властнее ее зависимость от истории, от подспудной логики характеров, тем неразличимее граница между ней и литературой.

Публицистическое чтиво свободно от такой зависимости, с поставщика взятки гладки. Но лишь до определенной черты, когда право на скидку утрачивается даже для него.

Газета «Новое русское слово» напечатала статью о суворовском «Ледоколе» под выразительным названием «Сталинизм в оригинальной упаковке».

Когда новые посредственности, наделенные властью, не вызывают трепета, рождается тоска по «гениальной посредственности», и тут В. Суворов, И. Бунич со своей критической восторженностью (или восторженной критичностью) как нельзя более кстати.

Новая свита играет короля по законам театра абсурда: исполнитель совмещает две роли: прокурора и зайчтника. Спектакль разыгрывается не по системе Станиславского, а по системе Ленина, который учил: последовательной может и должна быть только непоследовательность, диктуемая «соображениями текущего момента».

Мало того что В. Суворов и И. Бунич творят образ выдающегося стратега и политика, они еще творят и миф о предвоенном могуществе наших вооруженных сил. Хотя Советская Армия в отличие от немецкой не имела сколько-нибудь основательного опыта наступательных операций, а горьким опытом, полученным на Карельском перешейке, спесиво пренебрегла. (Как в Грозном пренебрегли опытом уличных боев, накопленным в Великую Отечественную...)

Из-за полной неподготовленности частей и соединений, из-за тактической внезапности, из-за слабости командных кадров и недостатков в техническом оснащении неприятелю, наступая, удавалось побеждать и не всегда имея перевес в численности и технике. Против нас сражалась сильнейшая в Европе армия.

Суворов и Бунич это отрицают. Впрочем, Бунич отрицает и существование лагерей смерти на территории третьего рейха. Не было, надо понимать, Бухенвальда, Заксенхаузена и др. География тоже не относится к сильным сторонам «известного публициста».

Их отрицания стоят ровно столько же, сколько утверждения. Красная Армия была всех сильней, настаивают Суворов и Бунич. Она обладала абсолютными шансами на победу еще в начале войны. Даже несмотря на первые успехи вермахта.

Почему же стряслась величайшая трагедия? Буничу известен точнейший ответ: Красная Армия не сопротивлялась, в ней царил дух стихийного восстания.

Но в таких проблемах у авторов нет морального права на вымысел, безбрежную субъективность. Разумеется, их вина несопоставима с виной тогдашнего командования Красной Армии. Но исток одинаков: желание видеть не то, что есть, а то, что хочется.

Печально известная директива НКО № 3, позволившая В. Суворову рассуждать о наступательном плане для Красной Армии, а И. Буничу слагать легенды об «Операции "Гроза"», действительно имела. На нее ссылались и советские источники. Но директиву — о ней, надо полагать, знали и немцы — приказали осуществить уже после успешного продвижения вермахта. Она приобрела контрнаступательный характер, лишней раз подтверждала туманные представления московских стратегов о войне в целом, о происходившем в ее первые сутки и давала войскам, уже втянутым в тяжкие оборонительные сражения, лишь ночь на подготовку.

Берлин лучше Москвы знал положение в наших соединениях до и после 22 июня, знал: советские штабы не обладают планом, сопоставимым с их «Барбароссой», и не слишком всерьез принимал советскую риторику о «могучем ударе». Отсутствие такого плана подтвердил и Д. А. Волкогонов, имевший доступ к генштабовским архивам.

Берлин знал, что для превращения Красной Армии в наступательную необходимы месяцы, годы. Но не догадывался, что красный генералитет с такой легкостью будет жертвовать миллионами сограждан, а Сталин благословит это жертвоприношение, что советские солдаты способны на высокое самопожертвование, что их отличают величайшая неприхотливость и выносливость...

Собственно «лейтенантская проза», подвергшаяся травле в 50—60-е годы, говорила о солдатской стойкости, об отваге Ваньки-взводного, когда надо биться за «пядь земли», когда, отчаявшись, «батальоны просят огня». «Лейтенанты», извольте видеть, игнорировали стратегические замыслы Ставки, решения генералитета и т. п. Само это «непонимание» людьми, делавшими войну, было достаточно красноречиво. Оно куда ценнее прозрений авторов «Ледокола» и «Грозы», их вздорных домислов и — это особенно мерзко — попыток старую ложку заменить новой.

Вышедшие позже книги — «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Генерал и его армия» Г. Владимова, «Прокляты и убиты» В. Астафьева — отнюдь не свидетельствуют в пользу Ставки и ее представителей на фронтах...

Смутное время — звездный час для читателя. И не только по причинам, упомянутым в начале этих заметок. Сама борьба за читателя — естественная в литературной жизни — приобретает странноватые формы. Одна сторона агрессивно наступает, другая — ретируется. Едва не возобладав на журнальных страницах, постмодернизм повел игру для приобщенных, готовых оценить смещение времен и событий, героев, меняющих роли. Прием для него самоценен и тогда, когда воплощается незначительность содержания. По крайней мере ничего стоящего за последние годы он не создал, не использовал шанс. Зато им воспользовались поставщики.

Постмодернизм чаще всего отражает болезнь в сознании больного, не помышляющего о выздоровлении. Сострадание здесь, пожалуй, уместнее, чем обличение. Особенно когда болезнь настигает молодого одаренного автора, настолько увлеченного игрой, что мысль о ее выгодности поставщикам ему и в голову не приходит. А выгодность такая несомненна. Демонстративный поворот постмодернистов спиной к читателю расширяет нишу для читателя, которое не прочь воспользоваться болезнью времени. Для поставщиков необходимость состязательности с литературой отпала. Отпала и необходимость думать о том, «как слово отзовется», как соотносится с реальными судьбами. С прошлыми и грядущими.

Ленин утверждал, что характер войны не зависит от того, кто ее непосредственно начал. Думаю, зависит. И в немалой степени. Для народа, подвергшегося нападению, для армии, поднявшейся на его защиту. В. Суворов, вынясь перед ветеранами за свою правду-матку, не видел, на что посягает? Как и И. Бунич, он не ограничился намеренным умалением могущества германской армии, стремительной в наступлении, стойкой в обороне. Не догадывался, что таким манером принижает фронтовое прошлое ветеранов? Тех, кто, вопреки бредовым замыслам «полководца всех времен», остановил совершенную военную машину и, заплатив великую цену, повернул вспять. Разбил вдребезги.

Откуда взялись силы? От веры в праведность сопротивления.

Это заблуждение, будто война, даже справедливая, облагораживает нравы. Соучастие в убийстве, особенно длительное, не содействует моральному возрождению и редко когда сулит безоблачное небо мирных лет. Но что-то в душе вернувшегося с войны зависит от чувства, с каким он, покидая дом, уходил на эту войну. Да, хватало дезертиров, а то и перебежчиков. Но преобладало чувство верности Родине, подвергшейся нападению. Это сильно отличает Отечественную войну от войн, затеянных в Афганистане и Чечне. Отличаются и последствия. Уже наступившие (кровавые разборки среди «афганцев») и те, что наступят, когда завершится чеченская бойня. (Чем дольше она длится, тем более зловещим и затяжным будет похмелье, губительным «чеченский синдром».)

Известно: у победы много родни. Фронтовиков-ветеранов Великой Отечественной иные пытаются сделать ее дальними родственниками, лишить — кто-то по умыслу, кто-то по недомыслию — памяти о ней. Отбить генетическую память у новых поколений.

Тень, забывшая свое место, не просто полагается на всеобщую забывчивость, но и стимулирует ее. Читиво вырывается на оперативный простор, тесня литературу, неизбежно навязывая ей свои установки. Ничего хорошего это не сулит. Ни самой литературе, ни тому убывающему меньшинству, которое сохраняет уважительный интерес к ней.



Литературная критика

«Это светлое имя — Пушкин»

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

Потаенная полемика

Не умею обозначить точнее: не просто противоречие, но оксюморон, сочетание несочетаемого. Ведь полемика по определению есть нечто открытое, вызывающее к сочувствию и соучастию публики, к ее поддержке и своего рода голосованию за того из спорщиков, чьи доводы связней, логичней, убедительней, если не являются, то хотя бы выглядят таковыми. Иное поведение полемиста представляется по меньшей мере странным. Впрочем, надобно быть готовым к любого вида странностям, когда речь заходит о Пушкине. Нигде так часто, как в пушкинистике, не пресекается граница меж мыслью и домыслом, меж догадкой и доказательством — «дьявольская разница», говаривал поэт.

Кстати, используя подходящий, на мой взгляд, случай, хочу предложить к употреблению такое понятие, как «презумпция гипотезы». Все просто: если выводимая на читательский суд гипотеза не противоречит ни одному из известных фактов и в последовательном изложении ни одного из них не игнорирует, она имеет право на существование, автор ее вполне может ограничиться повествованием — «бремя доказательств» ложится на того, кто примется за опровержение.

20 марта 1924 года в Венеции Владислав Ходасевич написал стихотворение «Романс»:

В голубом эфира поле
Ходит Веспер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.

Догаресса молодая
На супруга не глядит,
Белой грудью не вздыхая,
Ничего не говорит.

Тяжко долгое молчанье.
Но, осмелясь наконец,
Про высокое преданье
Запевает им певец.

И под Тассову октаву
Старец сызнова живет,
И супругу он по праву
Томно за руку берет.

Но супруга молодая
В море дальнее глядит.
Не ропща и не вздыхая,
Ничего не говорит.

Охлаждаясь поневоле,
Дождь поникнул головой.
Ночь тиха. В небесном поле
Ходит Веспер золотой.

С Лидо теплый ветер дует,
И замолкшему певцу
Повелитель указывает
Возвращаться ко дворцу.

Примечание автора: «Окончание пушкинского наброска. Первые пять стихов написаны Пушкиным в 1822 году».

Осмотрительно строгий пушкинист Ходасевич скептически относился к «дописываниям» Пушкина, вернее — за Пушкина, — незавершенных его вещей. Пять лет спустя на опыт «реконструкции» Модестом Гофманом «недостающих» страниц «Египетских ночей» он откликнется убийственным фельетоном «Сказки Гофмана». Да и прежде попытки такого рода, предпринятые коллегами, мягко говоря, не удостоивались его одобрения. И сам — ни до, ни после — ничего подобного не делал. Вероятно, должно было произойти нечто необычное, резко впечатляющее, чтобы он взялся за пушкинский набросок, «окончил» его — и тут же напечатал стихотворение, причем дважды: в парижской газете Павла Милюкова «Последние новости» и в московском журнале Исаея Лежнева «Россия». И тем самым явно подставился под критику — «блюстителей Пушкина» всегда хватало.

Итак, март двадцать четвертого. Свидетельские показания Нины Берберовой: «Сперва — неделя в Венеции, где Ходасевич захвачен воспоминаниями молодости, ... всем тем, что было здесь тринадцать лет назад (и что отражено в стихах его второго сборника «Счастливый домик»), и ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их... В Венеции Ходасевич был и окрылен, и подавлен: здесь когда-то он был молод и один, мир стоял в своей целостности за ним, еще не страшный...»

(Замечу попутно: ему нет и тридцати восьми, только-только перейден предел пушкинского возраста.)

Впервые за тринадцать лет Ходасевич — в Италии, в Венеции, где в 1911 году скоротечно вспыхнул и погас его «роман» («роман-с») с Женей Муратовой, «царевной» «Счастливого домика» и первой женой его друга Павла Муратова, о чем впоследствии напишет он, невольно выдавая волнение памяти почти демонстративным бесстрашием слов: «Нет ничего прекрасней и привольней, Чем навсегда с возлюбленной расстаться И выйти из вокзала одному...» А теперь с ним рядом — новая возлюбленная, последняя любовь, тонкая, легкая, по-южному яркая, Венеция ей к лицу, и — на пятнадцать лет — и каких лет, целая жизнь! — моложе, и по венецианским каналам, в гондоле — с ней, с «догарессой молодой»... Окрылено — и подавленно. А через несколько дней их двоих в Риме ждет... Муратов, лучшего гида, чем автор «Образов Италии», не пожелать. Да еще Пушкинский год, век с четвертью от рождения поэта отметить готовятся и те, кто уехал, и те, кто остался, — без противостояния отметить, без схватки за «нашего Пушкина», какая разгорится в тридцать седьмом, к столетию со дня убийства поэта. И Ходасевич пока не эмигрант, путь назад окончательно будет отрезан лишь год спустя, пишет стихи, статьи, вот-вот за мемуары засядет, печатается в Москве, в Берлине, в Париже, как никогда, пожалуй, избавлен от житейских тягот и невзгод, не ведая, что эта передышка подходит к концу и что она — последняя перед отчаянием «Европейской ночи»: «Да, меня не пантера прыжками На парижский чердак загнала...»

Примерно таким можно вообразить возникновение «Романса», где, по видимости, нет и следа собственных былых венецианских переживаний, однако непостижимым образом тут же улавливается этот след — читателем, кого те события коснулись, задела. «Бывает у меня П. П. Муратов, милый и весьма интересный человек, — писал Горький к Ходасевичу в августе того же года. — Муратову не нравится «Романс» в «России», а мне нравится. Да и он, в сущности, говорил лишь о том, что «оканчивать» Пушкина — не надо». Частное мнение, не более того. Одному нравится, другому нет. Тем более что Ходасевич свои стихи за пушкинские не выдает. А может быть, «не надо» — именно этот, «венецианский» набросок?..

Никаких заслуживающих внимания публики споров публикация «Романса» как будто не вызвала. Если не считать курьеза: «открытое письмо» к Ходасевичу напечатал Куприн — горячо и гневно заступился он за Пушкина, который-де нипочем не позволил бы себе ни подобного «косноязычия», ни «канцелярищины» вроде «указует», и вообще «Пушкин ведь наше яркое солнце», без пятнышка. Нотации читаются «по праву старшего», подкрепленному мемуарным экскурсом в собственное отрочество, когда пятнадцатилетний кадет Куприн бывал в доме родителей Ходасе-

вича, дружил с его старшим братом Михаилом, ловя на себе восхищенные взоры одиннадцатилетнего «штатского» Влади.

На критику отвечать не принято, но на «письмо» как не ответить! И Ходасевич приводит один за другим весьма схожие с возмущившими Куприна стихами образцы пушкинского «косноязычия», в поисках «укажет» отсылает оппонента перечитать хотя бы «Сон Татьяны», а заодно отмечает, что знание Куприным Пушкина не лучше его же памяти, ибо, когда почтенному Александру Ивановичу было пятнадцать, до рождения автора «Романса» оставался целый год...

Отсутствие видимой реакции из стана записных пушкинистов, более, чем Куприн, образованных, не удивительно. Им-то хорошо известно, что Ходасевич — не первый, кто решился «окончить» набросок про дожа и догарессу. Первым был Аполлон Майков, в 1888 году написавший «Старого дожа» с извинением: «Да простит мне тень великого поэта попытку угадать: что было дальше?» Получилось многословно, неубедительно, подчас комично:

Дождь рванул усы седые...
Мысль за мыслью, целый ад,
Словно молний стрелы злые
Душу мрачную браздят...

Вероятно, потому никто не уловил в «самоуничижении» старого поэта лукавой ноты: он-то имел повод думать, что «угадал». Но про то — чуть позже...

В 1906 году примеру Майкова последовал совершенно ныне позабытый С. Голвачевский, у которого вышло, если такое возможно, еще скучней, с неуклюжестью даже и не забавной:

И мгновенно в сердце дождя
Подозрение встает
И, суровый дух встревожа,
Муки ревности зовет...

Иначе быть и не могло: если первый, пусть посредственный, но все же поэт, то второй — сущий графоман, о чем, к слову, именно двадцатилетний Ходасевич некогда уведомил читателей, рецензируя книжку. Он знал оба опуса, упоминал о них в одной из статей 1917 года, заподозрив, что ему вдруг вздумалось посостязаться с ними — нелепо: не те соперники. Однако нельзя не заметить очевидного сходства «сюжета» его стихотворения с сочинениями предшественников: догаресса явно холдна к мужу, будучи с ним, думает о чем-то, верней — о ком-то другом...

И после Ходасевича тот же фрагмент продолжал беспокоить и возбуждать стихотворцев. Некто историк поэтического перевода сообщил, что «дописывал» Пушкина поэт и переводчик Михаил Фроман, чьего текста мне обнаружить не удалось. А всего лишь год назад свою версию обнаружил художник Лев Токмаков. «Содержательно» она мало отличается от прежних (и весьма близка к стихам Ходасевича), но написана с лаконичным изяществом, легко и естественно. Что дало повод Андрею Чернову (Литературная газета, 14 февраля нынешнего года) оптимистично заявить: «...Я не удивлюсь, если беловой автограф этого стихотворения (пушкинского. — В. П.) будет все-таки обнаружен и совпадет с токмаковской версией...» Не разделяю оптимизма: беловик обнаружен не будет. Почему? — надеюсь, станет вскоре ясно.

Вообще-то подобная настойчивость, столь разными авторами проявленная, мне думается, стоит любопытства. Хотя бы потому, что никакое другое из множества незавершенных сочинений Пушкина не вдохновляло потомков на полдесятка вариантов «дописывания». Разумеется, тому есть причина вполне прозаическая: в отличие от других случаев в этом авторский замысел — «сюжет» стихотворения — представлялся «восстановимым» по «литературному источнику», который и «угадал», никому не выдав, Майков: новелла Э. Т. А. Гофмана «Дождь и догаресса». Из не-поэтов первым о том же догадался, видимо, пушкинист Николай Лернер (добрый знакомый Ходасевича) — благодаря ему сия точка зрения и утвердилась, переходя из одного академического комментария в другой. Правда, новелла Гофмана была опубликована по-русски только в 1823 году, в пушкинской библиотеке книга была. Так что пришлось менять первоначальную, никак не мотивированную дату пушкинского отрывка (1822) на более позднюю и объяснимую, благо и другие доводы в пользу этого подоспели. К единому мнению, впрочем, прийти не удалось, услови-

лись, что отрывок «точной датировке не поддается». И поместили его в последующих изданиях между 1827-м и 1836 годом, где он пребывает и поныне.

Все это может показаться сугубо профессиональной суеютой, не имеющей существенного значения ни для чтения Пушкина, ни для понимания. В конце концов какая разница — **когда** написано? Важно — **что**... Но поди разберись — **что**? Написанного-то — всего ничего. Ну, дож — старый, а догаресса — напротив того — молодая. Ну, плывет он с нею. В гондоле. Неизвестно — куда, непонятно — зачем. Ну, еще третий при этом — гондольер, не сами же они на веслах сидят. Вот, собственно, и все. Спрашивается: Пушкину что за дело до них? И почему не дописал стихов?

Знакомство с новеллой Гофмана вроде бы позволяет ответить если не на все, то на большинство вопросов. Она навеяна трагической историей жившего в XIV веке венецианского дожа Марино Фальеро (Фальери). Вкратце: женившись в преклонных годах на юной красавице, дож взаимности не снискал, ее любовь досталась другому; потом примкнувший к политическому, в последний миг раскрытому заговору муж пал от руки палача, а вдова попыталась бежать с возлюбленным, однако море, повенчанное со своею владычицей — Венецией, — поглотило любовников штормом...

Если следовать логике догадливых поэтов и пушкинистов, Пушкин намеревался переложить немецкую новеллу русскими стихами, причем не очень-то располагающим к протяженной повествовательности четырехстопным хореем (что, к слову, много позже иронично подтвердил Бунин, переводя Лонгфелло). Сомнений это, похоже, не вызывало ни у кого. У Ходасевича тоже, чему свидетельство — «Романс». Переложения такого рода с легкой руки Жуковского в русской поэзии не исключительны. Отдал им дань и Пушкин, правда, нещедрую. Однако в отличие от Жуковского, увлекавшегося чисто художественной задачей претворения в поэзию приглянувшейся иноязычной прозы, как это было, например, с «Ундиной», Пушкина занимало иное. По собственному его слову, он брал **свое** везде, где находил, — от русского фольклора до фантазий американца Вашингтона Ирвинга. Тем интересней: что же **свое** мог найти он у Гофмана? Какие одежды романтического сюжета новеллы захотел примерить на себя? Что откликнулось в ней его переживаниям?

Где виделся ответ — новые вопросы.

Мотив неразделенной любви? Едва ли — это скорее привлекло бы опять-таки Жуковского, признанного «певца любви неразделенной». Коллизия: старый муж — молодая жена? В двадцатых годах, да и позже, это было для него, так сказать, неактуально. Можно, конечно, попытаться связать замысел с его любовью к Елизавете Воронцовой, жене «причерноморского» наместника, однако на роль «догарессы молодой» она, на семь лет старше поэта, никак не годится...

Не проходит и самое простое предположение: дескать, нечто помстилось ему занятное там, у Гофмана, вот и набросал бегло несколько строк да тут же и остыл, забросил. А мы только голову теперь понапрасну ломаем. Дело в том, что автограф хранит следы напряженной черновой работы. Замысел существовал. Осуществлялся. Что-то помешало...

Кстати, об автографе, почти столетие числившемся утерянным. У Ходасевича первый стих «Романса» отличается от обычно публикуемого пушкинского варианта, который тоже использован, но лишь в шестой строфе: «Ночь тиха. В небесном поле...» По этому поводу в своем комментарии (Владислав Ходасевич. Собрание сочинений. Том 1, «Argdis», Ann Arbor, 1983) Джон Мальмстад пишет, что «автор отступил от традиционного, принятого в собраниях пушкинских сочинений, чтения начальной строки... Зачин его «Романса» оказался ближе к обнаруженному позднее черновому автографу», опубликованному в 1952 году (то есть через тринадцать лет после смерти Ходасевича). Это мнение разделяет и комментатор отечественного издания («Библиотека поэта», Л., 1989) Николай Богомолов. Конечно, интуиция поэта, угадавшего нечитанную строку другого поэта, впечатляет. Увы, дело не в интуиции: перед нами — недоразумение.

России — пасынок, а Польше —
 Не знаю сам, кто Польше я.
 Но: восемь томиков, не больше —
 И в них вся родина моя.

Вам — под ярмо ль подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.

Комментируя эти строки стихотворения «Я родился в Москве. Я дыма...» (1923), оба исследователя сообщают, что Ходасевич имеет в виду восьмитомное издание сочинений Пушкина под редакцией П. А. Ефремова (Спб., А. С. Суворин, 1903—1905), где отрывок напечатан в виде «традиционном». Было, однако, и другое восьмитомное издание, вышедшее тогда же (Спб., Кн-изд. Тов-ство «Просвещение», под ред. П. О. Морозова) и, право, компактностью своей куда удобней для «дорожного мешка», чем внушительные «суворинские» тома. И там, в первом томе, на странице 338 читаем: «В голубом эфира поле Блещет месяц золотой...» Далее — без разночтений. Второй стих Ходасевич заменяет на вариант прочтения, предложенный еще в середине прошлого века П. В. Анненковым: начало «Романса» оказывается контаминацией двух давних прочтений пушкинского черновика. Ну, а кроме того, напечатанный Морозовым текст — **единственный**, где пятый стих: «Догаресса молодая...» В автографе место этого стиха не обозначено, он записан сбоку, отдельно от первых четырех. Морозов этим пренебрег, допустив неловкий, «непушкинский» повтор в соседних стихах: «С догарессой молодой.— Догаресса молодая...». Так они и попали в «Романс».

Текстологическое это отступление необходимо — без него не понять еще одной попытки «окончить» тот же отрывок, сделанной в 1925 году Георгием Шенгели:

В голубом эфира поле
Ходит Вesper золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.

Догаресса молодая,
Призадумавшись, глядит,
Как звезда любви, играя,
Мутны волны золотит.

Глянул дож и поникает,
Думой сумрачной томим:
Ах, опять красой сверкает
Тот патриций перед ним.

Тот прелестник и повеса...
Вдруг донесся дальний крик,
И пугливо догаресса
Обратила бледный лик.

Молвил дож, помедлив мало,
Указуя на волну:
«То спустили в глубь канала
Долг забывшую жену».

Догаресса поневоле
Прикрывает взор живой.
В голубом эфира поле
Никнет Вesper золотой.

Шенгели ограничивается сухой припиской: «Первые пять стихов принадлежат Пушкину». И все. Никаких указаний на то, что предлагает нам «окончание». Как и на то, с какой стати им, поэтом и пушкинистом, произведен такой эксперимент, отличие которого от «Романса» Ходасевича, поэта и пушкиниста, бросается в глаза. Ни намек на неразделенную любовь. Новый, ни у кого прежде не появлявшийся персонаж, «патриций» — «прелестник и повеса» (читай: молодой). Доносящийся откуда-то предсмертный крик, которому дож тут же дает объяснение (откуда знает? — закрадывается подозрение, что знает он больше, чем говорит, а возможно, и

говорит — с умыслом — не то, что знает). И у самой прогулки, похоже, есть некая тайная цель...

У Ходасевича лирика с оттенком драмы. У Шенгели — трагедия, вовсе не похожая на «первоисточник», на новеллу Гофмана.

Немудрено: Шенгели уверен, что Гофман не имеет отношения к пушкинским строкам. Что пушкинский замысел, запечатленный в наброске, связан с другим произведением другого автора, поэта, чье творчество влекло Пушкина неизменно и властно, чьим прилежнейшим читателем он был, к чьей ослепительной славе испытывал чувство, замечено было современниками, сродни ревности. Разумеется, я говорю о Байроне.

Превосходный знаток творчества Байрона, поэт, задавший себе — и решивший! — грандиозную задачу: перевести все поэтическое наследие Байрона (за малым исключением — не успел), — Шенгели обнаружил то, чего не сумели увидеть другие, удовлетворенные первой находкой, поверхностным сходством, бросившие дальнейшие поиски. Байроновскую версию венецианских событий конца XIV века — трагедию (или драматическую поэму) «Марино Фальери, дож Венеции», несомненно, знакомую Пушкину (во французском переводе).

У Байрона все иначе, нежели у Гофмана. Красавец патриций, в догарессу влюбленный, домогается ее упрямо, но тщетно. Наконец с яростью уязвленного самолюбия оскорбляет ее — клеветой. Суд, к которому обращается дож, лишь усугубляет дело, снисходительно приговорив «повесу» лишь к недолгому изгнанию из Венеции. Коли нет правосудия, остается мщение — его совершает наемный убийца. А когда все открывается, дожа судят и казнят: он гибнет, вступившись за честь жены, — с сознанием своей правоты, потому что подлость не должна пребыть безнаказанной...

Шенгели естественно связал сюжет и смысл байроновской трагедии с последним годом Пушкина, с его дуэлью и гибелью, с трагедией, изошренно разыгранной самою жизнью. Разительное сходство ситуаций и обстоятельств, свое — в Байроне (вплоть до «возраста» персонажа — о своей «старости» в стихах последнего года Пушкин упоминает то и дело: «От меня вечер Лейла...» или «Когда за городом, задумчив, я брожу...»), трагедия не пересказанная, но сжатая до фрагмента, эпизода, намек (и хорей, чуть не самый «английский» из русских размеров, сущий бич для переводчика английских стихов с их заданной первоударностью, кому, как не Шенгели, это знать). Если так, то и вероятнейшая дата пушкинского наброска проступает — незавершенного, потому что не успел, убили...

В стихотворении ничего этого не обнаружить — лишь указание на источник замысла. Однако в сделанном позже переводе «Марино Фальери» Шенгели — сознательно или невольно — усиливает, подчеркивает «пушкинское» звучание Байрона. Оно явственно слышится у переводчика и в авторском предисловии к трагедии и — особенно — в кульминационном монологе героя (указано А. А. Лацисом).

Но к чему такие сложности? Куда проще и эффектней было бы изложить все это в статье, а не шифровать в стихах — с риском, что никто не удосужится расшифровывать. Исследованием пушкинских стихов Шенгели занимался всю жизнь, первую работу напечатал в 1918 году, тридцать лет спустя трудился над словарем языка Пушкина. Тема «Пушкин и Байрон» напрашивалась; как никто другой, Шенгели вчитывался, вглядывался в обоих. Тем не менее осуществилась она только в стихах.

Думаю, что стихотворение Шенгели о доже и догарессе не было бы написано, если бы в «России» не появился «Романс» Ходасевича. Не заметить его — вероятность нулевая. Шенгели был близок знаком с Лежневым, в журнале которого регулярно печатались его друзья. «Пушкинские» публикации в юбилейном году обращали на себя внимание. С Ходасевичем он познакомился еще в 1916 году, в Коктебеле у Волошина, стихи его любил и знал и не раз входил в диалог с ними: в его стихах немало отзвуков строкам Ходасевича из «Путем зерна», «Тяжелой лиры» и даже из парижского «Собрания стихов» 1927 года, откуда, в частности, взят эпиграф к одному из стихотворений начала пятидесятых.

Шенгели не «оканчивал» Пушкина. Он отвечал Ходасевичу, полемизировал с ним. И озаботился оставить подтверждение тому — в самих стихах. Первые пять строк — «пушкинские» — у обоих полностью совпадают. А мы уже выяснили, что ни в одном издании Пушкина такого в точности варианта нет. Взять его можно было только из «Романса». А чтобы не было сомнений, подброшена еще пара слов-совпадений: «указует — указуя» (та самая, возмущившая Куприна, «канцелярщина») и «поневоле» и там, и тут в рифму к пушкинской строке подведенное. Чем не математическое доказательство: из школьного курса геометрии известно, что, если сов-

падает по три точки двух плоскостей, совмещены и сами плоскости. Это я к тому, чтобы не занимаясь дальнейшим сравнительным анализом. Кого не убедил — не сумею, смиряюсь.

Эта потаенная полемика — в духе пушкинской поры и пушкинской поэзии, где так часто на строках простых и ясных, «общедоступных», лежит тончайший, почти призрачный слой тайнописи, которую посторонний способен лишь смутно почувствовать, но не разгадать, потому что «ключа» ему не дано, потому что она предназначена немногим **своим**, посвященным, а подчас и одному-единственному адресату, которого даже современники угадать не могли, тем более мы распознать не сумеем; спросить не у кого. Это разговор на людях, во всеуслышание, и в то же время — наедине, вдвоем.

Так и Шенгели пытается рассказать Ходасевичу о Пушкине то, что прочим, по его мнению, знать необязательно.

Дошел ли этот голос до Ходасевича — неизвестно. Отсутствие свидетельств — не аргумент. Но — **мог дойти**. И тогда же, в двадцать пятом, и позже. Ничего нереального — до конца двадцатых годов связь, почтовая или «оказией», с зарубежьем была хоть и затрудненной, но исправной. Потому есть даже искушение объяснить отсутствие «Романса» в «Собрании стихов» этою полемикой. Поддаваться ему, впрочем, не стоит: очевидно, что, как и многим другим стихам, ему просто не могло быть места в жесткой до хруста композиции «Европейской ночи».

«На поэзию есть эхо...» И оно дает распознать эту переключку, о какой говорил Ходасевич в 1921 году в «Колеблеме треножнике», в своем прощании с Россией, это ауканье — именем Пушкина — в надвинувшемся мраке...

Кирилл КОБРИН

Дом сумасшедших

Князь Одоевский скоро порадует нас собранием своих повестей... Воображения и ума — куча! Это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке! Они выйдут под одним заглавием «Дом сумасшедших».

Н. Гоголь

...сiju лъ меж юношей безумных.

А. Пушкин

...только три — Пушкин, Лермонтов и кн. Одоевский.

В. Розанов

Есть книги странные: скверно написанные, неряшливо выстроенные. Но они — Эпилептики, хромоножки, заики — вызывают порой такую мучительную нежность, что кособокая, припадающая на усохший глагол фраза становится милее божественного зачина «Весны в Фиальте». То не прихоть цепкого к уродству эстета, не цианистый цинизм вагиновского коллекционера, а. Прихоть любви. Любовь (если настоящая) зла. Она может подсунуть в качестве своего предмета существо не идеальное. В нашем случае словно сама словесность (а словесность и есть «наш случай») подначивает: «Беленькой меня любой полюбит, ты меня черненькой полюби!»

Что (воспользуемся беллетристическим штампом штампованного беллетриста) может быть мрачнее тучи и чернее ночи? Чернее, бестолковее беспросветной «Ульмской ночи»? Нет-нет, вовсе не «Петербургские ночи» Жозефа де Местра, впрочем, вполне пристойные. «Русские ночи», сочинение князя Владимира Одоевского. Таков мой предмет.

Но почему «Русские ночи»? Почему не славные некогда «Княжна Мими» и «Княжна Зизи»? Быть может, взяты за «Сказку о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношению не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником»? И, наконец, отчего у нас столь скудный выбор? Отчего князь мало произвел самобытного? Не неудачник ли он?¹

«Если он мало произвел самобытного, то причиной тому — увлечение его всякою встречавшеюся ему умною мыслью, всяким проявлявшимся высоким чувством или благим намерением. Все его литературные произведения проникнуты ... отменно благонамеренностью», — замечает отменно благонамеренный А. И. Кошелев. И действительно, there are more things, и за всем надо бы присмотреть, со всем разобратся, порядок новости, суть вопроса выяснить. Жуковский хлопотал о литературных перед лицом Батюшки-Царя, Одоевский хлопотал о «вопросах» перед лицом Матушки-Общественности. Слово мемуаристу (И. И. Панаеву):

«С год назад тому он очень серьезно и таинственно отвел меня в сторону.

— В настоящее время возник у нас в литературе очень серьезный вопрос, — сказал он мне... — о кухарках. Я по этому поводу написал статейку и пришлю ее вам. Это очень серьезная вещь, очень! Я развиваю этот вопрос и говорю о кухарках в Сардинии. Я на месте убедился, как эта часть там превосходно устроена».

Милый, милый князь! Не правда ли, есть что-то ленинское в его заботе о кухарках: пощупать грубое сукно солдатской шинели, напоить чаем ходока, основать «Общество чистых тарелок». И ласковый прищур, и растрепанные немецкие философские книжки с темпераментными пометами на полях... Впрочем, Ильич — сочинитель другой эпохи, да и написал поболее. Одоевскому же вообще не нужно было ничего писать после «Русских ночей» (в смысле изящной словесности); все эти зизикающие мимикрии под светские повестушки должен был сочинить соллогу-бый франтик, но не наш философ. Масштаб князя неизмеримо больше.

Одоеведы (князефилы?) находятся в непреклонном общем убеждении, что «Русские ночи» — первый и, быть может, единственный русский философический роман. Не криви лицо, читатель! Философские романы не так плохи, как кажется. Они могут быть плохи как «философские», но хороши как «романы». Разве удобство и уют, с коими ты, читатель, располагаешься в санаторных креслах «Волшебной горы», могут быть испорчены непережеванной метафизикой авторских отступлений? Нисколько. Наоборот, за аперитивом (сотерн с эвианом) иногда приятно эдак вот порассуждать. Так что Набоков был не прав, обозвав «гипсовыми кубами» все без исключения детища офилософической беллетристики. Вот так, одним махом, Владимир Владимирович дал маху. Охотясь на махаона, он дал маху: нахал! замахнулся рампеткой над мхом, и охмуренный махаон и ахнуть не. Вся охота, похохатывая, хоботок махаона охаивала. А махаон вдруг хлоп-хлоп лихо крыльями — и над мхом. Хэлло, воздух!

Досужий читатель — а настоящий читатель должен быть таковым — оценит эту книгу по достоинству. По своему достоинству. А главное достоинство досужного читателя — раскрыть томик наугад, дать прошелестеть вздыбленным страницам, поймать словечко, фразочку, оборотец и... обомлеть. Да и как не обомлеть от, например, такого: «Ростислав уже насмотрелся на белые, роскошные плечи своей дамы и счел на них все фиолетовые жилки...» Вот ведь анатомический театр (феатр!) Ох, уж этот мизантропичный физиолог Ростислав («неблагодарный, чувствовал лишь жар и усталость»), систематик артерий, классификатор вен, гроза гематом! О чем грезил он, мазурик, скользя в мазурке? А вот о чем: «Каких усилий стоило человечеству достигнуть весьма простой вещи, на которую обыкновенно никто не обращает внимания, то есть жить в доме с рамами и печами?»² Узнаете стиль вопрошания? Доедет колесо али не доедет? Что там слышно о шишке под носом алжирского бая?

Вот так в освещенных окнах «Русских ночей» замелькала носатая гоголевская тень безумия. Родителю Поприщина явно понравилась мысль Одоевского назвать «собрание ... повестей» «Дом сумасшедших» (черновое имя «Русских ночей»). В са-

¹ «Когда Давыдов заменил Мерзлякова на кафедре российской словесности, он был поставлен в самые благоприятные условия для завершения того, что он начал как воспитатель счастливого Веневитинова и неудачного кн. Одоевского» (Г. Шпет, «Очерк развития русской философии»). Насколько же князь «неудачен», если умерший в 22 года Веневитинов назван «счастливым»!

² Только советские литературоведы смогли оценить глубину поставленных Ростиславом проблем: «Перечитайте «Русские ночи» Одоевского и вы обнаружите там целый сонм живых, нестареющих мыслей, услышите любопытнейшую переключку веков, увидите движение трезвой, цепкой и целеустремленной мысли, столь легко и смело отбрасывающей все привычные оговорки и наивный академизм и прорывающейся к подлинному знанию о мире» (из сладчайшего предисловия В. Сахарова к газетноклейному изданию повестей Одоевского в 1987 г.).

мой композиции этой книги есть что-то безумное. Некие молодые люди собираются по ночам у некоего Фауста (хорошо хоть не Наполеона!) и обсуждают записи, которые вели уже другие молодые люди, отправившиеся путешествовать со следующей целью: «исследовать некоторых людей, которые, живя между другими, в большей мере пользуются названием великих, или названием сумасшедших, и в этих людях поискать разрешения тех задач, которые до сих пор укрывались от людей с здравым смыслом». Между тем в самих диспутируемых текстах, в свою очередь, обсуждаются еще одни заметки (человека по имени Экономист). Все это напоминает параноидальное удовольствие ставить одно зеркало против другого... Фауст и С^о договариваются до того, что обвиняют в сумасшествии весь XIX век. И затем следует любопытнейший диалог:

«Виктор. К делу! К делу! Без оговорок! Нельзя безнаказанно обвинять целую эпоху в сумасшествии, не показав, что такое не сумасшествие?

Фауст. Без шуток, господа, я в большом затруднении, ибо также принадлежу к нашему веку — и потому одно сумасшествие, может быть, должен буду заменить другим».

Круг замкнулся. Век сумасшедший, все люди сумасшедшие, мир — «Дом сумасшедших». Нормы³ нет. Главная задача отныне: сказать сумасшедшему (то есть каждому), что он сумасшедший. «В этом я и вижу беду; нет опаснее сумасшедшего, который вовсе не подозревает, что он сумасшедший», — изрекает в «Эпilogе» Фауст. Сам Фауст (по утверждению специалистов, alter ego автора) в течение романа демонстрирует «технику схождения с ума». От ночных разговорчиков он буквально «косеет» (как от бутылочки-другой портвешка, как от доброй понюшки кокаина⁴), впадает в визг, хрип и сопли завязтого истерика. Ночью первой Фауст еще холодно «отшивает» завалившихся к нему дружков: «Ужинать я вам не дам, потому что я сам не ужинаю; чай можете сделать сами в машине а pression froid, — прекрасная машина, жаль только, что чай в ней бывает дурен; на вопрос, отчего мы курим, буду вам отвечать, когда вы добьетесь от животных, почему они не курят; карета есть механический снаряд для употребления людей, приезжающих в четыре часа ночи; что же касается до просвещения, то я собираюсь ложиться спать — и гашу свечи». Но последующие восемь ночных бесед даром не прошли — в «Эпilogе» Фауст агрессивно причитает, будто завсегда трактира «Три Кармазика»: «В некотором смысле! Еще платьице на ложь! рядите, рядите, господа, вашу воспитанницу, или воспитательницу». Вот до чего доводят слова. Много слов. Вот до чего доводят знаменитые русские разговорчики. «Русские разговорчики» как жанр.

«Русские разговорчики» — вот главный жанр русской прозы, и это гениально предощутил Одоевский. Разговор тянется бесконечно, утомительно, навязчиво, бессистемно, бессодержательно. Что обсуждается — все равно: доедет ли знаменитое колесо до или не доедет; возымеет ли действие депеша Новосильцева или не возымеет; Бога нет, Бог есть; надо работать, не надо работать (в «Эпilogе» «Русских ночей»: **«Вячеслав.** Все, что я могу сказать, — это что нужно что-то делать».)... Впрочем, вопрос о «работать» не ставится, в этом все единодушны: срочно ехать в Москву, срочно работать, срочно увидеть небо в алмазах! «Работать» — вещь бесспорная для «русских разговорчиков», прочее — сомнительно. Посему за работу надо приниматься, лишь прояснив до кристальной ясности остальные вопросы — последние и распоследние, проклятые и распроклятые. Оттого стоит (по большей части) в русской прозе нестройный гул и гам, вроде настраивающегося оркестра. Только вот симфония никак не начинается. И не начнется.

Кстати, о симфониях. О ком же говорить, поминая «симфонии», как не о записном музыковедке князе Одоевском? Кто, как не автор «Последнего квартета Бетховена» и «Себастьяна Баха», знал (среди русских литераторов XIX века) толк в адажио, терциях и тремоло? Толк знал, да толку мало. Не успел, кажется, прослушать курс «Основы композиции». «Русские ночи» имеют композицию скверную. Части дребезжат на ходу, диссонируют, налезают друг на друга. Ритм пошел погулять, скрипки зашлись в истерике, флейты пищат почем зря. Век спустя все это торжественно обозвали бы додекакофонией, а нашего скромного Фауста — «Доктором Фаустом».

И, раз уж мы о музыке, прокрутим на нашем граммофончике два финала. Первый — гениальный в своем ассонансе финал «Русских ночей»:

«Вячеслав. Все, что я могу сказать, — это что нужно что-то делать...

Виктор. Я подожду парового аэростата, чтобы посмотреть тогда, что будет с Западом...

³ Не в смысле Владимира Сорокина.

⁴ Вспомним канонические изображения Одоевского: вокруг всё колбочки интересные, порошочки, реторточки.

Ростислав. А у меня так не выходит из головы мысль сочинителей рукописи: «Девятнадцатый век принадлежит России»⁵.

Второй финал — жизнь сочинителя «Русских ночей» — звучит одной, невероятно грустной нотой. Сквозь хрип и шип заезженной грампластинки она доносится до нас в исполнении Ивана Панаева:

«Года три тому назад я встретился с ним в Гостином дворе и пошел вместе с ним.

— Ах, я совсем забыл... — вдруг начал он, — вам ничего не стоит вернуться несколько шагов назад. Я вам покажу мое новое изобретение.

Мы вернулись.

Он привел меня в лавочку, где продают фуражки и разные дорожные вещи. У входа ее висел клеенчатый лакейский плащ.

— Вот, смотрите! Не правда ли, это превосходная вещь!..

— Что такое?

— Клеенчатый плащ... ведь это мое изобретение. Я первый выдумал это...

Эти плащи в употреблении давным-давно, но у меня не достало духу оспаривать Одоевского и разочаровывать его».

Да, не взрывом, но всхлипом.

Подарки Пушкину

Пушкину дарили подарки — родственники, друзья, литераторы, почитатели его таланта и даже венценосные особы. Подарки были разными и подарены были по разным поводам. Но в каждом из них для Пушкина была память о людях, о связанных с ними чувствах, память о событиях, дорогих и по-своему важных для него.

Когда в 1811 году Пушкин уезжал из Москвы в Петербург определяться в Лицей, бабушка подарила ему сто рублей на орехи. И хотя дядюшка Василий Львович деньги эти взял да так и забыл отдать, внук надолго запомнил бабушкину щедрость.

Золотые швейцарские карманные часы с гравированным сельским видом на циферблате и цепочкой были пожалованы Пушкину императрицей Марией Федоровной за стихотворение, сочиненное в 1816 году на бракосочетание великой княжны Анны Павловны и принца Оранского. Пушкинские стихи были положены на музыку и исполнялись на празднике в Павловске. Часы юному поэту передал старый поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий.

«Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокотожественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820, марта 26, Великая пятница» — эту надпись В. А. Жуковский сделал на своем портрете, литографированном Е. Эстеррейхом. Для Пушкина этот дар был драгоценен, он всегда возил его с собой, не расставался с ним.

На известном портрете Пушкина работы В. А. Тропинина правая рука поэта украшена золотым витым кольцом с восьмиугольным красным камнем, на котором вырезана восточная надпись. Это кольцо-талисман в 1824 году в Одессе подарила Пушкину графиня Е. К. Воронцова.

*Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья.
Ты в день печали был мне дан...*

В 1829 году на память об участии Пушкина в Арзрумском военном походе генерал граф И. Ф. Паскевич подарил ему турецкую саблю в позолоченных серебряных ножнах. На клинке надпись: «Арзрум. 18 июля 1829 г.» Эта сабля висела в кабинете Пушкина.

⁵ Не правда ли, чудный оборот мысли. XIX век — сумасшедший. XIX век принадлежит России. Какова же Россия?!

На новый 1832 год близкий друг Пушкина П. В. Нащокин прислал ему из Москвы бронзовую чернильницу с арапчонком, который должен был напомнить о черном пушкинском предке. Пушкину подарок очень понравился. Чернильница заняла свое место на его письменном столе.

Пушкину дарили книги, ему посвящали и дарили стихи. Гете прислал ему в подарок свое перо...

Открытие Московского музея Пушкина в 1961 году не смогло бы состояться без даров. И это тоже — подарки Пушкину. За каждым из них — люди и судьбы, история нашего Отечества, нашей культуры. И еще — любовь к Пушкину. Публикации, предлагаемые вниманию читателей, расскажут о некоторых дарах, поступивших в наш музей.

*Н. И. МИХАЙЛОВА, заместитель директора
Государственного музея А. С. Пушкина*

Дар И. А. и А. А. Полонских

Прекрасно помню, как я впервые увидела Изольда Аркадьевича Полонского.

В тот июньский день 1978 года дирекция и все научные сотрудники уехали на похороны замечательного пушкиниста, большого друга нашего музея Т. Г. Цявловской, а я, как ответственный дежурный, находилась в залах музея.

Неожиданно ко мне приближается пожилой коренастый человек с вьющимися темными с сединой волосами и доброжелательной улыбкой. Его привели смотрители, так как посетитель непременно хотел иметь дело только с директором. Не раскрывая своих намерений, он начинает расспрашивать, как у нас хранятся дары, много ли их, какие, и т. д. Верная ученица создателя и первого директора музея А. З. Крейна, я рассказываю историю музея, говорю о нашей «Книге даров», о библиотеках-кабинетах И. Н. Розанова и С. Н. Голубова. Тут И. А. Полонский, представившись, и сообщает, что хочет сделать дар музею при жизни, но при условии, если ему выделят маленькую комнатку с книжным шкафом, куда бы он мог поместить все, что готов передать нам.

На другой день я стала убеждать А. З. Крейна найти эту «маленькую комнатку». Музейщики, зная вечную тесноту фондовых отделов, поймут некоторое колебание дирекции, но после знакомства с дарителем (под мою личную ответственность за сохранность) небольшое помещение было выделено. И вот я сижу в пустой комнате с одним окошечком, жду и несколько недоумеваю... Зачем это понадобилась отдельная комната? Сколько там вещей? Ну пятьдесят, ну сто, ну не двести же? Мои мысли были прерваны гудком въехавшего во двор такси. И началось...

В течение недели по два, а то и три раза в день на машинах друзей или такси привозил Изольд Аркадьевич свои дары: связки книг, свертки, папки, коробки и коробочки, где находились миниатюры, старинные портреты в рамках, табакерки, фарфор, скульптура и мелкая пластика, акварели, гравюры и снова книги, книги, книги...

Постепенно комната заполнялась: все стены уже были увешаны с пола до потолка, один шкаф полностью заполнили книги, поставили второй, и на его полках — книги и прикладные вещи.

Волею судьбы я первая встретилась с Полонским, мне и суждено было принимать дар, составлять опись, делать выставки и сообщения и, пока имелась возможность, хранить отдельный кабинет — «Дар И. А. Полонского».

Была создана специальная фондовая комиссия с экспертами из разных музеев для просмотра и оценки художественного достоинства, а главное — уточнения времени, когда появились прикладные или оригинальные произведения безымянных авторов. Несколько вещей мы вернули И. А. Полонскому. Он не обиделся, так как был прекрасным знатоком книги, библиофилом, а в области изобразительного искусства начала XIX века ощущал себя неопитом.

Итак, первоначальный дар И. А. Полонского составил 370 единиц хранения (174 книги, 91 произведение изобразительного искусства, 26 памятных пушкинских значков и медалей и прочее).

Небольшое отступление перед описанием дара.

Когда я благоговейно вынимала из коробок драгоценные экземпляры книг, разбираала столь же аккуратно завернутые в миколентную бумагу с тщательностью лучшего хранителя миниатюры, старинные портреты и хрупкий фарфор, изящные вещицы с дамского туалетного столика какой-нибудь прелестницы начала прошлого века, признаюсь, удивлялась и спрашивала Изольда Аркадьевича, как удалось все это сохранить в таком идеальном состоянии в бытовых условиях. «Это все

Анечка», — отвечал он. Так я впервые услышала об Анне Алексеевне Полонской, жене, друге, единомышленнике собирателя. Они вместе тратили средства на книги, акварели, живопись, гравюры, на реставрацию многих вещей, вместе потом решили их «устроить», отдать, подарить при своей жизни. Расстаться со своим детищем — домашним музеем.

Огромную ценность собрания составляют, конечно, книги. Среди них двадцать прижизненных изданий А. С. Пушкина: «Руслан и Людмила» 1820 г. (с гравюрой Н. Иванова по проекту А. Н. Оленина), первые издания «Кавказского пленника», «Братьев-разбойников» и другие, а также последнее, третье при жизни поэта миниатюрное издание «Евгения Онегина» 1837 года. Назову еще четыре прижизненных издания Е. А. Баратынского (в том числе «Наложница» 1831 г. с автографом поэта); шесть книг И. И. Козлова, причем перевод «Абидосской невесты» Байрона (Спб., 1826) с трогательным автографом, написанным дрожащей рукой слепого поэта — дар Софье Владимировне Строгановой; первое издание «Ревизора» Н. В. Гоголя (Спб., 1836), «Собрание стихотворений» Д. В. Веневитинова (М., 1828), «Думы» К. Ф. Рыльева (М., 1825) и многие другие.

Среди раритетов — сборник «Für Wenige» («Для немногих») (М., 1818, на немецком и русском языках). Это одно из первых изданий переводов В. А. Жуковского, его тираж составил 30—40 экз. Сборник предназначался для обучения русскому языку императрицы Александры Федоровны. Все шесть выпусков вместе в наши дни крайне редки.

Такую же величайшую библиографическую редкость, обладанием которой могут похвастать только самые значительные книжные собрания России, являет собой «Волшебный фонарь, или Зрелище с.-петербургских расхожих продавцов, мастеров и других престопадных промышленников...» 1817—1818 гг. 12 номеров в одном переплете с сорока раскрашенными от руки гравюрами в идеальной сохранности.

По праву гордился Изольд Аркадьевич переданным нам собранием семидесяти журналов и альманахов первой трети XIX века, изданных в Петербурге, Москве, Одессе, Красноярске. Сюда вошли восемь томов «Современника» 1836—1837 гг. Сохранность первых четырех, собственно пушкинских, изумляет: все не обрезаны, имеют подлинную типографскую обложку! За все время существования музея нам ни разу не встретились экземпляры пушкинского «Современника» в таком первоначальном виде.

32 альманаха с прижизненными публикациями произведений Пушкина — полные комплекты «Полярной звезды» А. А. Бестужева и К. Ф. Рыльева (Спб., 1823—1825), «Северных цветов» А. А. Дельвига (Спб., 1823—1825), «Уралия» М. П. Погодина (М., 1826) с дарственным автографом издателя его другу, историку и археологу Константину Федоровичу Калайдовичу, которого хорошо знал и Пушкин; «Подснежник» А. А. Дельвига и О. М. Сомова на 1829 г.; «Невский альманах» Е. В. Аладына на 1826—1829 гг. в изумительном подарочном переплете с автографом издателя и многие другие.

Открытием для музея явился «Архитектурный альбом, изданный по заказу комиссии для строений в Москве» (М., 1832). Во второй тетради «Альбома...» мы обнаружили чертеж южного фасада (что выходит на Пречистенку) дома, построенного в 1814—1817 годах для гвардии прапорщика А. П. Хрущева. Это наш дом, тот самый, что видел когда-то Пушкин, тот, в котором расположен теперь Государственный музей А. С. Пушкина.

О подаренных книгах, их редкости, полноте подбора, замечательной сохранности можно говорить бесконечно.

Среди более сотни предметов изобразительного и пластического искусства оказалось много весьма интересных для музея вещей: силуэтная сцена и медальон работы Ф. П. Толстого, небольшая фигура в рост Гете работы Х. Д. Рауха (мрамор, 1820-е гг.). Такая же точно скульптура изображена на известной картине художников школы Венецианова «Субботние собрания у В. А. Жуковского» (1834—1836 гг.). И еще несколько десятков портретов конца XVIII, но большей частью — первой половины XIX века. Можно сказать, в музей вошла целая толпа современников Пушкина.

Это рисунки карандашом на альбомных листах и акварели, пастель и гуашь, масло на холсте и металле, силуэты на золотой пластине и миниатюры. Одни исполнены уверенной рукой известных художников: П. Ф. Соколова, В. И. Гау, А. И. Терребенева, Э. Рокштуля-отца, Н. А. Львова; другие — неведомыми мастерами, порой дилетантами, копировавшими в прошлом веке выдающиеся оригиналы.

После многих консультаций с искусствоведами, знатоками военного мундира XIX века и другими специалистами, после кропотливой, но увлекательнейшей работы в архивах в собрании Полонского выделилась группа портретов, представляющих особый иконографический интерес.

На выцветшей, пострадавшей от времени акварели — красивый молодой военный, но никакой надписи или подписи, никакой легенды нет, лишь удивительно кого-то напоминающее лицо...

Благодаря замечательной зрительной памяти заведующей изобразительными фондами нашего музея Е. В. Павловой возникло предположение, что это И. Н. Гончаров (1810—1881), средний брат Натальи Николаевны Гончаровой, жены поэта. Сравнение портрета с миниатюрным детским изображением Ивана Николаевича в возрасте пяти-шести лет, имеющимся в нашем музее, и с прекрасной акварелью А. И. Клиндера, хранящейся в Воронежском музее изобразительных искусств, а также с другими известными портретами Гончарова дало поразительный результат. Одно лицо! Совпадает все: цвет глаз, слегка выходящая волос, овал лица, форма носа, даже характер модели. А главное — тот особенный «гончаровский» взгляд, чуть с косинкой. Из братьев Гончаровых Иван более других был похож на Наталью Николаевну. Однако парадный мундир на акварели Клиндера не имел ничего общего с мундиром на акварели из собрания Полонского. Его определил прекрасный знаток военного обмундирования прошлого века Александр Михайлович Горшман как повседневный сюртук адъютанта в чине штаб-ротмистра, скорее адъютанта командира или шефа полка.

Начались поиски послужного списка И. Н. Гончарова, мемуарной литературы. Все подтвердилось: в 1837 — 1838 годах он уже имел звание штаб-ротмистра и в апреле 1837 года был назначен адъютантом генерал-майора М. Г. Хомутова, командира лейб-гвардии Гусарского полка, а через год переведен адъютантом к герцогу Максимилиану Лихтенбергскому. Пушкин хорошо знал И. Н. Гончарова, а Наталья Николаевна была очень привязана к брату. Во многих письмах к жене Александру Сергеевич говорит о ее брате Иване, о встречах с ним, о его светских успехах и любовных приключениях (май — август 1834 г., май 1836 г.). Иван Николаевич помогал Е. И. Загряжской и В. А. Жуковскому уладить миром первый конфликт с Дантесом 4 ноября 1836 года, а потом был в числе свидетелей при бракосочетании Е. Н. Гончаровой с Дантесом, но из церкви сразу уехал, не пожелав сидеть за свадебным столом. Портрет И. Н. Гончарова стал украшением гончаровского зала в мемориальной «Квартире Пушкина на Арбате».

Многие портреты пришли с легендами, которым Изольд Аркадьевич искренно и безоговорочно верил, обижался, если мы высказывали сомнения. Да, некоторые версии пришлось отбросить. Например, искусно исполненный акварельный портрет, который долго жил у Полонского как изображение С. А. Соболевского, не имел, как выяснилось, отношения к близкому другу Пушкина. В другом случае не подтвердилось авторство О. А. Кипренского, хотя под рисунком, изображавшим молодую женщину, стояла характерная монограмма художника — «ОК» и дата.

Зато другие версии оправдались, иногда весьма неожиданно.

Удалось атрибутировать прелестный миниатюрный портрет (неизвестный художник, акварель на бумаге, конец 1820-х гг.) юноши, почти мальчика, с живыми карими глазами, выходящими волосами, с едва наметившимся пушком над губой. Им оказался Иосиф Осипович Россет (1812—1854), младший брат А. О. Россет-Смирновой, знаменитой «черноокой Россети», дружившей с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Гоголем, Лермонтовым и многими другими литераторами. Пушкин не раз встречал Осю, как звали его в семье, у сестры и, вероятно, симпатизировал красивому задорному мальчику, который всегда находился в состоянии романтической влюбленности. Ни для кого не было секретом, что Иосиф Россет пылал страстью одновременно к подруге сестры красавице Стефании Радзивилл и к государыне Александре Федоровне, камер-пажом которой он состоял. (Непривычный мундир изображенного на портрете оказался мундиром эстандарт-юнкера камер-пажеского класса, что, как и возраст юноши, помогло атрибуции.)

О проделках Иосифа ходили легенды. Однажды, в 1828 году, расшалившись на новогоднем балу в Зимнем дворце, мальчик позволил себе некую вольность. Помогая императрице поправить бальную тубельку, он осмелился поцеловать ей носку, за что и получил отеческий выговор от Николая I. Император при этом сказал: «C'est l'âge de Chérubine» — «Это возраст Керубино». Ни в письмах, ни в дневниках Пушкина имя И. О. Россета не встречается, но след их знакомства остался в стихах поэта. Пушкинист Н. О. Лернер убедительно доказал, что прототипом героя стихотворения «Паж, или Пятнадцатый год» является И. О. Россет*, об этом свидетельствует и эпиграф: C'est l'âge de Chérubine...

Пятнадцать лет мне скоро минет;
Дождусь ли радостного дня?
Как он вперед меня подвинет!

* Н. О. Лернер. Пушкинологические этюды. Гл. XIII, сб. «Звенья», 1935.

Но и теперь никто не кинет
С презрением взгляда на меня.

Уж я не мальчик — уж над губой
Могу свой ус я защипнуть;
Я важен, как старик беззубый;
Вы слышите мой голос грубый,
Попробуй кто меня толкнуть...

И еще один портрет — акварель, виртуозно исполненная рукой П. Ф. Соколова; есть его подпись и дата — 1825 год. Перед нами обаятельная милая молодая женщина. Художник запечатлел ее не в нарядном туалете, а в белом утреннем пеньюаре с большим красным бантом, тем самым подчеркнув интимность, домашность портрета. Сколько доброты, ласковой кротости в тихом взгляде, мягком овале лица! Под свободными складками пеньюара угадывается полнеющее тело будущей матери.

Портрет приобретен И. А. Полонским у людей, которые были уверены, что хранят изображение М. Н. Волконской. Ничего общего эта акварель с известными изображениями смуглой, иногда несколько суровой М. Н. Волконской не имела, но даритель так обижался, так задето было его самолюбие, что пришлось внести в опись как портрет М. Н. Волконской — с большим знаком вопроса. И вот недавно акварель все же была определена.

Е. В. Павлова, проведя иконографическую и искусствоведческую экспертизу, доказала, что это действительно одна из декабристок, только не Мария Николаевна, а французенка Полина Гебль, возлюбленная декабриста И. А. Анненкова, которая добилась разрешения поехать к нему в Сибирь, и там они обвенчались.

Все три портрета вошли в золотой фонд Московской изобразительной пушкинианы.

Мы надеемся, что постепенно будут узнаны еще многие портреты неизвестных.

Нельзя не сказать несколько слов о предметах прикладного искусства. Чего тут только не было! Фарфоровые тарелки, чашки и чайник, изготовленные на императорском фарфоровом заводе и в Париже в 1800—1810 годах, парные бронзовые бра, табакерки и коробочки с миниатюрами, лорнет и футляр для очков, дорожная крохотная чернильница и чернильница-насос; бьюары и дамские безделушки (флакончики для духов, перламутровые коробочки для мушек, гребни); набор костяных фишек в специальной коробочке для карточной игры и щеточка для ломберного стола и многие другие вещи, сегодня почти исчезнувшие. Сохраненные и переданные нам дарителем, они уже в большинстве своем вошли в экспозицию, много раз использовались на выставках, помогая полнее, реальнее, зримее воссоздать пушкинское время.

С декабря 1978-го по октябрь 1979 года в музее демонстрировалась большая выставка «Дар И. А. Полонского», а потом был создан специальный кабинет для хранения этого дара.

Изольд Аркадьевич время от времени пополнял свой «кабинет». То принесет еще акварельки, то миниатюру, а в 1980 году к 100-летию юбилею памятника Пушкина в Москве подарил чудесную палехскую шкатулку 1937 года с изображением опекушинского памятника поэту.

Изольд Аркадьевич скупно рассказывал о своей жизни, больше о находках. Он родился в 1914 году на Украине в семье рабочего-токаря по металлу. В 16 лет стал спецкором «Всеукраинской газеты». В 1938-м поступил в Литературный институт, но с началом Великой Отечественной войны ушел в московское ополчение. Был контужен и эвакуирован в Свердловск, там закончил факультет журналистики Свердловского университета. Вернувшись в Москву, работал редактором в разных организациях, много печатался в «Советской культуре». В 1967 году был принят в Союз журналистов; в 1974 году, уйдя на пенсию, всецело отдался собирательству, которым увлекся еще на студенческой скамье.

Интересы И. А. Полонского были весьма широки. Он собирал прежде всего материалы, связанные с Пушкиным и его эпохой, с историей Москвы, жизнью и творчеством Толстого, а также с творчеством других писателей. Как часто повторял Изольд Аркадьевич, он старался собрать и сохранить культурное наследие, которое могло просто исчезнуть. И вот наступило время отдать, вернуть это все к жизни.

И. А. Полонский подарил ценнейшие автографы Льва Толстого и Ивана Тургенева музею Л. Н. Толстого в Москве и тургеневскому музею в Орле, письма Ф. М. Достоевского передал Московскому мемориальному музею писателя, множество материалов отдал Литературному музею и Музею-панораме «Бородинская битва».

Незадолго до своей внезапной кончины Изольд Аркадьевич подарил более ста работ старых мастеров Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Он делал все неспешно, с удовольствием, с улыбкой, всегда что-то тихо напевал. Вообще был оптимистом, хотя и в его жизни, верно, случались неприятные моменты, но он не любил об этом вспоминать. И в тот роковой день он с улыбкой, напевая, спустился к карете «Скорой помощи», обещая утром вернуться, но сердце не выдержало срочную операцию. 22 апреля 1982 года Изольда Аркадьевича не стало.

Дело мужа продолжила Анна Алексеевна Полонская. Она подарила музею еще много замечательных вещей.

В 1982 году — большеформатный многостраничный альбом первой половины прошлого века с рисунками, стихами и записями, сделанными в Казани. Среди дилетантских рисунков оказались превосходные работы Карла Барду и казанского акварелиста Льва Крюкова.

В начале 1992 года Анна Алексеевна передала в рукописный отдел музея папку с интереснейшими материалами.

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом...

Строки «Евгения Онегина» как нельзя лучше характеризуют оказавшийся в папке альбом. Он состоит из шестидесяти отдельных листов с золотым обрезом. На многих из них — гравированные виды Берлина, Геттингена, других немецких городов, рамочки, виньетки, а также рисунки акварелью и карандашом, даже забавные вышивки по бумаге. Все свободное пространство действительно исписано «с конца, с начала и кругом...» стихами и прозой на немецком, французском и итальянском языках. Только владельцем альбома оказалась не барышня, а молодой человек, который любил путешествовать, о чем свидетельствуют даты — от 1806-го до 1834 года — и названия разных европейских городов, в том числе и русских. Весьма возможно, перевод текстов откроет нам историю жизни современника Пушкина, которого, по нашему первоначальному предположению, звали Вильгельм Кюстер.

Среди поступивших материалов — десять автографов. Это письма прошлого века: деловые и семейные, с просьбами или благодарственные. Многие адресаты, а иногда и авторы еще неизвестны. Потребуются долгие, кропотливые поиски, чтобы определить их, но несколько имен назовем.

Двойной лист исписан чернилами ровным мелким почерком, а в конце дрожащим карандашом крупно: «Ваш душою С. Аксаков». Письмо продиктовано 29 сентября 1858 года уже тяжело больным Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. Он сетует на «мучительные страдания», но все же извещает незнакомого нам пока адресата, что его письмо и присланную ему на отзыв статью прочел «собственным моим глазом». Старый писатель пеняет автору за отвлеченность его статьи и советует: «Нравственная польза была бы гораздо шире, если б статья была написана понятнее, доступнее для большинства».

Три автографа связаны с именем Афанасия Афанасьевича Фета: два неопубликованных письма и список известного стихотворения 1891 года «О как волнуяюся я мыслию больною...», под которым стоит собственноручная подпись: «А. Фет».

Первое большое письмо, написанное поэтом вместе с женой Марией Петровной, адресовано dame, видимо, близкой знакомой Фетов, и отправлено 6 июня (год не указан) с хутора Степановка. Я много работала над письмом, перебрала переписку Фетов, хранящуюся в Отделе рукописей РГБ, но установить адресата пока не удалось. Феты называют ее то «милой и симпатичной особой», то «беглянкой». По времени это письмо можно отнести скорее всего к 1870 году, поскольку в тексте упоминается поездка Фета к Тургеневу и вместе с ним на мировой съезд, что произошло именно летом 1870 года.

Второе письмо Фета, датированное 23 марта 1890 г., как помогла установить Г. Д. Асланова, адресовано художнику И. С. Остроухову, который был женат на племяннице жены поэта. Остроухов по просьбе Фета делал эскиз переплета 2-й части мемуаров поэта «Мои воспоминания»: книгу с дарственным стихотворением Фет собирался послать Великому князю Константину Константиновичу, с которым был лично знаком и состоял в постоянной переписке.

Самую большую радость доставил нам находившийся в подаренной папке маленький, сложенный конвертом двойной листок. Торопливые строки, неоконченные слова, разбегающийся, трудночитаваемый, но такой знакомый почерк — рука старшего друга Пушкина Василия Андреевича Жуковского.

Это коротенькое письмо-записка (без указания даты и места) обращена к русскому дипломату В. И. Фрейгангу, уезжающему в Италию. Жуковский просит передать письмо и посылку К. К. Мердеру в Рим.

В записке всего шесть строк, но за ними кроется столько теплоты и душевной щедрости, сердечной заботы, которую всегда испытывали люди, связанные узами дружбы с Василием Андреевичем Жуковским.

В заключение скажу, что Анна Алексеевна, продолжая семейную традицию, передала много рукописных материалов, связанных с литераторами Серебряного века, в музей А. А. Блока в Шахматове.

«Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа»*.

Замечание Пушкина подтверждает непреходящую ценность новых даров в музейные фонды. Нет слов, чтобы выразить искреннюю благодарность музея нашим бескорыстным дарителям — И. А. и А. А. Полонским.

*Г. СВЕТЛОВА, ведущий научный сотрудник
Государственного музея А. С. Пушкина*

Дар Н. В. Вырубова

В Париже, на авеню Йена, в десяти минутах ходьбы от Триумфальной арки находится удивительный дом. Это понимаешь сразу же, когда, пройдя через крытый дворик, сквозь большую стеклянную дверь видишь холл, стены которого густо увешаны старинными картинами. Холсты старых мастеров и изящные, искусно раскрашенные от руки гравюры встречают вас и в комнатах, обстановка которых отличается каким-то особым обаянием и соразмерностью. Здесь очень много русского: виды пушкинского Петербурга непринужденно соседствуют с «галантными» французами, а императрица Екатерина II величаво улыбается щеголеватому красавцу — маршалу Франции Иоахиму Мюрату. В таком уютном жилище есть что-то от дворца вельможи века Просвещения, описанного когда-то Пушкиным: «книгохранилище, кумиры и картины...». Хозяин этого дома — гражданин Франции, русский дворянин Николай Васильевич Вырубов.

Сын видного земского деятеля, занимавшего в первом составе Временного правительства пост товарища министра внутренних дел, Николай Васильевич родился в Орле в 1915 году. Рано потеряв мать и оказавшись разлученным с отцом, не имевшим возможности вернуться из-за границы после Октябрьской революции, он жил под чужим именем и был вывезен в Европу восьмилетним. Рос во Франции. Незадолго до начала второй мировой войны стал студентом Оксфорда. Узнав об оккупации Франции немцами, записался добровольцем в создававшийся тогда в Англии отряд генерала де Голля. В рядах этого воинского формирования прошел Сирию, Ливию, Тунис, Италию, юг Франции, Эльзас. Несколько раз был ранен. Награжден за мужество двумя Военными крестами, орденом Почетного легиона и Орденом освобождения. После окончания войны работал в различных структурах ООН: сначала — переводчиком, затем — чиновником по социальным вопросам. Жил в Корее, Германии, Австрии, Англии. В 1958 году вернулся во Францию. Занимался проблемами беженцев. Был помощником министра по вопросам возвращенцев из Северной Африки. В 1963 году возглавил одну из авторитетнейших организаций русского зарубежья — Земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей — и руководил ей до 1990 года.

Мне посчастливилось познакомиться с Николаем Васильевичем благодаря дару, переданному им в Государственный музей А. С. Пушкина в апреле 1994 года. Это были две русские миниатюры первой трети XIX века. На одной из них, выполненной акварелью и гуашью на костяной пластине в конце 1800-х годов, неизвестный художник изобразил Николая Андреевича Небольсина. Современник Пушкина и человек одного с ним круга, Небольсин не мог не встречаться с поэтом хотя бы в силу своего служебного положения (с 1829 года Николай Андреевич занимал пост московского гражданского губернатора). Косвенным подтверждением этому служит письмо Пушкина к жене, написанное в начале октября 1832 года, где, говоря об урегулировании имущественных вопросов, связанных с болезненным состоянием его тестя, Николая Афанасьевича Гончарова, поэт упоминает о предстоящем освидетельствовании большого гражданским губернатором Н. А. Небольсиным.

На второй миниатюре (также работы неизвестного художника) — выполненный в начале 1820-х годов акварельный портрет первой жены Николая Андреевича Небольсина — Евдокии Дмитриевны, урожденной княжны Львовой. Евдокия Дмит-

* А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 тт. М.—Л., 1958, т. 7, с. 410.

риевна Небольсина умерла в 1825 году в возрасте 29 лет. Ее племянница Евдокия Александровна Львова была замужем за прадедом Николая Васильевича Вырубова.

По устоявшейся традиции каждый дар музею отмечается благодарственным письмом. Именно такое письмо мне и надлежало передать Николаю Васильевичу. Зная о его занятости, я рассчитывал на «протокольные» десять минут встречи, однако все сложилось иначе. С живым интересом расспрашивая о московских новостях, о музее (где ему ни разу не удалось побывать, но где уже хранился его дар), хозяин дома охотно отвечал на мои вопросы и рассказывал о вещах, нас окружавших. Мое внимание привлекла забавная французская карикатура 1814 года на русских военных. Заметив это, Николай Васильевич поинтересовался, собирает ли музей подобный материал, и, услышав утвердительный ответ, явно обрадованный, произнес: «В моем деревенском доме есть целая папка похожих листов. Вы заберите их для вашего музея». Затем, взглянув на меня и, вероятно, увидев растерянное выражение моего лица, улыбнулся и добавил: «Я благодарен вам за то, что вы вывели меня из затруднительного положения. Последние полчаса я думал: что бы подарить музею? Вы помогли мне».

Неделю спустя я вновь сидел в том же кресле, возле ножки которого на этот раз стояла изящная черная папка, а на столике передо мной были разложены семь иллюминированных акварелью гравюр, выполненных французскими художниками в 1814—1815 годах и рассказывавших о пребывании русских войск в покоренном Париже. Большое количество таких гравированных картинок — отдельных листов, а зачастую и целых серий — появилось в лавках парижских книготорговцев уже через несколько недель после вступления союзных армий в город. Как правило, это были либо изображения мундиров различных родов войск в армиях союзников, либо сценки военного быта, либо карикатуры — нередко весьма злые.

Подписи к трем гравюрам — «Русские мундиры», «Русские солдаты и офицеры» (серия «Кто это?») и «Русские офицеры и генералы» (серия «Военный мундир. Россия») — говорили сами за себя. На остальных листах красочно изображалась жизнь русских офицеров в Пале-Руаяле.

Пале-Руаяль — дворец, площадь, галереи, театр — начиная с XVII века превратился в европейскую Мекку гурманов и любителей разнообразных удовольствий. Под его арками размещались известнейшие рестораны Франции: «Вер», «Гран Вефур», «Труа фрер провансо». Описание одного дома (вернее, секции галереи) Пале-Руаяля, как бы представляющее срез, характерный для всего этого места, дает в своих дневниках знакомый Пушкина, известный московский историк, археолог и нумизмат, а в 1814 году — поручик лейб-гвардии Конного полка Александр Дмитриевич Чертков: «№ 113 в Пале-Рояле; на третьем этаже — сборище публичных девок, на втором — игра в рулетку, на антресолях — ссудная касса, на первом этаже — оружейная мастерская. Этот дом — подробная и истинная картина того, к чему приводит разгул страстей». Свидетельство Черткова позволяет понять смысл вынесенных в заглавие одной из гравюр слов изображенного на карикатуре русского офицера, который, стоя перед галереей Пале-Руаяля и глядя на веселых парижанок, говорит своему приятелю: «Пойдем посмотрим, не подняться ли наверх?»

На других «пале-руаяльских» карикатурах — «Первый шаг молодого казачьего офицера в Пале-Руаяле» и «Прощание с Пале-Руаялем, или Последствия первого шага» — демонстрируется развитие сюжета, объединенного вокруг одного героя. Этот застенчивый юноша-казак с длинными ресницами и румяными щеками — счастливая находка французских гравюров, излюбленный персонаж, без которого трудно вообразить себе «русские серии» 1814—1815 годов. Но если, представ перед нами впервые, он, потупив глаза, еще лишь робко знакомится с французскими кокотками, то при следующей встрече он же, но уже в окружении товарищей по несчастью стыдливо принимает из рук врача лекарства от болезни, которую в пушкинское время было принято называть «французской».

Гравюры были хороши, и ни одна из них не повторяла уже имевшиеся в музейном собрании. Однако главное потрясение, как выяснилось вскоре, ожидало меня впереди... Пока я разглядывал карикатуры, Николай Васильевич вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся оттуда, держа в руках потертую, полуразвалившуюся папку, на верхней крышке которой была наклеена этикетка с еще четкой надписью, сделанной коричневыми орешковыми чернилами: «Бумаги детей Вырубовых». Папка была плотно набита. Протянув ее мне, Николай Васильевич сказал: «Это наш семейный архив. Я хотел бы, чтобы он хранился в России. Что вы могли бы мне посоветовать?» Я развязал тесемки, и в моих руках оказалась увесистая кипа старых документов: указов об отставках и духовных завещаний, раздельных и купчих крепостей, описей имений и прошений в различные инстанции по судебным делам о спорных землях. Позже выяснилось, что в папке находилось свыше ста документов на двухстах четырех листах, что самый ранний из них датировался 1783

годом, а самый поздний — 1902-м. Но в тот момент, перебирая эти серые, бледно-желтые и голубоватые листы тряпичной бумаги, я вспоминал рассказ Николая Васильевича о том, как тяжело, зачастую не имея возможности взять с собой самое необходимое, покидали Россию его близкие, и думал, что, несмотря на это, они сумели провезти через границы и сохранить через годы бумаги, в которых — полуторавековая история рода...

В тот вечер я убедил Николая Васильевича передать документы в рукописный отдел нашего музея. Но лишь позже в гостинице, разбирая их один за другим, я смог оценить, сколь интересны они для исследования. Текст первого же прочитанного документа (бумаги в папке лежали нерассортированными, вперемешку) настолько занял мое воображение, что я возвращался к нему несколько раз. Речь в бумаге шла о судьбе постронного в XVIII веке московского особняка Вырубовых. Он находился в Демидовском переулке — в Басманной части — неподалеку от тех мест, где провел свое детство Пушкин, по соседству с домом дяди поэта — Василия Львовича. Оба эти особняка сгорели во время пожара 1812 года. Вскоре после изгнания французских властей стали принимать от погорельцев прошения с перечнем потерянного имущества и указанием цены, за оное причитающейся. Одно из них было подано Анной Петровной Вырубовой. Текст документа, «со слов просительницы сочиненный и писанный коллежским регистратором Кочетовым» в «генваре 1813 года», показался мне примечательным по обилию характерных признаков времени и любопытных примет быта, явственно сквозящих через него проступающих. В прошении говорилось:

«Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Александр Павлович — Самодержец Всероссийский, Государь Всемилоостивейший.

Просит дочь действительного статского советника, камергера, сенатора и разных орденов кавалера Петра Ивановича Вырубова девица Анна Петрова, дочь Вырубова.

Жительство я имела в Москве Басманной части в собственном своем доме, который, а равно и имение мое во время бывшего в Москве неприятеля сгорело. Приглааю оному регистру с назначением по долгу христианскому и чистой совести цены.

Дом состоящий в 3-х флигелях стоил 40 000 [рублей]. 18 картин писанных на масле — 1500. Фарфоровой посуды на 3000. Хрустальной посуды на 1500. Сервиз фарфоровой английской — 1000. Чернилица серебряная весом 2 1/2 фунта — 250. Вещей золотых с бриллиантами и изумрудами — 1500. Шаль турецкая — 1000. Шуба чернубурых лисиц крытая черным отласом — 1000. 80 пар платьев из разной материи женских — 4000. 1 карета четвероместная и 1 двуместная — 4000. Разных винов в погребе — 2000. Запас годовой, как то: мука, крупы, масло, овес, сено, дрова, сахар, чай, кофей, свечи восковые и прочее — 2500. Одежда дворовых людей и имущество, им принадлежащее — 1500. Кровать китайская рисованная по гарнитуру с серебром — 1500. мехов разнородных: соболей, горностаев, лисьих, беличьих — 1000. Разных книг коих звание не упомяну на 400. Гитара — 100...»*

Я вчитывался в «Регистр», и мне казалось, что это своеобразный путеводитель по неторопливому и обильному «боярскому дому» Москвы пушкинского детства — города, где, по словам поэта, «жили по-своему, забавлялись, как хотели» люди «независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству». И еще я думал о той странной, долгой и тяжелой дороге, которая привела этот пожелтевший от времени лист гербовой бумаги из слепожарной Москвы 1813 года в Париж года 1994-го...

У музейных даров есть чудесное свойство: хранимые в выставочных залах или фондовых помещениях, они сами сохраняют память о своих владельцах-дарителях.

Дар, полученный из Франции, еще описывается и изучается. Его полномасштабное осмысление, несомненно, впереди. Но имя и судьба Николая Васильевича Вырубова — это уже частица судьбы и истории Московского пушкинского музея.

*А. Я. НЕВСКИЙ, старший научный сотрудник
Государственного музея А. С. Пушкина*

* Текст прошения Анны Петровны Вырубовой печатается с незначительными сокращениями, с сохранением особенностей орфографии и пунктуации оригинала. — А. Н.

Вячеслав КУРИЦЫН

Поэт – Милицанер

«Пригов как Пушкин». За такую категорическую формулировку отвечаю не я, а редакция журнала «Театр», опубликовавшая некогда под таким названием интервью с Дмитрием Александровичем. Но название это не случайно хотя бы тем, что маска Великого Поэта для Пригова очень важна (о чем, собственно, у нас и пойдет сейчас речь). Эту вполне игровую ситуацию заострила и перевела в более содержательный план январская кончина признанного лидера современной отечественной поэзии. В посвященном его смерти выпуске самой стильной художественной телелепередачи «Намедни» Пригов оказался единственным участником из актуальных русских писателей. И высказывание его носило весьма концептуальный характер: вместе с Бродским окончательно ушла в прошлое эпоха, когда вообще был возможен жанр Великой Поэзии.

Пригов последовательнее и успешнее любого другого нашего литератора утверждает приоритет творческого поведения над собственно «творчеством», все время говорит о стратегиях, жестах, конструировании имиджа и других столь же правильных «контекстуалистских» вещах. Стоит оговориться, что само по себе внимание к имиджу и жесту не может однозначно служить характеристикой постмодернистской эстетики. По словам М. Л. Гаспарова, «только в доромантическую эпоху, чтобы быть поэтом, достаточно было писать хорошие стихи. Начиная с романтизма — а особенно в нашем веке, — «быть поэтом» стало особой заботой, и старания писателей создавать свой собственный образ достигли ювелирной изощренности. В XIX веке искуснее всего это делал Лермонтов, а в XX веке еще искуснее — Анна Ахматова». Но важна разница между тем, кто лепит свой образ, чтобы воздействовать на окружающих, и тем (в нашем случае Приговым), кто воздействует заявлением о том, что считает главным именно лепку образа. Тактика из средства достижения каких-то более-менее тайных целей превращается в предлагаемый рынку артефакт: тактика не техника, а произведение. Пригов только и говорит о том, что следует заниматься стратегиями («Мне однажды приносят стихотворение, говорят: «Почитай». Неплохое акмеистическое стихотворение, может, известного мне акмеиста, а может, нет. Объясняют: «Нет, это написал наш сосед». Я говорю: «Тогда это абсолютно неинтересное стихотворение». — «Но он специально так пишет». — «Тогда интересно»). Некая пикантность ситуации заключается в том, что занятия стратегиями в нашем контексте можно свести в основном к говорению о необходимости заниматься стратегиями. Имидж Пригова прежде всего не имидж человека с имиджем, а имидж человека, говорящего об имидже.

Шутовское, «юродское» поведение Пригова, заходящегося на сцене в мелкой пляске и орущего с телеэкрана кикиморой, представляется нам не столько конкретным имиджем («Пригов имеет такой-то имидж»), сколько абстрактным знаком игры, сигналом о том, что этот человек — «стратег». идеей имиджевости. Шут, юродивый — это нулевая степень имиджевости, это может позволить себе только «первый» Пригов, остальным желающим играть в подобные игры приходится уже конкретизировать свои имиджи. Таким образом, Пригов в постмодернистском контексте ухитряется моделировать себя как Главного Поэта, о чем ниже у нас еще пойдет речь.

Отдельного упоминания требует другая важная подробность имиджа Пригова: а именно сюжет с количеством его стихов. «Я... хотел написать 20 тысяч стихов к 2000 году. Потом понял, что сходство цифр здесь достаточно внешнее. И решил написать двадцать четыре тысячи. Эта идея гораздо красивее: по стихотворению на каждый месяц двух предшествующих тысячелетий и по стихотворению на каждый день моей жизни. Но поскольку «встречный» план был принят довольно поздно,

пришлось повысить дневную норму. Для меня стихотворение — то же самое, как каждая тонна угля есть малый вклад в валовое производство при плановой экономике». Эстетическим событием здесь становится чистый объем — вне его практических характеристик (в разговорах об искусстве они традиционно мыслятся как характеристики качественные): конечно, тут сильно влияние советской культуры с ее умением превращать в общегосударственные эмблемы вполне бесполезные или даже дутые рекорды типа рекорда Стаханова — в высшей степени удивительный жанр, в котором идеологический симулякр был гораздо реальнее так называемой реальности. Пригов осуществил гениальную интуицию соцреализма — сделал искусство полностью плановым. Но так как соцреализм мыслит себя в качестве вершины мирового искусства, так и постсоветский жест легко замыкается на вечности — на мифе Великого Труда, подвижничестве ради культуры, на великопной ответственности за каждый месяц истории всего человечества. Собственно говоря, Пригов берется заново описать ВЕСЬ мир, то есть в определенном смысле стать его сотворцом.

Общепостмодернистский тезис о том, что всякое искусство, в том числе и искусство признающего этот тезис, есть воля к тотальной власти, может порождать разные индивидуальные тактики. Вариант Пригова представляется нам вполне остроумным. Впрямую сталкивая Поэта и Милицанера, Пригов признает, что Поэт, не актуализировавший свою тотальность в реальную власть, ниже Милицанера:

В буфете Дома Литераторов
 Пьет пиво милиционер
 Пьет на обычный свой манер
 Не видя даже литераторов
 Они же смотрят на него —
 Вокруг него светло и пусто
 И все их разные искусства
 При нем не значат ничего
 Он представляет собой Жизнь
 Явившуюся в форме долга
 Жизнь кратка, а искусство — долго
 И в схватке побеждает Жизнь

Признав, таким образом, — можно скаламбурить: таким имиджем — метафизическое господство Милицанера, поставив его в некий онтологический центр («Вокруг него светло и пусто»), признав даже и эстетическое его превосходство («Нет прекраснее примера / Где прекрасней он, пример / Чем один Милицанер / Да на другого Милицанера / Пристрастно взирающий...»), признав, в общем, малую свою правомочность на метавысказывание, поэт обращается к высказываниям частным: разбивается на десяток классических постмодернистских масок, пишет стихи «от лица» проститутки и невесты Гитлера, гомосексуалиста и садиста, работает с дискурсом своих братьев в концептуализме Сорокина и Рубинштейна.

Идеология такого приема ясна: авторитетная авторская речь абсолютна, а потому либо тоталитарна (до трансмутации в собственно власть, до террора), либо невозможна, есть только маски, имиджи, моделируемые заново в каждой новой ситуации, и маски эти не предполагают никакого «истинного лица»: поэт — это разные маски, а не Поэт плюс разные маски. Пригов, однако, позволяет себе высказывания, нарушающие эту теоретическую идиллию: говорит о том, что он выступает в качестве режиссера и дирижера этих масок. Такому повороту событий искренне удивляется германский исследователь Вольф Шмид, указывающий, что в постмодернистском контексте невозможна такая режиссура, невозможна «подлинная» фигура, стоящая за масками. Дело, очевидно, в том, что, публично уступив условному Милицанеру право на Власть, Пригов не отказался от желания какими-то тайными тропами продолжать утверждать некую метафункцию поэта. Проект Пригова — быть великим поэтом в эпоху постмодернизма, когда великих поэтов по определению — в том числе по его собственному определению — быть не может. Ну, или создать имидж великого поэта, что в данном случае и значит быть великим поэтом. И стихи Пригова, написанные под разными имиджами, очень редко сильно отличаются по интонации, скорее похожи друг на друга, персонажность если заявлена, то заявлена только тематически, но никак не стилистически. Пригов как бы не снисходит до того, чтобы «вживаться» в свои маски, ему достаточно их породить, — а главное, мы действительно можем говорить о Пригове, находящемся вне масок, то есть в какой-то метапозиции. В позиции автора «предуведомлений», который каждый раз — пусть и с разной степенью внятности и осмысленности — вводит свой

очередной цикл в общекультурный контекст. То есть в какой-то степени наделен волей и способностью к классификации, к метаописанию.

«Пригов как Пушкин» — это название, наверное, еще и не в полной мере характеризует претензии Дмитрия Александровича Пригова, даже если понимать Пушкина не как конкретную фигуру, а как символ солнца русской поэзии. Пригов состоит в переписке со всеми русскими классиками — и с Толстым, и с Шолоховым, получает от них поздравительные письма, к нему обращаются с вопросами Достоевский, Сталин и Пушкин (об «определенной близорукости» последнего говорит тот факт, что он не упоминает имя Пригова в своих произведениях), он пишет максимы в духе Заратустры и заповеди в духе Христа («Воруя, воруй со смыслом, обдумай все заранее, не зарываясь, бери нужное, думай о последствиях или вовсе не воруй»), словом, уступает Милицанеру только формальную власть или же, что, может быть, более корректно, занимает место великого Поэта-Милицанера.

Во многих своих циклах Пригов берет на себя совершенно метафизическое право на общий знаменатель. Ю. М. Лотман в одном из интервью удивляется, «...почему так много культуры, почему она должна быть всегда так богата... Почему, имея поэзию, надо иметь еще прозу? Почему, имея прозу, надо иметь театр, надо иметь кинематограф? Имея кинематограф, иметь цирк?». Это достаточно позитивистская или даже модернистская установка — удивляться разнообразию. Которое совершенно естественно: в природе одних жуков или стрекоз больше, чем у человечества каких-нибудь художественных стилей или даже номинаций в Книге рекордов Гиннеса. Если мы — исходя, допустим, из принципов демократии — признаем за каждым право на индивидуальное безумие, то нам не придется удивляться многообразию его проявлений. Удивительно другое — как возможны совпадения? Как во всем этом бесконечно многообразном мире можно найти общность, помыслить схожесть, зафиксировать мысль на какой-то конкретной точке? Как можно принять на себя ответственность за общий знаменатель?

Вон там вот воздух, вон там водичка
Вон там вот братик, вон там сестричка
А там земличка чего-то взрыта
А, наверно, чего зарыто —
Трупик, наверно

XXX

Вон там вот кухня, вон там вот ванна
Какая кухня? Какая ванна?
А просто кухня и просто ванна
А что под ванной так пахнет
странно? —
А трупик, наверно, залежался

XXX

Вон там вот Пушкин, там Достоевский
Вон там вот Горький, там Маяковский
Вон там вот Цезарь, вон там Чапаев
А там вот Пригов чего копает —
А трупик, наверно, откапывает
Наш
Общий

Это три стихотворения из цикла Пригова «Книга о счастье». «Человек в пейзаже» — быт — историческая мифология: три совершенно разных сюжета с необычайной легкостью сводятся автором к одному смысловому комплексу: собственно, речь вновь о том, что Пригов не столько делает текст, сколько уведомляет окружающих о своем праве на жест такого сведения. Собственно, на жест Бога. Почему такие тексты легко и уместно воспринимаются в постмодернистском контексте? Сейчас мы имеем в виду уже не только стихи Пригова, но и, например, один из эффектов Сорокина, который способен двадцать, тридцать, сорок раз подряд воспроизводить один и тот же прием. Существуют яростные противники такого рода письма, уличающие его в убогости и примитивности. Существуют, однако, и преданные его сторонники, находящие в нем, например, телесное наслаждение. В идеологическом же плане такие «примитивные» фигуры близки постмодернистскому сознанию потому, что оно всегда готово удивляться совпадению. Тавтология, повтор для него

невозможны, ибо предполагают идею Бога, и это всякий раз заморожено тавтологией и повтором. Всякий повтор для него — откровенное чудо.

Впрочем, в еще одном фирменном приеме Пригова — может быть, самом фирменном — проблема авторитетного голоса решается в несколько ином ключе: не моделированием невозможной фигуры метапозта, а демонстрацией того, что авторитетный голос, который, безусловно, жаждет существовать и потому, конечно, существует, делает это в смазанном виде — скорее в виде своего отпечатка, дерридианского следа. Я имею в виду то, что уже получило имя «приговской строки» (термин предложен Андреем Зориним). Это короткая строчка, последняя в стихотворении, которая появляется уже как бы после его семантической и синтаксической исчерпанности, в виде своеобразного довеска.

Не хотелось бы исключать психосоматической связи между этой строкой и советским гастрономическим жанром довеска: когда вы покупали триста граммов колбасы, а весы вытягивали двести восемьдесят, продавщица отрезала еще один (иногда два) маленьких кусочка, чтобы стрелка показывала круглую цифру. Ровная противоположность буржуазному подходу к весу еды — сколько отрезалось, на столько и выписывается чек. Конечно, тут важен факт наличия или отсутствия электронных весов. Но не менее важна и советская мифология законченных смыслов, значит, и круглых, «законченных» чисел (в Великой Отечественной войне погибли двадцать миллионов советских граждан, а не двадцать один и не двадцать два с долями). Смысл должен быть целокупен, и, если смысла не достало, следует учредить довесок. В детстве мы очень любили такие ошибки — своего рода «опечатки» — продавца: сверток тут же разворачивался, и довесок вручался нам и очень сладко ложился на язык. Нечаянная радость: стихотворение уже закончилось, но Пригов дарит нам еще одну строку. Впрочем, маленький фрагмент еды, съедаемый по пути домой, ассоциируется в советском тексте и с другими серьезными вещами — с блокадным или просто военным пайком (в этой связи см. пример приговской строки в ахматовском «Мужестве»), с лагерным пайком. (Традиционный блокадный сюжет: пайка, нечаянно съеденная по дороге домой, — как и колбасный довесок, но последний без трагических коннотаций.) Тогда добавку можно интерпретировать как эффект советского сознания. Слишком хорошо усвоившего опыт жажды и голода (тема эта Пригову безразлична: «конфеточку нарезывает/ И на хлеб кладет/ О, деточка болезная/ Послевоенных лет»).

Но в любом случае речь идет о даре. Приговской строкой Пригов утверждает себя в качестве Дарующего — то есть вновь в качестве некоего метасубъекта. Он как бы оставляет за собой Последнее Слово (можно было бы предположить, что если основной текст стиха написан условным персонажем, то приговская строка принадлежит условному автору). Статус всякого Дара и Последнего Слова подчеркнуто метафизичен. Но синтаксическая двусмысленность подмывает основания этой метафизики. Либо приговская строка добавляет что-нибудь крайне несущественное, избыточное, пустое, либо и-так-понятное, что ограничивает трансцендентные претензии самого жанра Последнего Слова:

И видел — над Кубой всходила луна
И мертвые губы шептали: «Хрена
вам».

Другой пример:

В Японии я б был Катулл
А в Риме был бы Хокусаем
А вот в России я тот самый
Что вот в Японии — Катулл
А в Риме — чистым Хокусаем
Был бы

Здесь в приговскую строку вынесена собственно метафизика, модальность бытийственности — тем отчетливее ее, метафизики, никчемность, необязательность, довесочность, «несерьезность».



Пушкин разнообразен и непостижим. Пушкин один и прост, но притом не делается понятнее. Любая строка его требует развернутых примечаний, чтобы постичь небольшое стихотворение, следует перелистать — или вызубрить наизусть — десятки книг на разных языках.

Однако вопросов не становится меньше. И потому хочется если уж не ответить на них, то по крайней мере поразмышлять, откуда эти вопросы берутся, что является причиной многих и многих загадок.

Автор и составитель всех материалов библиотеки — критик Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.

За гробом шел один Сальери...

•
А. С. Пушкин. Дневники. Записки. Издание подготовила Я. Л. Левкович. Санкт-Петербург, «Наука», 1995.

•
Одна стихотворная строфа без каких бы то ни было комментариев может дать иногда больше, чем самая подробная монография, выстроенная на документах.

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С годами вытерпеть умел;
Кто странным сном не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был фронт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N.N. прекрасный человек.

То ли он не обжился на этой земле и едва достиг половины им самим описанного пути, то ли интенсивность пушкинской жизни не оставляла сил для действий и проявлений человека частного, то ли, и скорее всего, талант частного человека у него отсутствовал (хотя, на мой взгляд, числиться по России куда проще, чем жить в ней), — что бы там ни было, от личных записок остались одни клочки, отточия, сокращения. Перерывы свидетельствуют о том, что частность размене-

на, обойдена, личность выплеснута через край в жизнь общественную.

Итак, записки он не закончил. Дневников регулярно не вел, а те, что вел, впоследствии по разным причинам уничтожил. Фрагменты, наброски и планы уже второе столетие дают пропитание и занятие многолюдному племени исследователей. Но и после того остаются обильные недомолвки, описки, сокращения, и всякий, кто хотел бы стать пушкинистом, может обратиться к текстам, чтобы иметь себе дело в течение лет и лет.

Вот хотя бы такой отрывок: «6[?] пов. 1823 20 р а. А.». И его довольно, чтобы построить по крайней мере три полновесные версии написанного, восстановив то, что Пушкин не дописал, и хотел ли дописывать, кто ведает? Предполагают, что он был должен некому Алексею то ли двадцать рублей ассигнациями, то ли двадцать страниц, ибо названный Алексей был переписчиком. Или и такое возможно — некий Алексеев должен был ему те же двадцать рублей ассигнациями. Только боязнь самому попасть в ряды пушкинистов не дает мне написать пространное исследование еще об одной возможности. А что если Пушкин должен был переписать некому таинственному А., благоразумно скрывшемуся за точкой, какие-то двадцать страниц? Великодушно оставляю эту гипотезу на разживу какому-нибудь начинающему литературоведу, желающему заниматься Пушкиным, но пока затрудненному, что за вопрос ему выбрать.

Это касательно недоговорок. То же, что выговорилось и притом осталось, пощаженное временем и авторской рукой, часто выглядит странновато. Хотя бы такой отрывок из названного условно «Кавказского дневника». В исчезнувшем селении Татартуб Пушкин увидел минарет: «Кругом его высокие горы. Он стройно возвышается между горами камней на берегу иссохшего потока — памятник, пе-

реживший многое. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался на то место, где уже не раздается голос муллы. — Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах проезжими офицерами. — Суета сует. Гр. П. последовал за мною. — Он начертал на кирпиче имя ему любезное — имя своей жены — счастливая — а я свое

Любите самого себя,

Любезный милый мой читатель».

Разумеется, бывают и куда более странные сближения. Но автор благоразумно исправил этот пассаж перед тем, как ввести его в текст «Путешествия в Арзрум». Нет там ни слова и о том, как смущенная просьбой о поцелуе калмычка огрела поэта «мусийским орудием».

Ничего этого нет, так же, как нет Пушкина-историографа. Желание отметить во всех жанрах осталось благим, но желанием. Замах на большую историю, в пору карамзинской, был только намерением. Заботы, а главное — стихи, оторвали от занятий. А вдруг это и к лучшему? Иметь еще одну громадную и неподъемную потому историю нашей страдальческой земли, где между строк была бы полемика с другими историографами, что бы это прибавило к нашему пониманию пушкинской личности и к пониманию России? Зато отдельные наброски, мелкие отрывки и всяческого рода планы больше говорят о будущем, чем о прошлом.

Уничтожение пушкинских записок и дневников, запрет самому себе говорить полную правду — все это предвосхитило наш нынешний век: уничтожение архивов, молчание мемуаристов, бумажный пепел, летавший по улицам в конце тридцатых годов. Если пушкинские остроты вроде красного словца: «Точность — вежливость поваров» на сотню лет опередили бонмо Маяковского «Не плюй в колодец — вылетит, не поймаешь», это свидетельствует лишь о том, что юмористика исчерпала свои приемы и вызревает новый тип юмора, зато совпадения фактографические подтверждают — время идет, а мало что меняется.

«Черкесы нас ненавидят, и Русские в долгу не остаются. — Мы вытеснили их из привольных пастбищ — аулы их разрушены — целые племена уничтожены. — Они далее, далее уходят и стесняются в горах, и оттуда направляют свои набеги — дружба мирных черкесов не надежна. — Они всегда готовы помочь буйным своим одноплеменникам. Все меры, предпринимаемые к их укрощению, были тщетны. — Но меры жестокие более действительны. — <Древний> дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков — никогда на пехоту, и бегут, завидя пушки. — Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд — или на беззащитного. <...>

Кинжал и шашка суть члены их тела — и младенец начинает владе<ть> ими прежде, нежели языком. — У них убийство — простое телодвижение. — Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обхо-

дятся с ними с ужасным бесчеловечием — заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, — и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их избить своими детскими шашками. Что делать с таким народом?

Пока Черкес вооруженный не будет почитаться вне закона, можно попробовать влияние роскоши — новые потребности мало-помалу сближат с нами черкесов — самовар был бы важным нововведением».

Слова эти живо напомним кому выступления «Независимой газеты», кому «Московского комсомольца», а кому — газеты «Завтра». Проектерство, построенное на слухах и ставшее частью мировосприятия, родилось не вчера. И если в прошлом веке в словах этих были и новизна, и ясность, то сейчас это осталось лишь пустыми словами, рожденными по привычке. Видимо, в свое время не хватило самоваров, ибо колонизация Кавказа остановилась на целых полтора столетия. Вот и выходит, что в мире все взаимосвязано и действия легкой промышленности или промышленности пищевой отражаются и на международных интересах, и на внутренней политике, и на чем только можно.

Пушкинские слова, взятые из статей и набросков, в отличие от поэтических пассажей, к сожалению, разошлись на цитаты, и их повторяют все, кому не лень. Наша суетность и попытки отметить по любому поводу требуют цитат, а жажда повторения у людей двадцатого века растворена в крови. Тут сказывается желание что-то изречь и притом не отвечать ни за единую букву. Пушкинские обороты легко запоминаются, выговорено крепко. И кто обратит внимание, что перед глазами — пробы, наброски, являющиеся часто не прозрение ума, а известную бойкость пера. Автор подобрал обороты, учился говорить по-русски, перелагая достижения других культур на новый язык. Недаром ссылки на французских мыслителей, недаром перечитывал, как утверждают комментаторы, «Застольные разговоры» Кольриджа.

И постольку, поскольку это пробы, попытки, — следует признаться: Пушкин не всегда прав, порою он утверждает в запальчивости либо в раздражении вещи несправедливые, по крайней мере недоказанные. А получается, что, изреченные его устами, они становятся как бы неподвластными критике, абсолютными. Сколько глупцов с серьезным видом повторяют: «В первое представление «Дон Жуана», в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, — раздался свист — все обратились с негодованием, и знаменитый Салиери вышел из залы, в бешенстве, снедаемый завистью.

Салиери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта.

Завистник, который мог освидетельствовать «Д<он> Ж<уана>», мог отравить его творца».

Было ли так на самом деле, не знает никто. Но получилось, что клевета или сплетня повторены человеком, каждое слово которого может стать цитатой. Случайно ли это или на то имеются особые условия?

Пушкин долго раздумывал над мыслью, есть ли история череда случаев, и как бы она изменилась, если бы в свое время одно действие сменилось бы другим. Что случилось бы, когда б Лукреция дала пощечину Тарквинию?

Между тем больше и больше подтверждается, что история — не череда случайностей. Скорее это то, что происходит медленно и незаметно. О чем пишут в стихах, а не рассказывают анекдоты.

...За гробом шли не очень дружно,
Шли, незначительны числом,
Шли только потому, что нужно,
Злясь, что расстались с теплом.

А ветер, что же он затеял!
Дождем смочил кому-то плешь
И под конец совсем рассеял
Весь жалкий траурный кортеж.

Поспешно закрывались двери.
Гремел не то чтоб сильный гром.
За гробом шел один Сальери
И под дождем стоял потом.

Но что эти слова по сравнению с пушкинскими...

В красной рубашке и с предлинными ногтями...

●
**А. С. Пушкин. Тайные записки
1836 — 1837 годов. [Б. м.], М.Л.Р., [б.г.]**

Предположительный автор пушкинских «Тайных записок» Михаил Армалинский тихонько, но скандально известен. Для тех же, кто слышит о нем впервые и желает составить более глубокое впечатление, довольно будет перечислить названия его книг, выбранные почти наугад. Вот стихотворный сборник «Вразумленные страсти», а вот сборник стихов «По обе стороны оргазма» или книга рассказов «Мускулистая смерть».

И не умнику станет ясно: тут — с предельной разницей жанров — рвется наружу и прорывается нечто, томящее автора, и не важно, стихом или прозой выговорится это вслух. Но, впрочем, только ли Михаил Армалинский настойчивый и по-своему зрелый творец? Он еще и перевод-

чик маркиза де Сада, и составитель Первого альманаха русской эротической литературы «Соитие», и...

Не хватает слов, как не хватает их самому Армалинскому. Даром он, что ли, сочиняет либо (уж ладно), как пишет в предисловии, издает перевод с французского, сделанный пушкинистом с многозначительным именем Николай Павлович, оставшимся в России, в то время как автор предисловия давно оказался на Западе? Рукопись, разумеется, потеряна, осталась машинопись, по которой и публикуются записки.

Казалось бы, не стоит тратить время на этот нелепый лепет. Сколько исписано бумаги и разлито чернил пушкинистами и просто сочувствующими, доказывая, проклиная, уязвляя, что это подлог. Никто и не сомневается, кроме них самих, ибо втайне они хотели бы, чтобы еще какая-нибудь — любая! — рукопись, пусть листок, пусть несколько неизвестных строчек Пушкина, были найдены. Они бы все простили — скабрзности, несовершенств слога, суетность мыслей, если бы таковые обнаружили. Они бы убили себя и других, что именно так и надо. Лишь бы появилась рукопись, на худой конец копия, принадлежность текста которой великому русскому поэту можно было бы доказать.

Но, что было бы позволено Пушкину, запрещается Михаилу Армалинскому. И вот странность: инвективы инвективами, а книжечка живет и переиздается, пусть малыми тиражами, однако регулярно. На обороте титульного листа копирайты 1986, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995 годов. И куда-то ведь деваются изданные экземпляры, значит, находят для них читатели. И ничего, что по воле Создателя Пушкин все думает об одном и ему тоже не хватает слов, а потому он, не дрогнув верной рукой, каковую укрепили долгие занятия с железной тростью, пишет заветные слова, начинающиеся на «п» и «х», ничуть не стесняясь дописывать до конца в их бедности, но своеобразной сочности.

Кажется, сделав Пушкина героем этой книжечки, его менее всего хотели обидеть. Напротив, желали чуть ли не возвысить. Даже любовную неудачу с калмычкой, когда на голову поэта обрушился музыкальный инструмент, подобный нашей балалайке, здесь представили совершенно иначе, пусть дама, столь заинтересовавшая Пушкина, и поменяла свою национальность: «Башкирка, которую я встретил во время своего путешествия, едва могла произнести несколько исковерканных слов по-русски, но поняла меня с полувзгляда, а я понял ее. Я подарил ей колючку, и она вышла ко мне ночью в степь. О, как мы понимали друг друга!»

И все же следует признать: как есть «поморский» Пушкин или Пушкин «крестьянский», есть Пушкин «по Армалинскому» (да простится это слишком условное название). Не только все помыслы и все действия его направляют их величества «п» и «х», окружающий мир тоже сжимается, съезживается до размеров обыч-

ного бардака, не зря же Пушкин «Тайных записок» встречает Дантеса именно там.

В этом малом и узком мире привычные связи разрушаются, смыслы накладываются на смыслы и странно, противоестественно сопрягаются. Пушкин здесь одарен небывалыми страстями и несокрушимой потенцией и притом чаще занимает позицию наблюдателя, вуайера, подсматривающего в заветную щелку да хоть за тем же Дантесом. И так же изменяется, точнее, двойится облик Натальи Николаевны. Казалось бы, что она рядом с его африканским пылом? — русская девочка, волею судеб оказавшаяся в общезжитии Института Патрисы Лумумбы. Но, с другой стороны, она, что бы ни твердил создатель записок, в сознании читателей и почитателей — идеальная жена, а раз так, то под стать мужу. Ищет ли она утех на стороне, потому что ее томит семейная жизнь, и томит ли ее эта жизнь из-за отсутствия темперамента либо из-за избыточности его, выяснять бессмысленно. Перед читателем миф, а потому о психологическом правдоподобии и речи быть не может.

Рассуждения подобного рода, как бы ни казались они неприличны, стали возможны с пушкинского дозволения. Он слишком открыл посторонним взглядам свою личную жизнь и в действиях, и в разговорах, веселясь и играя, сказал много того, о чем бы следовало промолчать, будь то знаменитый «Донжуанский список», который настойчиво и безуспешно расшифровывают поколения исследователей, или выдохнутые легко слова стихотворения, обращенного к четырнадцатилетней девочке и полного откровенных двусмысленностей:

...Твоя весна
Тиха, ясна;
Для наслажденья
Ты рождена;
Час упоенья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви,
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.

Пушкин — имя это значит так много, так нагружено смыслом, что появление его может вызвать самую непредсказуемую смысловую реакцию: миф наполнен и замкнут, как сфера или Вселенная. Тем-то и любопытны книги, подобные «Тайным запискам». Любопытно, как известные факты и строки приобретают иное звучание. Да вспомним хотя бы классическое:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей...

В «Тайных записках» Пушкин, наоборот, будто позабывает о своих чрезмерно длинных ногтях, хотя и царапает ими женскую натуру то изнутри, то снаружи, причиняя и крепкую боль, и сладкое наслаждение. И, снова переворачиваясь впопору причудливой логике текста, а не причудливой логике сочинителя, этот мо-

тив становится значимым, приобретает inferнальный оттенок. Это уже не ногти — когти, и Пушкин, наделенный сверхтонким нюхом на запахи, распознающий любые физиологические изменения только обонянием, не более, одержимый беспредельной похотью и сам порождающий ее, вовсе уже не человек.

Дьявол? Вряд ли. А впрочем, что тут странного? Так ли он страшен, как привыкли его малевать? Пролистаем какой-нибудь подвернувшийся под руку том, где воспроизведены пушкинские автопортреты. Он-то не боялся представить себя то монахом, то арапом, то женщиной, то стариком и даже конем. И пушкинистам с почтением остается шептать: он примерял разные литературные маски. А какую маску он примеряет в этом автопортрете: волосы начесаны на лоб, и прядь торчит вперед, словно рожки? Рисовальщик опять что-то знал такое, о чем другим приходится безуспешно догадываться. А собственно, почему бы нет? Им же страшат, его именем усмиряют малых детей и бедных бесчисленных графоманов. Чуть что — словно чертик из ниоткуда. На любой табакерке из него выгравирована цитата, на каждой стене подходящая к случаю надпись, весьма противоречащая какой-нибудь на предыдущей, соседней стене.

И возникает в широко распахнутых глазах очевидца образ Пушкина, бродящего по ярмарке: «...в ситцевой красной рубашке, опоясавши голуубую ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными черными бакенбардами, которые более походят на бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около 1/2 дюж.».

Вот он, Пушкин. И рядом с ним «белый человек» — Дантес. Уж не ангел ли, светом осиянный? Нет, не только сближения, но и отталкивания бывают чрезвычайны. Вот ведь и Михаил Армалинский хотел издать чрезвычайный пасквиль, а выпустил в свет апокриф.

О возвращении блудного сына

Российская Академия наук. Институт русской литературы (Пушкинский дом). **Легенды и мифы о Пушкине.** Спб., Гуманитарное агентство «Академический проект», 1995.

Пушкин не дожил до времени всеобъемлющих и повальных опросных листов. И не дожил не оттого, что человеческий век короток, ибо еще М. Цветаева прозорливо заметила: «Ведь Пушкина убили,

потому что своей смертью он никогда бы не умер, жил бы вечно...» Но места в регламентированной поделенными на множество пунктов анкетами с их определенным и твердым ответом «да» либо «нет», отрицающих всяческую уклончивость, ему не было. Неоднозначность его поступков теперь очевидна.

«Был», да не так, «участвовал», да не этак. Вместо Пушкина-декабриста чуть ли не сервиллист, старательно пытающийся через хорошо продуманную систему поведения, частные письма и третьих лиц отрегулировать свои отношения с самодержцем. Вместо легкомысленного «аферириста» — человек, пусть, может быть, и не верующий глубоко, но пораженный и восхищенный высоким величием библейского слога и образов. И здесь следует отметить поразительную статью В. С. Листова с неудобочитаемым названием «Миф об «островном пророчестве» в творческом сознании Пушкина», статью, в которой автор по краткому примечанию — Каменный остров, сделанному в конце стихотворения, — заново перематривает пушкинское творчество и доказывает: Пушкин все время помнит об острове Патмос и о видении, которое было явлено там Иоанну Богослову, видении, из которого родился Апокалипсис. А потому, что каждое слово перекликается с другими, потому, что новый угол зрения родит и новое толкование, иначе рассматриваются и записанная с пушкинских слов повесть «Уединенный домик на Васильевском», где использован явно апокалиптический сюжет, и «Медный всадник», и даже знаменитый, будто бы изученный отсель досель «Памятник».

Кажется, одержимые пушкинисты рассматривают мелкие, частные вопросы, копошатся в архивах, восстанавливая утерянную буквицу, пропущенный слог, трудное сокращение, что-то уточняют и добавляют — кому и какое дело, что? А постепенно первоначальный смысл теряется, открывается новое, невиданное, рущатся те самые легенды и мифы, которыми окружено пушкинское имя. Уходят в прошлое — будь то витиеватые фантазии о масонстве Пушкина, будь насмешливая выдумка о несуществовавшей кольчуге Дантеса, — выдумка, которую с усердием подхватили и обстоятельные, вежливые, но легко воспламеняющиеся пушкиноведа, и нахальные, вечно торопящиеся верхогляды-журналисты, несть им числа и меры. Что там до дела чести, до нарушения этических норм эпохи — у нашей эпохи иные нормы. И тем, и другим выдуманная кольчуга пришлась впору.

Мифологизм фигуры Пушкина, равно и его окружения, настолько силен, что, зная, как обстоят дела с другими мифами, можно предположить: и Дантеса не было. Между тем он был. Он прожил долго и никак не мог понять, что от него хотят, в чем он виноват и почему ему все пеняют той старой дуэлью? Дуэлью, на которой он убил какого-то Пушкина, дуэлью, выигранной так давно и по правилам? Ведь он стрелял не в великого русского поэта.

Ему и вообще нет никакого дела до русской поэзии или прозы. К счастью, минуло достаточно времени, чтобы взглянуть на прошедшее по возможности объективно: «Выдвигаемые новые версии дуэльной истории, приведшей к гибели поэта, мы должны отдавать себе отчет, что каждая новая из них является по отношению к Пушкину версией обвинения (ведь тогда его вызов был не по адресу!)». Парадоксально, но верно: в этой дуэли было два потерпевших. Один заплатил жизнью и заслужил бессмертие, другой заработал бесславие и проклятия как прижизненно, так и по смерти.

Так получается неспроста, утверждает М. Н. Виролайнен, ибо Пушкин — современный культурный герой. Рядом с ним, используя его имя, рождаются легенды, создания чисто словесные, и мифы, «жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность», как отмечено в давней книге А. Ф. Лосева о диалектике мифа. Следовательно, и «животность», и «крайняя телесность», упоминаемые выше, не случайные выдумки, а неизбежность, присущая самому материалу.

Культурный герой просто необходим, потому что теряет стройность и рушится наша вселенная, главной чертой которой должна быть гармония. Вырываются на волю смыслы, вещи ищут и не находят предуказанные места, и тогда начинается бунт вещей. И разыгрывается фарс: появляются пластмассовые гусиное перо с пушкинским профилем и факсимиле, письменные приборы, этикетки, сумки и портсигары. Это кончится не завтра, ведь и началось не вчера. Прочитайте написанное еще в 1890 году: «Думал ли Пушкин когда-либо, что его изображение будет служить рекламою для... сбыта особого рода водки? <...> Между тем, оказывается, что священным для всякого образованного русского человека именем Пушкина осквернена одним из петербургских водочных заводов изготовляемая им водка, и существуют особого рода стеклянные бутылки, наружный вид которых представляет собой... не более не менее, как довольно верное изображение головы Пушкина с его типичными «африканскими чертами», выдающимися скулами и курчавыми волосами. <...> Итак, те любители водки, которые вместе с тем являются любителями... поэзии, имеют теперь возможность в одно и то же время пить живительную влагу и созерцать голову поэта».

Не странно — естественно, хоть печально: магия пушкинского имени и личности такова, что пытается в борьбе с одними, «низкими», мифами родить другие, «высокие», оттого не делающиеся лучше, — слишком большая серьезность (а миф неизбежно серьезен) вредна, даже опасна. Читаясь в длинную цитату из статьи М. Н. Виролайнен, заключающей сборник, чтобы увидеть всю абсурдность, точнее — невыносимую серьезность утверждений. И станет понятно, откуда берет начало тиражирование пушкинской судьбы, его высказываний, припоминаемых к мес-

ту и не к месту, а там и пакетов с его изображением, и пластмассовых гусиных перьев: то, что начинается без тени улыбки, неизбежно кончается гранд-гиньолом.

«Путь, пройденный Пушкиным, не воспроизводит никакой универсалии: он создает ее. И в этом смысле Пушкин является для новой русской истории классическим культурным героем.

Универсалия эта была обнаружена Н. В. Беляком... Выявленные им этапы пушкинского пути не есть этапы его творчества самого по себе или самой по себе его жизни. В них явлено то нераздельное единство жизни и творчества, к которому всегда стремились русские писатели.

Итак, вот эти этапы. Первый — детство, период дотворческий, предтворческий. Второй — период поэзии; он продолжался до 1825 г., когда был совершен третий принципиальный шаг: создание «Бориса Годунова», выход к драматургии. 1830 г. — следующий рубеж: написаны «Повести Белкина», освоена область прозы. В 1833 г. «Историей Пугачева» открывается поприще Пушкина-историка. Выход «Современника» в 1836 г. знаменует начало общественной деятельности Пушкина-журналиста. Последний, седьмой, этап, как и первый, лежит за пределами собственно творчества: он связан с событиями дуэльной истории 1836—1837 гг., когда Пушкин становится культурным героем в прямом смысле этого слова.

Дитя — поэт — драматург — прозаик — историк — общественный деятель — культурный герой».

И далее, чтобы подтвердить сказанное, многоумный автор обращается и к трудам Владимира Соловьева, и к статье Вяч. Иванова, и к докладу А. М. Панченко. Нет бы остановиться и задуматься, ибо у Пушкина отнимают главное — его индивидуальность, навязывая не нужную ему универсальность, эталонность гипсовой статуэтки. Нет бы засмеяться по-пушкински, во весь рот, ибо утверждение это по крайней мере нелепо, упомянутые универсалии остаются таковыми разве что для двух-трех исследователей, а жизнь пребывает жизнью, и каждый человек, понимая или нет, создает свои универсалии заново, торит свой собственный путь, независимо от чьих бы то ни было путей. Разве не напоминают эти увлеченные размышления поведение пушкинского же героя, что сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Стройная конструкция рассыпается прямо на глазах, потому что излишняя серьезность, как уже говорилось, опасна. Вот хотя бы один пример. Что мы помним о бедном Самсоне Вырине? То, как его обижали и обманывали проезжие, то бишь очередную историю о «маленьком человеке»? Да, притча о блудном сыне, упомянутая в той же статье, привлекала Пушкина, а вспомним, как он эту притчу переиначил, и сразу любая благоговей-

ность должна испариться. Ведь в «Станционном смотрителе» повествуется о возвращении блудной дочери, а это, согласитесь, совсем иное, и недаром картинка с библейским сюжетом, развешанные на стенах, только подчеркивают оксюморонность ситуации: «Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шафорке отпускает беспокройного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу: добрый старик в том же колпаке и шафорке выбегает к нему настречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине такой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи».

Именно потому, что не только исследования о Пушкине, но и его собственное творчество пытаются превратить в подобие приличных немецких стишков, где сходятся концы с концами, а каждой картинке соответствует подпись, и рождаются самые страшные рассказы о Пушкине-арапе, Пушкине-сатире, Пушкине-охальнике. Ведь Пушкин, и верно, своим существованием уравновешивает крайности, сохраняет этот мир от полного распада.

С каждым часом Пушкин делается все более апокрифичен. Ветшает наш бедный язык, а его по-прежнему обилен и щедр. Выцветают мысли, пока его мысли так же многообразны и неисчерпаемы, как и прежде.

Для нас остался не Пушкин, которого мы по своей лености и занятости не читаем, для нас остался Пушкин цитат, неодолимой школьной премудрости, Пушкин — «...русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

В этих гоголевских словах, особенно в кратком «может быть», яснее и яснее проступает гоголевская насмешка — не над Пушкиным, над нами. Он-то ведал, куда может завести это развитие. Впрочем, и мы сами, когда двести лет почти минули и осталась самая малость, крупицы времени, понимаем, что история двигалась не туда.

Нам от Пушкина остались легенды, выдуманнные разными лицами, в том числе им самим, остались мифы, возникающие по собственному произволению, да его веселое, звонкое имя. Вот оно — наше все...

В одном из ближайших номеров «Октября» будет напечатана заключительная, четвертая часть **ПЕРЕПИСКИ М. АЛДАНОВА** с выдающимися современниками — русскими эмигрантами Б. Зайцевым, Г. Адамовичем, Н. Тэффи. В эту публикацию войдут также отрывки из черновиков писателя, которые и сегодня представляют интерес не только для ученых-специалистов. Алданов — крупный политический мыслитель, остролов, мастер афоризма. Вот рассуждения героя о демократии, не вошедшие в окончательный текст романа «Начало конца»:

«Сюда входит и продажность, тоже во всех формах, включая и самую гадкую: продажное обличение продажности. Сюда входит министерский кавардак с кулуарными интригами, с торжеством невежества. Все это демократия, это ее свойства, которые на основании исторического опыта, вплоть до новых исторических данных, мы вынуждены считать неотъемлемыми. Но сюда входят также личная неприкосновенность, свобода мысли, человеческая независимость. Это тоже демократия. Это тоже ее основные неотъемлемые свойства. Логически не исключена возможность такой диктатуры, которая уважала бы и личную неприкосновенность, и человеческую независимость, и даже свободу мысли. Но история таких примеров, к несчастью, не дает: тут еще одно, тысячное по счету, поражение логики и разума».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года «Октябрь»
собирается опубликовать
на своих страницах:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Игорь ВОЛГИН. **«В виду безмолвного потомства...».** Достоевский и гибель русского императорского дома. Книга вторая.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. **Летит себе аэроплан.** Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Руслан КИРЕЕВ. **Виттинские легенды.** Рассказы.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы.**

Анатолий НАЙМАН. **Славный конец бесславных поколений.** Рассказы.

Олег ПАВЛОВ. **Дело Матюшина.** Повесть.
Записки из-под сапога. Рассказы.

Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1938 года.**

Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. **Быть!** Документальное повествование.

А также новые произведения Алексея ВАРЛАМОВА, Михаила РОЩИНА, Генриха САПГИРА, Асара ЭППЕЛЯ.

Москвичи и жители Подмосковья могут по льготной цене оформить подписку на «Октябрь» на второе полугодие непосредственно в редакции (ул. «Правды», 11/13) и получать журналы у нас — с 12⁰⁰ до 17³⁰.

Телефон для справок: 214-31-23.
